ПЛАТОН







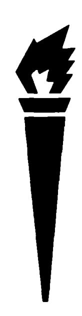
А. Лосев
А. Тахо-Годи

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
61

А. Лосев, А. Тахо-Годи

ПЛАТОН

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2014

УДК 141.131(092)
ББК 87.3(0)
Л 79

знак информационной продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03719-9

А. Ф. ЛОСЕВ О ВСЕСТОРОННЕМ ИЗУЧЕНИИ ПЛАТОНА

Книга о Платоне выходит отдельным изданием в малой серии «ЖЗЛ»* — факт, как будто бы не требующий никаких особых комментариев.

Однако современный читатель, особенно молодой, возможно, не знает, насколько трудно и тягостно было в советской науке (вплоть до 1960-х годов) говорить и писать не только о великих — Сократе, Платоне или Аристотеле, но и вообще об античной философии объективно, непредвзято, в неискаженном виде. Каждый из философов понимался односторонне и определялся только как материалист или идеалист. Так, основатель идеализма Платон с его учением об идеях, конечно, числился мистиком, Демокрит с его учением об

---

* Предыдущие издания объединяли жизнеописания Платона и Аристотеля в одной книге. — См.: *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993; 2005 (Жизнь замечательных людей). Настоящее издание книги «Платон» дополнено Приложением с редкостным материалом: письмами Сократа, учеников Сократа, так называемых сократиков в переводе известного филолога С. П. Кондратьева (1872—1964), который незадолго до своей кончины передал ряд своих переводов, хранившихся в черном портфеле, А. Ф. Лосеву. Это всё римская поэзия, за исключением писем Платона и сократиков. Письма Платона были помещены нами в четырехтомном собрании сочинений Платона (см. ниже).

атомах оказывался стойким материалистом. Труднее всего было с Аристотелем. Пришлось остановиться на ленинской формуле: «путается человек». Все подобные грубые противопоставления и ярлыки были глубоко чужды Алексею Федоровичу Лосеву. Когда стали издавать пятитомную «Философскую энциклопедию» (1960—1970), где Алексею Федоровичу принадлежало более ста статей, ему не раз приходилось бороться с такими устаревшими для античной философии понятиями*. Он знал то, что скрывали, а может быть, и не знали, суровые догматики: материалист Демокрит свои «атомы» называл «идеями» и даже написал сочинение «Об идеях», «ум» он полагал «богом в шарообразном огне»; Платон не чуждался термина «атом»; Аристотель свой «Перводвигатель» именовал «богом» и «идеей идей» и т. д. и т. п. Таких фактов, указывающих на сложную специфику античного философствования, — тысячи**.

Для А. Ф. Лосева античность — основа европейской культуры — с юных лет была своя, родная.

Еще в гимназии он получил в подарок сочинения Платона на русском языке, а студентом Московского Императорского университета читал их по-гречески и даже написал сочинение о социальных взглядах Платона. Одна из первых печатных работ Лосева называлась «Эрос у Платона» (1916). С тех пор все книги Лосева 1920-х годов — так на-

---

* О жизни и творчестве А. Ф. Лосева см.: *Тахо-Годи А. А.* Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007 (Жизнь замечательных людей).

** Историю тысячелетнего развития античной философии, представленной в ее выразительных формах, то есть, по Лосеву, эстетически, можно найти в его восьмитомном труде: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики: В 8 т. М.: Высшая школа; Искусство; Мысль, 1963—1994.

зываемое «восьмикнижие»* и вся его «История античной эстетики» — неразрывно связывали имена Платона и Аристотеля, двух великих философов, учителя и ученика. Алексей Федорович не забывал, что Аристотель до зрелого сорокалетнего возраста пребывал в Платоновской академии и только в дальнейшем создал свою собственную школу Ликей и свою философскую систему, оказавшую огромное влияние на средневековую философию и богословие. А. Ф. Лосев исследовал также воздействие платоно-аристотелевских идей на последнюю философскую школу античности — неоплатонизм (III—VI века н. э.), на Средние века и эпоху Возрождения**.

Платон и Аристотель оказались вечными спутниками А. Ф. Лосева. Поэтому, когда появилась в 1980-е годы возможность подготовить собрание сочинений Платона, Алексей Федорович принял в нем самое активное участие как ответственный редактор (вместе с В. Ф. Асмусом), автор большого предисловия и статей***.

Однако профессор Лосев был не только ученым. Он любил молодежь, десятки лет преподавал в высшей школе, умел ясно и увлекательно объяснять трудные проблемы, иногда даже, как сам призна-

* Название дал наш известный философ и богослов С. С. Хоружий. Книги А. Ф. Лосева 1920—1930-х годов с архивными материалами опубликованы тоже в восьми томах издательством «Мысль» (М., 1993—1999).

** См.: *Лосев А. Ф.* Эстетика Возрождения: Исторический смысл эстетики Возрождения / Сост. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1998.

*** См. также первое полное собрание сочинений Платона и платоновской школы на русском языке: *Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1990—1994.

вался, раскрывать всю их суть «в одной фразе». Попросту говоря, А. Ф. Лосев был еще по своему призванию учителем.

Вспоминая юность, когда неискушенный ум жадно тянется к знаниям*, Алексей Федорович хотел доступными путями приобщить студентов к высокой науке, которая одаряет человека вечной молодостью. Так родилась идея книг о Платоне и Аристотеле, так появилась серия журнальных статей об античной философии и о других важных проблемах, волнующих любознательного студента. Читатель нашел в этих статьях ответы на многие не только научные, но и жизненные вопросы**.

Для того чтобы жизнь и философию Платона и Аристотеля раскрыть без каких-либо умолчаний так называемого идеологического характера (например, божественное происхождение предков, вера в реальность мифа и религии, возможное самоубийство Аристотеля), мне пришлось собрать сотни фактов, перечитать множество текстов классической и поздней античности, конечно, в подлинниках (я отвечала за биографии наших героев, и Алексей Федорович — за их философию). Поэтому за каждым словом книг и о Платоне, и об Аристотеле стоит подтверждающий его факт, переданный тем или иным античным писателем. У нас нет здесь собственных измышлений, собственных привнесений в жизнеописание героев, а если упоминаются легенды и предания, то они принадлежат древней

---

* Читайте, например, дневники Лосева-студента, его переписку с Верой Знаменской, Ольгой Позднеевой в книге: *Лосев А. Ф.* «Я сослан в XX век...»: В. 2 т. М.: Время, 2002.

** Статьи собрал и издал главный редактор журнала «Студенческий меридиан» Ю. А. Ростовцев в книге: *Лосев А. Ф.* Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988.

традиции и чрезвычайно характерна их многовековая устойчивость для понимания Платона и Аристотеля античными учеными, филологами, философами, историками и собирателями редкостных событий.

Поскольку же А. Ф. Лосев неизменно стремился к поискам смысла*, к тому, что он называл «Самое само»**, мы надеемся, что, внимательно исследуя наше повествование о великих античных философах, читатель найдет главную идею, поймет смысл, проникнет в то «самое само», ради которого создавалась книга.

А. А. Тахо-Годи

---

* Его последнее важнейшее интервью так и называется: «В поисках смысла» (Вопросы литературы. 1985. № 10).

** См.: *Лосев А. Ф.* Самое само. М.: Эксмо-Пресс, 1999.

Глава первая

ИСТОКИ

Рождение Платона, философа, которого сами греки за мудрость называли «божественным», было овеяно легендами. Правда, биографии почти каждого древнегреческого философа раннего времени обязательно связаны с удивительными преданиями, которые должны свидетельствовать об избранности и исключительности мудреца, а значит, и об его связях с миром чудес.

Для греков великий Гомер был слеп, но зато наделен даром поэтического вдохновения, заменявшего ему физическое зрение. Мифологические пророки, вроде Тиресия, были лишены богами зрения, но зато получили от них умение прорицать и внутренним взором видеть будущее. Древний философ должен был совмещать в себе черты пророка и поэта, зачастую излагая свои мысли в загадочных стихах, как, например, Ксенофан, Парменид или Эмпедокл, у которых мифология, поэзия и философская мудрость сливались в нераздельное целое. Иные из философов, как Гераклит, прямо осознавали свое пророческое предназначение и писали «темным» поэтическим языком символов, которые надо было толковать так же, как толковали изречения оракула.

Недаром Гераклита так и называли «темным».

Биографии таких философов всегда изобиловали удивительными фактами. Полулегендарный Пифагор вел свое происхождение от бога Аполлона, и его почитали как чудотворца.

Эмпедокл, подтверждая свою божественность, бросился в кратер огнедышащей Этны, Фалес прославился как один из семи мудрецов. Гераклит был из рода переселившегося в Ионию сына афинского царя Кодра, ходил в пурпуре со знаками царской власти. Демокрит учился у магов, умел предсказывать, умер ста девяти лет от роду, отодвинув свою смерть так, чтобы она не совпала с праздником богини Деметры.

Мы не должны поэтому удивляться античной традиции, единодушно считавшей днем рождения Платона 7 таргелион (21 мая), праздничный день, в который, как гласило мифологическое предание, родился на острове Делосе бог Аполлон. Таким образом дни рождения философа и божества, покровителя наук и искусств, совпали. Более того, племянник Платона и тоже философ, Спевсипп, в не дошедшем до нас сочинении «Похвала Платону» прямо называет Аполлона отцом философа и трогательно изображает мудрых пчел, однажды наполнивших медом рот младенца Платона.

Позднеантичный комментатор сочинений Платона Олимпиодор, используя сюжет Спевсиппа, рассказывает о явлении Аполлона матери философа перед его рождением, а затем как младенца отнесли родители на гору Гиметт, чтобы принести жертву Аполлону, Пану и нимфам. И пока родители занимались благочестивым делом, пишет Олимпиодор, пчелы, которыми славился Гиметт, отложили медовые соты в устах ребенка Платона как предзнаменование его будущего сладчайшего словесного дара.

Как видим, недостатка в легендах о рождении философа не имеется. Родился же Платон в 428 (427) году до н. э. в самый разгар междоусобной, так называемой Пелопоннесской войны, губительной и для демократических Афин, и для аристократической Спарты, соперников в гегемонии над эллинскими государствами-полисами.

Семья Платона и весь его род были тесно связаны с прошлым и настоящим Афин, где история и предание переплетались в трудноразличимом единстве. Вполне очевидно, что мальчик рос, сознавая свою непосредственную причастность к важнейшим событиям жизни родного города. Предания рассказывали о предках Платона, ведущих свое происхождение от бога Посейдона и смертной женщины Тиро, чей сын, пилосский герой Нелей, породил вместе с Хлоридой двенадцать сыновей, в числе которых были знаменитый гомеровский мудрец Нестор и его брат Периклимен, участник похода аргонавтов за золотым руном. Потомком Периклимена был Андропомп, а сын его Меланф стал отцом Кодра, последнего афинского царя, личности уже не столь мифологической, а более исторической. Этот Кодр, изгнанный из наследственной Мессении, был принят в Афинах последним потомком Тесея Тимоентом и получил из его рук царскую власть в благодарность за свою помощь ему в войне. В царствование Кодра Афины процветали, но началась война, в которой оракулы обещали победу врагам, если они не убьют Кодра. Узнав об этом, Кодр решил пожертвовать собою ради победы своего народа. Он переоделся нищим и тайно вышел из города, будто собирая хворост. Его встретили вражеские солдаты, и когда Кодр стал их вызывать на ссору, убили его. И афиняне, и их враги узнали

о гибели царя Кодра. Одни с почестями погребли его, а другие спешно отступили от города, где отныне стали править архонты, старейшины. Одним из них был сын Кодра, Медон, потомки которого именовались медонтидами, или кодридами. Из этого рода был Эксекестид, принадлежавший, по словам Плутарха, «к первому по знатности роду». Сын Эксекестида — Солон, знаменитый государственный деятель Афин, прославившийся демократическими реформами, соперник и антагонист своего родственника Писистрата, ставшего афинским тираном. От Солона и его родича Дропида вели происхождение мать и отец Платона. Нам почти ничего не известно об отце Платона по имени Аристон, но родственники Периктионы, матери Платона, — все люди, оставившие след в политической и общественной жизни Афин. Два брата, Каллесхр и Главкон, были сыновьями Крития и внуками Дропида. У Каллесхра был сын Критий, тот, что стал политиком, главой афинских «тридцати тиранов» в 405—404 годах. Дочь Главкона и двоюродная сестра Крития — Периктиона. Ее младший брат Хармид тоже участник олигархического переворота «тридцати». Мать Платона после смерти мужа вышла вторично замуж за своего дядю Пириллампа, друга Перикла, богатейшего человека и тоже известного политика. Родичем Периктионы был и Леогор, отец знаменитого оратора Андокида.

Таким образом, Платону суждено было вырасти в знатной, старинной, царского происхождения семье с прочными аристократическими традициями, сознающей историю Афин как историю своего рода. Государственные дела и политическая борьба яростно захватывали этих людей, и никто из них не умер спокойно в своей постели, дожив до глубокой

старости. Они — участники войн и государственных переворотов. Но они же талантливые, образованные люди, прекрасные ораторы, поэты, умные и острые собеседники, живо интересовавшиеся философскими вопросами.

Юный Платон, как видим, рос в среде, которая должна была предназначить его к политической деятельности и всесторонне его воспитать.

Однако ни Платон, ни его родные братья Главкон и Адамант, ни его сводный брат Антифонт государственными делами не занимались. Все они любили книги, стихи, дружили с философами. Главкона отговорил заниматься политикой Сократ, когда тот в юности стал проявлять страстный интерес к выступлениям в Народном собрании в качестве оратора. Правда, никто из братьев не снискал такой поэтической славы, какой обладал их предок Солон, или известности драматурга и остроумного стихотворца, каким был их двоюродный брат Критий, или мастерства ораторской речи их родственника Андокида. Платон не стал ни поэтом, ни драматургом, ни оратором. Он стал великим философом, сочинения которого, однако, отличались поэтичностью стиля, драматичностью ситуаций и убедительностью ораторской речи.

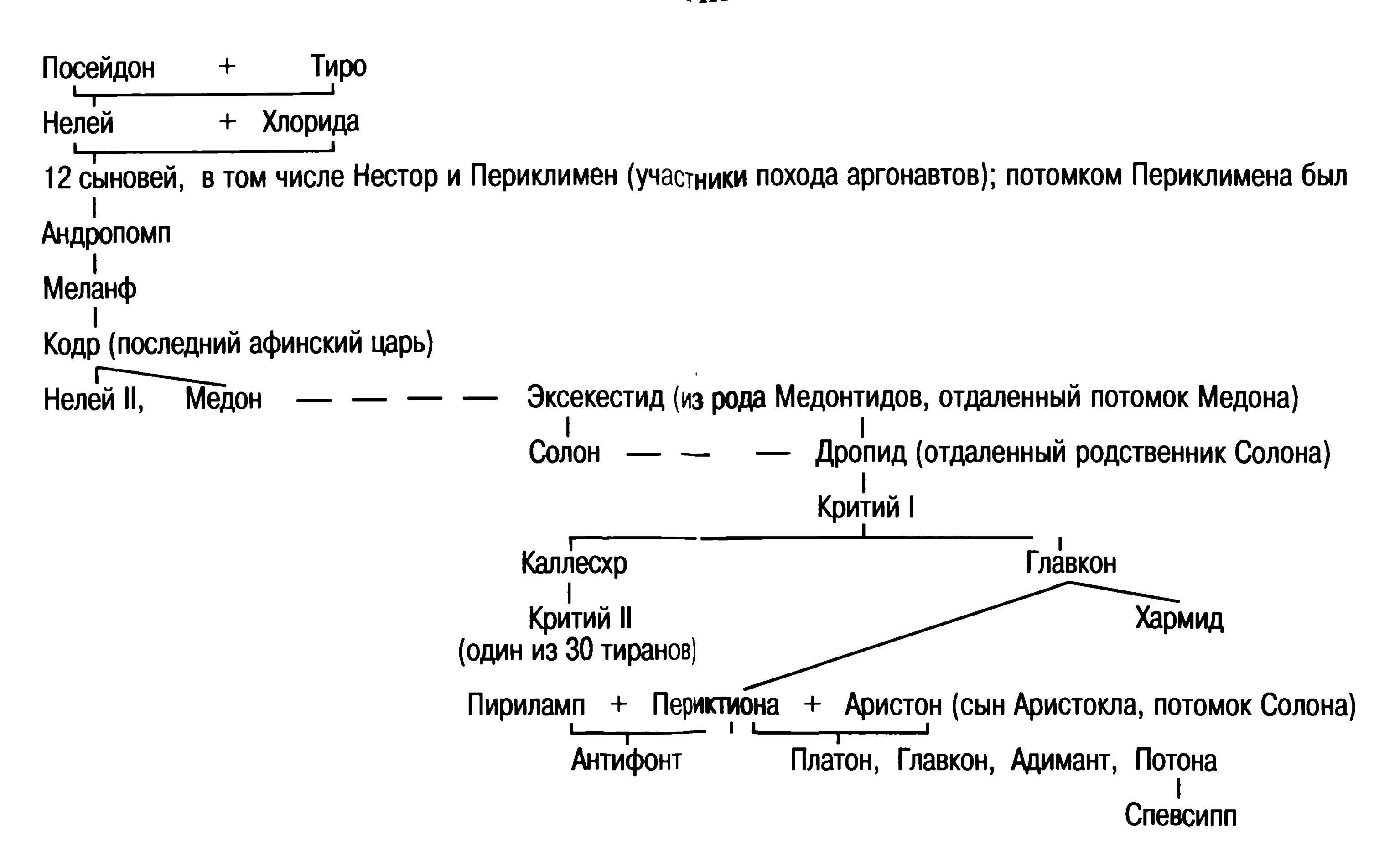
Платон получил всестороннее воспитание, которое соответствовало представлениям классической античности о совершенном, идеальном человеке, то есть так называемой калокагатии. «Прекрасный» (*calos*) и «хороший» (*agathos*) человек должен был соединить в себе физическую красоту безупречного тела и внутреннее, нравственное благородство. Достигнуть такой «калокагатийности» можно было упражнениями, образованием и воспитанием с малых лет. Калокагатия — идеал, к которому стремил-

ся свободнорожденный человек, готовый стоять на страже интересов родного города, защищать его с оружием в руках, соблюдать его законы и прославлять его своими делами.

Идеал совершенного человека издавна воспевался древнегреческими поэтами и писателями. Еще поэтесса Сапфо (VII—VI века до н. э.) писала: «Кто прекрасен (*calos*) — одно лишь нам радует зрение; кто же хорош (*agathos*) — сам собой и прекрасным покажется», подразумевая силу внутренней, духовной красоты человека, без которой внешняя телесная красота бессмысленна и бессодержательна. Гармония внешнего и внутреннего не означала скучного однообразия прописных добродетелей. Наоборот, разные и как будто противоречащие друг другу свойства характера или интересы человека только и создавали истинную гармонию. Недаром философ Гераклит (VI—V века до н. э.) писал, что «скрытая гармония сильнее явной», а «расходящееся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу». В борьбе чувств и страстей, привязанностей и пристрастий вырабатывался в конце концов тот мудро уравновешенный человек, что заслужил, по словам поэта Симонида Кеосского (VI—V века до н. э.), название «четырехугольного» (*tetragōnos*), у которого равномерно развиты все способности. Единодушное утверждение гармонического развития человека выразил философ Фалес, сказав: «мера — наилучшее». Добиться этой великолепной соразмерности можно только усердным воспитанием и закалкой, ибо, по словам одного из легендарных семи мудрецов, Питтака, «благородным (*esthlos*) быть нелегко».

Граждане Афин, города, славного своими демо-

РОДОСЛОВНАЯ КРИТИЯ И ПЛАТОНА



кратическими традициями, ценили калокагатию, доступную каждому свободнорожденному человеку, и видели ее образцы в Солоне, Перикле или Софокле, который писал трагедии, выступал в театре, пел, танцевал, был хорошим музыкантом и даже (правда, не очень удачливым) военачальником, стратегом.

Платон с детства воспитывался в духе прославленной греками калокагатийной гармонии, не уступая ни предкам, ни современникам. Он брал уроки у лучших учителей. Грамоту ему преподавал известный Дионисий, музыку — Дракон, ученик Дамона (обучавшего самого Перикла), и Метелл из Агригента, гимнастику — борец Аристон из Аргоса. Считают, что этот выдающийся борец дал своему ученику Аристоклу, названному так по имени деда с отцовской стороны, имя Платона то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб (греч. *platys* — широкий, широкоплечий, *platos* — ширина, *platoō* — делаю широким). Так исчез Аристокл — сын Аристона, и в историю вошел Платон. Юноша занимался живописью и научился понимать то великолепие красок, которым прославятся его будущие произведения. Он сочинял трагедии, изящные эпиграммы, возвышенные дифирамбы в честь Диониса, с именем которого связывали происхождение трагедии, и пел, хотя не отличался сильным голосом. Особенно он любил комиков Аристофана и Софрона, что дало повод и ему самому сочинять комедии, учась у своих любимцев правдивому изображению действующих лиц. Подобные занятия ничуть не мешали Платону, как говорят, участвовать в качестве борца в Истмийских общегреческих играх и даже получить там награду.

Мы являемся обладателями приписываемых

Платону двадцати пяти эпиграмм, живописных миниатюр, запечатлевших мгновение быстротекущей действительности, на котором сосредоточил свое внимание поэт.

Вот одна из них, посвященная Пану, богу лесов и покровителю стад.

Тише, источники скал и поросшая лесом вершина!
Разноголосый, молчи, гомон пасущихся стад!
Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели,
Влажной губою скользя по составным тростникам.
И, окружив его роем, спешат легконогие нимфы,
Нимфы деревьев и вод, танец начать хоровой.

Сияющему Эроту, богу любви, Платон посвятил следующие гекзаметры, которые придали мирной картине сна малютки бога вполне идиллический характер.

Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидали
Сына Киферы, малютку, подобного яблокам алым.
Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи
Под густолиственной чашей блестящих деревьев висели.
Сам же на розах цветущих, окованных негою сонной,
Он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы
Роем медовым кружились и к сладким губам его льнули.

При чтении диалогов Платона можно найти прекрасные поэтические зарисовки природы. Здесь мирно журчит ручей, зеленеет густая трава, а под широколиственным платаном, рядом с священным изображением богов, идет неторопливая беседа о смысле любви. А то это жаркая дорога под полуденным горячим солнцем, ведущая усталых путников к святилищу Зевса через тенистые лужайки и рощи стройных кипарисов. Они, как всегда у Платона, философствуют, размышляют о лучшем

законодательстве. Если принять во внимание, что стихи писались Платоном в юности, «Федр» в годы расцвета, а «Законы» на пороге смерти, то можно с уверенностью сказать, что все эти картины созданы рукой и вдохновением одного и того же мастера, так что вряд ли стоит сомневаться в принадлежности Платону ряда изящных эпиграмм.

Перед нами счастливая жизнь Платона, благополучного молодого человека, но этой безмятежности неожиданно наступает конец.

Платон встречает в Афинах, своем родном городе, Сократа, мудреца и философа, который никогда ничего не писал, а только беседовал с окружающими его людьми, с теми, кто искал истину или пытался разобраться в себе и в жизни. Платон, потрясенный встречей с Сократом, сжигает все, что он до этого сочинил, по преданию, призывая на помощь самого бога огня, Гефеста. С этой минуты для Платона начался новый период его личной и общественной жизни. Как всегда в древности, и здесь родились легенды.

Рассказывали, что перед встречей с Платоном Сократ видел во сне у себя на коленях молодого лебедя, который, взмахнув крыльями, взлетел с дивным криком. Лебедь — птица, посвященная Аполлону. Сон Сократа полон символов. Это предчувствие ученичества Платона и будущей их дружбы.

Глава вторая
ВМЕСТЕ С СОКРАТОМ

Кто же такой был этот Сократ, вызвавший решительный переворот в жизни Платона? Не в пример аристократу Платону Сократ был самого про-

стого происхождения. Родился он около 469 года. Отец его — каменотес Софрониск из дема Алопеки*, а мать Фенарета — повивальная бабка.

Уже в пожилом возрасте он женился на некоей Ксантиппе, имел троих детей, однако не заботился о житейских благах, не занимался никаким ремеслом, но зато был подлинным философом, а именно «любителем мудрости» и искателем истины.

Сведения о Сократе чрезвычайно противоречивы. Сам он ничего не писал, а лишь беседовал, задавая вопросы собеседнику, наводя его на правильный путь. Но вокруг Сократа всегда были друзья, участники его бесед, молодежь и старики, называвшие себя часто его учениками, хотя сам он их таковыми не считал, так как философской школы в строгом смысле слова он не возглавлял и не имел. Сократ был задирист, остроумен, беспокоен, насмешлив и не считался с положением, богатством, связями и общественной значимостью своих собеседников. Деньги он презирал и осмеивал так называемых «учителей мудрости», софистов, которые обучали красноречию молодежь большею частью из состоятельных семей и брали за это огромную плату, что было удивительно для афинян, не считавших философию ремеслом, нуждающимся в денежном вознаграждении.

Сведения о Сократе дошли до нас из самых разнообразных источников, и на первый взгляд в них очень много противоречивого. Здесь есть свидетельства таких младших современников Сократа, как знаменитый комедиограф Аристофан;

---

* Аттика была поделена Клисфеном (VI век до н. э.) на десять административных округов — фил, каждая из которых, в свою очередь, делилась на десять более мелких единиц — демов.

верных учеников Сократа — историка и философа Ксенофонта и самого Платона. Сведения о Сократе дают нам так называемые сократики, слушатели Сократа, которые сами впоследствии основали новые философские школы. Евклид из Мегары, Федон из Элиды, Антисфен Афинский, Аристипп из Кирены. Немногие, но важные замечания об идеях Сократа находят у Аристотеля, ученика Платона.

Аристофан в комедии «Облака», поставленной в 423 году до н. э., изобразил Сократа в виде забавного персонажа, главы некоей подозрительной школы софистов «мыслильни», обманщика и выдумщика, изобретателя некой новой религии и новых богов, какими здесь являются облака. Эта безжалостная пародия Аристофана до некоторой степени отражала неясные слухи, бродившие среди необразованных и жадных до новостей афинских обывателей. Но вместе с тем эта пародия свидетельствовала о славе Сократа и его широкой известности. Попасть в качестве персонажа комедии знаменитого Аристофана на подмостки театра мог только очень популярный человек, обладавший огромным влиянием на людей. Во всяком случае, Сократ — завсегдатай улиц, рынков и дружеских собраний, бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, толстыми губами и шишковатым лбом, лысый, напоминал собою комическую театральную маску. Его загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника, который вдруг осознавал себя ничтожеством, глупым, растерянным. Вопросы Сократа о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость, храбрость, заставляли за-

думываться не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Сократ разъяснял предназначение человека в обществе, его обязанности, его взаимоотношения с законами, почитание богов, необходимость образования, воздержания от грубых страстей, приобретения друзей, то есть практическую ориентацию человека в жизни, руководствующегося совестью, справедливостью и гражданским долгом. Казалось бы, весь этот круг вопросов должен был иметь огромное воспитательное значение. Но идеал сократовского человека, скромного бессребреника, живущего по совести, только раскрывал перед большинством их пороки и низменные стремления, так и оставаясь недосягаемым. Обличение богатства, гордости, честолюбия вызывало гнев и даже ненависть к Сократу, который заставлял человека признать свое полное ничтожество. Сил же преодолеть недостатки и начать какую-то иную жизнь хватало не у всех. И те, кто ощущал свое бессилие, в глубине души осуждали человека, который разбудил их совесть, доказал их невежество, смутил их покой, лишил уверенности в своих силах и посеял сомнение в давно установленных традициях. Путь морального самосовершенствования и жизни в идеях, а не в приобретении материальных благ, был слишком тяжел для среднего человека. Немногие шли за Сократом, и часто это были молодые люди из богатых и знатных семей, пресыщенные именно материальными благами, возмутившиеся против родительского и государственного авторитета и питавшие мечты о быстрых и радикальных преобразованиях в обществе. Как это ни парадоксально, некоторые молодые друзья Сократа вовсе не собирались постепенно воспитывать и образовы-

вать «среднего» человека или вразумлять и наставлять «лучших» богатых граждан. Путь сократовского убеждения был слишком долог, и подавить «большинство», то есть народ, в беспрекословном послушании идеальному законодательству казалось им проще и доступнее. Так, политические деятели Критий и Алкивиад, искавшие мудрость у Сократа, были участниками антидемократических переворотов, стремились к «олигархии», «власти немногих», к тому, что тогда называли тиранией, тем самым предав идеи Сократа и действуя вопреки им. Философы, и прямые ученики Сократа, и его истолкователи, тоже зачастую вступали в противоречие с самыми любимыми мыслями своего учителя.

Так, основатель кинической школы Антисфен и его ученик Диоген пришли к выводу о духовной свободе человека, лишенного не только имущественных благ, но и твердых семейных уз, моральных традиций, общественных обязанностей, так как все это подчиняло человека ненавистным государственным законодательствам, делящим людей на свободных и рабов.

Аристипп из Кирены искал высшее благо в освобождении человека от тягот жизни, в отдаче себя стихии бескорыстных наслаждений, или гедонизму. Евклид Мегарский настолько оторвал человека от материального мира, что признавал истинное бытие только в идеях. Федон — основатель элидо-эретрийской школы, довел до предела мастерство философского спора, предпочитая этические проблемы, но одновременно отличался религиозным свободомыслием. Таким образом, каждый из учеников Сократа односторонне развил те или иные идеи учителя, выдвигая на первый план то сугубо

теоретические, то жизненно-практические тенденции.

Сам же Сократ, если судить о нем, в свою очередь, по всей этой мозаике сведений, дошедших от его прямых учеников в философии, предстает в чрезвычайно противоречивом виде. В Сократе уживается критика власти большинства, то есть демократии, и почитание законов, беспрекословное выполнение гражданского долга. Ирония и сомнение у него — рядом с глубокой верой в добрую основу человека. Стремление к идеальному бытию ничуть не мешает ему в земной дружбе и веселых пиршественных беседах. Вера во внутренний голос, «даймон», совесть, отвращающую Сократа от недостойных поступков, уживается с верой в древние мифы о загробной судьбе человеческой души. Сознание своего ничтожества неразрывно у Сократа с твердым убеждением в предназначении к высокой цели самого себя, человека, которого Дельфийский оракул назвал мудрейшим из греков.

Может быть, не так уж неправ Аристофан, который пародийно обобщил колоритно-противоречивую фигуру бродячего мудреца, доведя до абсурда те стороны его характера и его стремления, которые так поражали каждого добропорядочного афинского гражданина, привыкшего к налаженной и освященной временем системе отношений между людьми, человеком и богами, человеком и отеческими законами.

Еще более интересным встает перед нами образ Сократа, если судить о нем по главнейшим источникам — «Воспоминаниям» Ксенофонта и диалогам Платона. Эти книги открывают нам того Сократа, который стал живой легендой. А так как Ксенофонт и Платон были верные друзья своего

наставника и, конечно, соперничали между собой, в течение всей жизни обращаясь к памяти Сократа, то их сочинения, дошедшие до нас не во фрагментах, а, наоборот, с удивительной полнотой, являются главным свидетельством в жизнеописании их общего учителя и друга.

Ксенофонт создал свой идеал Сократа — моралиста, устойчивого, упорного, но несколько надоедливого разговорщика, приводившего всех в смущение своей безупречной логикой. Платоновский Сократ — живой, задорный, любитель застольных бесед, фигура одновременно трагическая и забавная, редкостное сочетание аскетического мудреца и шутовского маскарада

Не будем чересчур критичны, уличая в несоответствиях и противоречиях авторов сочинений, где главным действующим лицом является Сократ. Даже если эти авторы преувеличивали одни его черты и умаляли другие, даже если они что-то сознательно опустили, а что-то сознательно выдвинули, даже более того, если они творили живую легенду, благочестиво веря, что она и есть единственно настоящая, понятая ими истина, — они, эти авторы, Ксенофонт и Платон, знали Сократа, общались с ним, записывали на свой страх и риск его словечки и породившие их мысли. Они были современниками, а не потомками, которые хотят понять настоящего Сократа через 2400 лет после его смерти и строят свои домыслы на уровне новейших методов философского и филологического анализа, зачастую апеллируя к авторитету компьютера.

Не будем гиперкритиками, ибо даже легенда всегда отражает стремление и чаяния человека определенной эпохи, ибо миф всегда в своей осно-

ве имеет зерно истины. Сократ — человек, еще при жизни ставший мифом и легендой. Но если такая легенда и такой миф способствовали появлению философа Платона (а в дальнейшем Аристотеля) и стали центральным ядром всех его многотомных сочинений, то мы должны только быть благодарны стремлению человечества к поэтическому вдохновению и к вымыслу, которые заставляют потомков задумываться и трепетать, переживая как свое, близкое и родное, события тысячелетней давности.

Отвлечемся от ученых скептиков и последуем за творимой Платоном и Ксенофонтом легендой.

Деятельность Сократа (вторая половина V века до н. э.) в эпоху расцвета афинской демократии после победы над персами (первая половина V века до н. э.) была обусловлена огромным интересом к человеку и его личности. Расцвет наук, искусств, философии, духовного свободомыслия и сознание силы и независимости отдельной личности прекрасно выражены в древнегреческой трагедии. Именно здесь, в драматургии Эсхила, Софокла, Еврипида, виден современный им грек, вступивший в конфликт с древними традициями и религиозными установлениями. Давно прошли времена, когда человек не мыслил себя вне родового коллектива и сознавал себя как частицу великой матери-природы, участвующей в вечном круговороте жизни и смерти. Философы (VI—V века до н. э.), которые учили о бытии, раскрывая тайны природы, и сочиняли поэмы и трактаты под одним общим для всех названием «О природе», постепенно, и вначале достаточно робко, переходили к проблемам этическим. Природа была вне морали, и древний грек считал мерилом всего

именно соответствие человеческих поступков законам природы.

Но гражданин греческого полиса VI—V веков до н. э. жил по законам своего государства, вырабатывая идеал, критерием которого была именно полисная калокагатия. Ко второй половине V века, когда резко возросли противоречия уже не между греками и чужеземцами-персами, а между самими греческими городами-государствами, жаждущими новых земель, денежных богатств и рынков сбыта, возросла роль инициативы отдельного человека, предприимчивого, деятельного, образованного, сильного в знании законов и судебных тонкостей. Вот тут-то и появились софисты, платные учителя мудрости, считавшие, как и их глава Протагор, человека мерой всех вещей, центром общественной жизни и венцом природы. Оказалось, что изворотливая мысль часто сильнее оружия, особенно если владеешь искусством спора — эристикой (греч. *eris* — спор) и умеешь мастерски «неправое дело выставить правым, а более слабые аргументы выставить сильными». Эристике учили за большие деньги софисты — Протагор, Горгий, Продик, Гиппий и другие. Красноречие, риторика, учившие умению убеждать, оказались главнейшими науками. С хитростями софистической риторики, так называемыми софизмами, мог познакомиться каждый за установленную мзду. Правильное, закономерное на первых порах стремление софистов изучить механизм логической, убедительной мысли и тем самым дать человеку в руки важное орудие в превратностях частной и общественной жизни, постепенно перешло в увлечение внешними словесными эффектами и беспредметную риторику. Главное же, если для софистов человек был мерилом всей окружающей

жизни, значит, он мог в своих личных, часто корыстных целях действовать без всякого ограничения, невзирая на мораль. Такому человеку все было позволено, и все моральные нормы оказывались для него относительными, зависящими от того, как воспринимает их софистически воспитанный человек. Софистов, у которых многие постигали мудрость красноречия, стали недолюбливать и даже высмеивать, тем более что многие политические деятели афинской демократии, уже утерявшие свое здоровое, крепкое начало и пустившиеся в военные авантюры, были учениками софистов и ловко обманывали доверчивый народ. На этом фоне всеобщего увлечения неограниченными способностями и возможностями человека, умеющего мастерски выражать свои мысли и быть непобедимым в доказательствах и спорах, Сократ должен был сыграть заметную роль. В молодости Сократ работал вместе со своим отцом, и его даже считали неплохим ваятелем. Годам к двадцати пяти он отправился набираться софистической премудрости к Продику Кеосскому, своему ровеснику, софисту, который в отличие от своих сотоварищей придавал большое значение моральным принципам, занимался философией языка, изучая многообразие смысловых значений слова. Возможно, что увлечение красноречием привело молодого Сократа к знакомству с Аспазией, супругой Перикла, прославленной красотой и любовью к философии. Через многие годы Сократ вспоминал, как учился риторике у Аспазии и за свою забывчивость едва ли не получал от нее оплеухи. Он даже припомнил и пересказал речь, которую сочинила Аспазия для Перикла на погребении погибших воинов-афинян. Увлечение риторикой было неразрывно у Сократа с занятиями

музыкой, которой его обучали Дамон, наставник Перикла, и Конн. А музыка, в свою очередь, вела к математике и астрономии. Сократ брал уроки у Феодора из Кирены, ученого геометра, астронома и музыканта. Метод беседы, основанный на вопросах и ответах, так называемая диалектика, столкнул Сократа с удивительной женщиной, Диотимой, жрицей и пророчицей, которая, по преданию, даже отсрочила на десять лет нашествие чумы в Афинах. Эта образованнейшая женщина поразила Сократа гибкостью ума и тончайшей логикой. Не приходится удивляться тому, что женщины сыграли важную роль в оттачивании словесного мастерства Сократа. Греция издавна славилась своими поэтессами, такими как Сапфо (VII—VI века до н. э.) и Коринна (VI—V века до н. э.) Платон писал:

Девять на свете есть муз, утверждают иные. Неверно,
Вот и десятая к ним — Лесбоса дочерь Сапфо.

Коринна же обучала поэтическому мастерству знаменитого поэта Пиндара. Известны женщины-философы Феано, Тимиха, Аристоклея. На склоне античности прославилась женщина-философ и выдающийся математик Гипатия.

Было предание о том, что в ранней молодости чуть ли не двадцатилетним юношей Сократ встретился с философом Парменидом, знаменитым основателем элейской школы, автором поэмы «О природе», учившим о целостном едином, неподвижном бытии, которое познаваемо пытливой мыслью человека и никогда не может стать ничем, «небытием», «непознаваемым». Встреча с Парменидом, если судить по сочинениям Платона, произошла в доме богача Пифодора, который расска-

зывал о ней через много лет Антифонту, сводному брату Платона. На юного Сократа неизгладимое впечатление произвел мудрый доброжелательный старик Парменид, пришедший в сопровождении своего ученика, уже известного и самоуверенного Зенона Элейского.

Говорят, что Сократ слушал Архелая, ученика знаменитого Анаксагора (V век до н. э.). Оба они, как и Аспазия, были родом из городов Ионийского побережья, где зародились древнегреческая философия, наука и поэзия. Архелай еще в 475 году открыл в Афинах школу. Его называли «фисиком», или «фисиологом», то есть исследователем космологии и бытия как совокупности разнородных элементов природы, земли, воды, огня и воздуха, что, правда, к этому времени уже считалось несколько устаревшим.

Уже учитель Архелая Анаксагор выдвинул на первый план космический Ум (греч. *noys*), управляющий миром, и перенес на него все главные функции, которые раньше приписывались природе, тем самым открывая путь к высокому предназначению человеческого ума и всесильности мысли вообще.

Анаксагор был очень популярен в Афинах в годы деятельности Перикла и хотя по возрасту был почти ровесником Перикла, обучал его философии. Анаксагора, Перикла и Аспазию связывала тесная дружба. Был он близок и с драматургом Еврипидом. Анаксагор считался порядочным вольнодумцем. Книги, в которых он отрицал божественную природу небесных светил, можно было купить за несколько оболов, и молодежь ими увлекалась. Сократ, пытливый в познании интеллектуальных и душевных способностей человека, вряд ли упустил возможность поучиться у Анаксагора.

Сократу запомнился на всю жизнь судебный процесс против Анаксагора, затеянный ревнителями старинного благочестия и врагами Перикла. Такого еще никогда не видели Афины. Анаксагора судили за философское вольнодумство. Судьи внесли предложение «считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления». Периклу пришлось вступиться за Анаксагора, которому угрожала смертная казнь как всякому, кто был уличен в религиозном «бесчестии». Только благодаря заступничеству Перикла Анаксагор избежал казни. Он был изгнан из Афин, поселился в Лампсаке и умер там в 428 году, когда Сократу исполнилось 40 лет.

С этого времени Сократ почувствовал в себе призвание учить людей поискам истины и подлинного знания. Но за пределы Афин он почти никуда не выезжал, если не считать поездки с Архелаем на остров Самос или в священные Дельфы и на Истмийский перешеек.

Увлечение философией и проблемами смысла жизни отнюдь не мешало Сократу неукоснительно выполнять свой долг перед родиной.

В Пелопоннесскую войну он участвовал в сражениях при Потидее (432 год до н. э.), Делии (424 год до н. э.) и Амфиполе (422 год), где вел себя достойно и мужественно. Сократ настолько погрузился в размышления и созерцание идей, что, как пишет Платон, в лагере под Потидеей однажды простоял неподвижно на одном месте весь день и всю ночь до рассвета на удивление людям. В сражении при Делии он будто бы спас жизнь Ксенофонту, упавшему с коня. А когда войско отступало, он с большим самообладанием пробивался вместе с извест-

ным своей храбростью военачальником Лахетом, так что даже издали было видно, что этот человек постоит за себя.

Но вот однажды произошел случай, изменивший дотоле размеренное течение жизни философа.

Херефонт, один из ближайших и пылких друзей Сократа, отправился в священный город Дельфы к оракулу Аполлона и вопросил бога, есть ли на свете кто-нибудь мудрее Сократа? Ответ пифии предания толкуют по-разному. Или пифия изрекла, что никого нет мудрее Сократа. Или же она сказала: «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же — мудрейший из всех людей».

Такое признание исключительной мудрости у человека, который говорил о себе: «Я знаю то, что я ничего не знаю», — глубоко подействовало на Сократа, и он стал будто одержим идеей учить своих сограждан истинному знанию, так как считал, что есть «одно только благо — знание, и одно только зло — невежество». Слава Сократа превзошла популярность софистов. Те учили искусству спора ради самого спора, невзирая на истину и часто даже нарочито противореча ей и черное делая белым. Софисты эффектно демонстрировали свою ученость, отнюдь не отличаясь глубиной познаний, но зато они открыто восхваляли себя, как, например, Гиппий из Элиды или Фразимах, горделиво важничали, как Протагор или Горгий, окруженные учениками и поклонниками.

Сократ тоже вечно был окружен любопытными почитателями, друзьями и учениками. Но он учил бескорыстно, сам подавая пример скромности в житейском обиходе. В беседе он поглубже запрятывал свое знание предмета и внешне казался ровней какому-нибудь неопытному собеседнику, заодно

с которым он пускается в поиски истины. Сократ не был спорщиком, как софист, он был диалектиком, то есть мастером выяснять суть предмета посредством вопросов и ответов в непринужденной беседе (греч. *dialegomai* — беседую). Столкновение мыслей, отбрасывание ложных путей, выбор наводящих вопросов, постепенное приближение к правильному знанию Сократ шутя называл «повивальным искусством», духовным рождением идеи, вспоминая, наверное, ремесло своей матери, помогавшей роженицам.

К Сократу шли те, кто глубоко и искренне пытался докопаться до правильного знания, но шли и любопытные, привлеченные его славой. Здесь были и старые, и молодые. Сократ дружил с философами-пифагорейцами, своими однолетками Симмием и Кебетом. Надежнейшим другом был его сверстник Критон, совсем уже не философ, а просто добрый и благородный человек. У него были друзья в разных концах Греции, в Фессалии, Фивах, Мегаре, Элиде. Евклид из Мегары во время войны пробирался в Афины по ночам под страхом смерти, чтобы послушать Сократа. Федон из Элиды, попавший в плен и обращенный в рабство, был выкуплен при содействии Сократа и стал его ближайшим учеником. Иные, как Херефонт, Аполлодор, Антисфен, Аристодем или Гермоген, были восторженными поклонниками Сократа, готовыми ради него бросить все блага жизни.

Херефонт всюду прославлял мудрость Сократа, признанную самим Аполлоном, Гермоген изнывал от любви к высокой нравственности и неотступно следовал за Сократом, презирая отцовское богатство и впав в бедность. Аполлодор и Антисфен не отходили от Сократа, взяв за правило ежедневно

примечать все, что он говорит и делает. Аристодем, маленький, босоногий, один из самых пылких почитателей Сократа, часто сопровождал его на философские беседы за пиршественным столом, надолго сохраняя в памяти все, что там говорилось, чтобы потом пересказать это всем, кто интересовался жизнью учителя.

Ксенофонт, писатель, философ, историк, познакомился с Сократом при необычных обстоятельствах. Сократ однажды якобы встретил Ксенофонта и загородил ему дорогу палкой, спросив его, где продаются съестные припасы. На ответ Ксенофонта он вновь задал вопрос, а где люди делаются добродетельными. На молчание Ксенофонта Сократ властно приказал: «Иди со мною и учись». Вот почему, когда Ксенофонту надо было ехать в Малую Азию военачальником к персидскому царевичу Киру Младшему, он советовался не с кем иным, как с Сократом, который и направил его в Дельфы к оракулу Аполлона.

С Сократом искали дружбы заносчивые аристократы вроде Алкивиада, Крития или Калликла, а македонский царь Архелай пригласил Сократа к своему двору, на что получил отказ. Сократ отклонил приглашение Скопаса и Еврилоха, владетелей Фессалии и Лариссы.

Сократ был общительным человеком. Он проводил дни то в гимнасии, то в палестре, то на агоре или за пиршественным столом. И всюду он беседовал, поучал, давал советы, выслушивал. Иной раз в городе появлялась какая-нибудь приезжая знаменитость, и Сократ спешил встретиться и поспорить. Так, в 432 году в Афины вторично приехал Протагор, самый непреклонный и острый из софистов, книги которого потом сожгут в Афинах, а сам он,

обвиненный в вольнодумстве, будет вынужден бежать в Сицилию и погибнет во время бури.

В доме богача Каллия, где остановился Протагор, собираются известнейшие афиняне и знаменитые софисты. Протагор важно прогуливается в сопровождении почтительных поклонников, софист Продик, бывший учитель Сократа, возлежит на ложе, слушатели — на скамьях и кроватях. Дом набит гостями, так что даже кладовку пристроили для приезжих, а привратник, которому надоела толпа софистов, с трудом впускает в дом Сократа, принимая и его за надоедливого софиста. Сократ храбро и иронически спорит с Протагором, используя все приемы настоящего спора, окруженный враждебными софистами и любопытной молодежью, Алкивиадом, Критием, сыновьями Перикла, Агафоном. Еще год остался до Пелопоннесской войны, в самом начале которой умрут от чумы Перикл и оба его сына

Сократ, по преданию, жил такой строгой и скромной жизнью, что в страшную эпидемию чумы 429 года, когда вымерли или ушли из города тысячи людей, он не подвергся заразе.

Не все, кто считался другом Сократа, были подлинными друзьями. На пиру у богача Каллия в 422 году, о котором повествует Ксенофонт («Пир», греч. «Symposion»), рассуждая о превосходстве духовной любви и доказывая, что в общении людей самое главное — дружба, Сократ и не подозревал, что сидящий рядом Ликон, известный оратор, через много лет будет в суде требовать его смерти. Ученики Сократа Антисфен и Гермоген и не думали о том, что они будут стоять у смертного ложа их учителя. А пока они оживленно перебрасываются словами и с любопытством наблюдают за выступле-

нием приглашенных актеров, искусно изображающих в танце брак бога Диониса и Ариадны, слушают флейтистку и кифариста, внимательно следят за ловкими движениями танцовщицы-акробатки.

Пройдет около года, и в доме почтенного Кефала, вблизи Афин, в Приее, как повествует Платон, опять встретятся спорщики. Сократ обсуждал здесь важные общественные проблемы — что такое идеальное государство и как надо воспитывать граждан. На беседу о создании Вселенной и легендарной Атлантиде Сократ придет через день в дом Крития.

Те, кто совсем юными встречались с Сократом в гостеприимном доме Каллия, соберутся через много лет, как будто в 416 году, за пиршественным столом у известного трагического поэта Агафона, того самого, который юнцом слушал спор Протагора и Сократа.

За чашей вина, да еще разбавленного, по обычаю греков, водой, общий, совместный разговор имел не только развлекательный, но и философский характер. Поэтому, когда трагик Агафон пригласил к себе друзей по случаю одержанной им в театре победы, на пиру среди афинских знаменитостей одно из первых мест занял Сократ.

Участники пира обсуждают проблему любви и красоты, и каждый произносит особую речь. Сократ превосходит всех. Он развивает замечательную по логике концепцию постепенного восхождения человека к высшей духовной любви и высшему благу. Сократ одержал победу своей речью. Неожиданно врывается Алкивиад, давний его любимец, и увенчивает его пышным венком. Все выслушивают восторженное похвальное слово Алкивиада в честь Сократа.

Но вот наступили трудные времена. Ослаблен-

ная неудачами Пелопоннесской войны, в 411 году демократия утеряла свои позиции в связи с деятельностью Алкивиада и так называемого олигархического «совета четырехсот». Пересматривали конституцию, урезали исконные свободы. И хотя демократия восстановилась в 410 году, но злоупотребление властью вождями отдельных партий, демагогами, вызвало большое недовольство в народе.

Сократ невольно оказался в гуще событий последних нескольких лет уходящего V века до н. э. И здесь-то в 408 году произошла встреча Сократа и Платона. Мы не знаем ее подробностей, но она должна была, по всем традиционным понятиям, ознаменоваться каким-то необычным явлением. Сократ предвидел эту встречу в сновидении. Лебедь из его сна — Платон обрел, наконец, учителя, которому оставался верен всю жизнь и которого прославил в своих сочинениях, став поэтическим летописцем его жизни. Отныне Платон забросил все свои прежние занятия — музыку, стихи, палестру, театр и прежние занятия философией, знания о которой он почерпнул у Кратила, доведшего до крайности учение Гераклита о текучести всего сущего и пришедшего к выводу о недостоверности и относительности знания вообще. Сократ дал Платону то, чего так ему не хватало: твердую веру в существование истины и высших ценностей жизни, которые познаются через приобщение к благу и красоте трудным путем внутреннего самосовершенствования.

Мирные занятия философией не могли продолжаться вдали от политической жизни. Сократу и Платону пришлось вскоре столкнуться с этим непреложным фактом. Правители города пытались восстановить былой порядок и неукоснительное следование законам, обращаясь к религиозному

чувству и древним обычаям, но в погоне за сильной властью одновременно сами же нарушали демократические традиции. Так, Сократ оказался замешанным в трагической истории, происшедшей с афинскими стратегами в 406 году, после сражения при Аргинусских островах. Афинский флот во главе с десятью стратегами одержал блестящую победу над пелопоннесцами. Однако афиняне не успели из-за поднявшейся бури похоронить своих погибших воинов. Боясь кары, на родину вернулись только шесть стратегов, остальные бежали. Вернувшиеся были сначала награждены за победу, а затем их обвинили как нарушителей отечественных религиозных обычаев. Власти так спешили расправиться со стратегами, желая устрашить граждан, что потребовали решить их судьбу в один день и голосовать сразу единым списком, а не обсуждать дело каждого в отдельности. Сократ же как раз в 406 году был избран членом афинского «совета пятисот» (буле), членом которого мог быть каждый гражданин, достигший тридцати лет. Сократ вошел в совет от своего родного дема Алопеки, входившего в филу Антиохиду. Совет делился на десять отделений по числу аттических административных единиц, так называемых фил. В каждом отделении заседали 50 человек. И в течение примерно сорока дней обязанности поочередно исполняло каждое из десяти отделений. Заседания булевстов именовались пританией, а сами участники сессии пританами. Оказалось, что в момент суда над стратегами Сократ как раз был в числе пританов и, более того, в самый день суда он явился эпистатом, то есть главою всего совета на данный день. Всегда независимый и справедливый, Сократ резко воспротивился незаконному поспешному суду без всякого разбирательства.

Ксенофонт, современник событий, в своей «Греческой истории» и поздний историк Диодор подробно рассказывают об этом тягостном деле. Чтобы обойти упорство Сократа, решили отложить постановление суда на следующий день, когда совет возглавил уже другой эпистат. Стратеги были признаны виновными и казнены. Сам же Сократ едва избежал преследований от правящей партии, нарушившей свои демократические установления. Искатель истинного знания и абсолютной справедливости, Сократ невольно вступал в конфликт и с демократами, и с их врагами, не подчиняясь политическим изменениям и интригам, хотя сам совершенно был неопытен в соблюдении формальностей и даже заслужил всеобщее осмеяние, так как не знал, как надо собирать голоса в совете.

Необычный поступок Сократа не остался незамеченным. Платон в одном из своих первых произведений, «Апологии Сократа», расскажет об этой истории, вложив ее в уста самого Сократа. Но это было только начало. Хотя Сократ уверял всех, что от опрометчивых действий его отвращает какой-то внутренний голос, называемый им «даймоном», но как-то получалось так, что «даймон» никогда не запрещал Сократу вступаться за справедливость, даже если это грозило серьезным наказанием. Думается, что этот «даймон» был не чем иным, как голосом совести самого Сократа, и поэтому невольно толкал его на крайне опасные действия, вырывая из мирного обихода привычного философствования.

Так, в 404 году афинский политик Критий, приверженец олигархов, некогда слушатель Сократа, переметнувшийся к софистам, сам блестящий софист и остроумный поэт, возглавил государственный переворот. После восстановления демократии,

когда был вторично изгнан Алкивиад, за которого ратовал Критий, самому Критию тоже пришлось уйти в изгнание в 406 году. Он жил в Фессалии, вел и там политическую игру и вернулся в Афины ярым приверженцем спартанского военно-аристократического строя. Афинская олигархия, совершившая переворот, получила название власти «тридцати тиранов». Эти «тридцать», верхушка заговорщиков, правили Афинами немногим более года, изгоняя и казня непокорных.

Следуя за Платоном, мы можем установить еще один факт дерзкой самостоятельности Сократа. Он оказался пританом афинского совета и по требованию «тридцати тиранов», в числе пятерых сограждан, исполнявших такие же обязанности, должен был привезти с острова Саламина известного Леонта, чтобы казнить его. Леонт был очень богат, и олигархи стремились завладеть его имуществом. Однако Сократ воспротивился этому приказу, и снова один, в то время как остальные четверо привезли Леонта на гибель. Сократ едва избежал казни, да от кого? От тех, кого считали его учениками, Крития и Хармида (Алкивиад к этому времени был убит в Малой Азии), давным-давно променявших трудное сократовское правдоискательство на политические интриги. Уж кто-кто, а Платон здесь достоверный свидетель, так как Критий, его двоюродный дядюшка, пытался и Платона втянуть в олигархическую политику, от чего последний решительно отказался. Хармид же — младший брат матери Платона, блестящий молодой человек, которого когда-то Сократ уговорил заниматься общественной деятельностью.

К счастью, власть «тридцати» потерпела крах в 403 году. Критий погиб в сражении с Фрасибулом,

стратегом и главой афинской демократии, Хармид погиб в том же сражении. Семья Платона лишилась влиятельных родственников. Сократ получил возможность еще несколько лет провести в дружбе с Платоном.

Может быть, отзвуком событий, выдвинувших самоуверенных аристократов на гребень политической жизни, явился диалог Платона «Горгий», где описывается якобы состоявшаяся в 405 году встреча Сократа со знаменитым софистом Горгием Леонтинским, к этому времени уже глубоким старцем. Сократ приходит вместе со своим другом Херефонтом в гимнасий, где только кончил выступление Горгий. Здесь же присутствует некий богатый молодой аристократ Калликл, может быть, и вымышленное Платоном лицо, художественное обобщение софистического мироощущения, доведенного до крайности. Калликл стремится к государственной карьере. Он умен, проницателен, жесток, эгоистичен. Это во всех отношениях «сильный человек», от которого не поздоровится Сократу, когда тот попадет в его руки. Калликл — как бы предчувствие бедственной судьбы Сократа. С какой самоуверенной непогрешимостью рассуждает Калликл перед стариком Сократом о справедливости стоять над толпой, когда лучший выше худшего, а сильный выше слабого. Калликл считает философию Сократа погибелью для человека, и что ею возможно заниматься только в молодости. Для человека в летах, занимающегося философией, нужен кнут, потому что такой человек, погрузившись в мысли, теряет деятельную силу и не осмеливается на дерзкое слово. Калликл как бы предсказывает Сократу, что если его схватят и бросят в тюрьму, он будет совершенно беззащитен перед миром мерзавцев-обвинителей и

безропотно умрет, если для него потребуют смертного приговора. Для Калликла слабые — это сброд, а сильные — те, кто вершит государственные дела беспощадно и не останавливаясь на полпути из-за душевной расслабленности.

По всему видно, что правдоискательство Сократа уже раздражало сильных людей и они подумывали, как бы избавиться от надоедливого философа.

Уже после падения олигархов, видимо, в 402 году, Сократу пришлось встретиться с еще одной «сильной» личностью, фессалийцем Меноном из рода владетельных Алевадов, который ввяжется в политическую борьбу персидского царевича Кира Младшего и погибнет в Персии мучительной смертью. Этот Менон не считает добродетелью ни благочестие, ни правду, ни честность, хотя и держится с Сократом пока еще почтительно и скромно. А рядом сидит Анит — богатый кожевник, один из ведущих демократов и враг «тридцати», в ниспровержении которых он активно участвовал. Но оказывается, этот выдающийся борец с «сильными» личностями мало от них отличается. Он тоже подозрительно смотрит на Сократа, не разбираясь в тонкостях и причисляя Сократа к совратителям молодежи — софистам. Для него всякое новое веяние вредно и противоречит старым добрым порядкам. Этот догматически мыслящий ненавистник философии ни в чем не уступит Калликлу, когда претворит в жизнь предсказанную Калликлом горестную судьбу Сократа. Анит будет одним из тех негодяев обвинителей, предугаданных Калликлом, перед которыми не сумеет на суде оправдаться Сократ.

Враги Сократа не дремали. В 399 году на Сократа был подан донос, составленный Мелетом, богачом-кожевником Анитом и оратором Лико-

ном. Формально первым обвинителем был Мелет, но по существу главная роль принадлежала влиятельному Аниту, осуждавшему Сократа с позиций узкой консервативной благонадежности и видевшему в Сократе софиста, опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. В обвинении значилось следующее: «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из дема Алопеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание — смерть». Как рассказывает Платон, Сократ мирно беседовал с геометром Феодором Киренским и юным Теэтетом, будущим известным ученым и философом, человеком благородным и мужественным. Повторилась давнишняя ситуация. Некогда молодой Сократ с трепетом слушал старика Парменида. Теперь Сократ, сам семидесятилетний старик, напутствовал Теэтета. В конце беседы идет речь о «повивальном искусстве» Сократа, которое он и его мать получили от бога. Она — для женщин, рождающих детей, Сократ — для юношей, рождающих прекрасные мысли. Сократ будто неожиданно вспоминает, что ему надо идти в суд, куда его вызывают по обвинению, подписанному Мелетом. Однако даже и вызов в суд не помешал Сократу на следующий день встретиться со своими собеседниками и с помощью своего «повивального искусства» выяснить, что же собою представляет настоящий софист. Общий вывод был таков: софистический спор — это пустая болтовня, способствующая трате времени и денег. Искусство софиста есть не что иное, как спор ради наживы. Однако

вывод, сделанный в тонкой диалектической беседе, для необразованного среднего горожанина ничего не значил. Такой немудрящий афинянин, ремесленник или торговец еще помнил сам, а может быть, слышал от старших о некоем Сократе, которого осмеивали в комедии Аристофана 20 лет тому назад. Тот Сократ исследовал все, что над землей, и все, что под землей, и был забавным шарлатаном, но очень вредным развратителем молодежи, которую он учил, как в суде ловкой речью обдурить своих кредиторов. Вдобавок старик Сократ поклонялся каким-то неведомым богам, то ли облакам, то ли громам и вихрям. И сам всюду говорил, что внутри его обитает некий «даймон», подающий, когда надо, голос, которого следует беспрекословно слушаться. В довершение всех зол старшее поколение помнит, что за Сократом неотступно ходили Алкивиад, Критий и Хармид и похвалялись, что они-де ученики и друзья мудрейшего Сократа. А уже какие беды обрушили на Афины Алкивиад и Критий и сколько невинных достойных граждан погибло при «тирании тридцати» — знал каждый. Сократу угрожала серьезная опасность.

Пока Сократ и математик Феодор вместе с молодыми друзьями решают вопрос о том, что такое искусство политики, и выясняют сложную систему подразделения знания, приводящего к этому возвышенному искусству, дело с обвинением Сократа получает плохой оборот. Назначается судебное разбирательство. Оно происходит в одном из десяти отделений суда присяжных, или гелиеи, включавшей пять тысяч граждан и тысячу запасных, которые ежегодно избирались по жребию от каждой из десяти фил Аттики. В отделении, разбиравшем дело Сократа, было 500 человек. К этому количеству

присоединяли при голосовании еще одного присяжного, чтобы число членов суда становилось нечетным.

Сократ должен был явиться в суд и выступить в собственную защиту. Ему предлагал помощь и даже приготовил для него речь знаменитый судебный оратор Лисий, в доме отца которого когда-то проводил время Сократ, рассуждая об идеальном государстве. Но это было 20 лет назад. Лисий потерял отца, брат его погиб при «тирании тридцати», а сам он, виднейший оратор, пытался защитить Сократа от демократов консервативного толка. Однако Сократ отказался от подготовленной Лисием речи, хотя в Афинах принято было даже заказывать специальным ораторам-логографам такие защитительные речи, или апологии. Сократ, привыкший беседовать с людьми разного положения, достатка и образования, решил сам убедить в своей невиновности суд, где мог заседать любой афинский гражданин, достигший двадцати лет, и где обязанности присяжных исполняли горшечники, оружейники, портные, повара, корабельщики, медники, лекаря, плотники, кожевники, мелкие торговцы и купцы, учителя, музыканты, писцы, наставники в гимнасиях и палестрах и многие-многие другие, с которыми так привычно на площадях и базарах вступал в разговоры Сократ.

Положение Сократа оказалось трудным. После того как обвинители произнесли свои речи, слово предоставили Сократу. Однако время защитительной речи было строго ограничено, на видном месте установили клепсидру, то есть водяные часы. А ведь Сократу надо было так много сказать: и оправдаться перед обвинением двадцатилетней давности, пущенным в ход с легкой руки Аристофана, и

перед нынешними обвинителями. Ни одного конкретного, фактически установленного обвинения не существовало. Сократу приходилось, как он сам говорил, сражаться с тенями и слухами. Но он прекрасно понимал, что в клевете на него участвуют или люди, ничтожество и невежество которых он вскрывал постоянно, или наивные простаки, идущие на поводу у слухов. Ему удается во время речи задавать свои обычные иронические вопросы Мелету, и тот отвечает невпопад или молчит. Но Сократ, который так привык утверждать людей не в желаниях материальных, а в добродетели, держится достойно и не ищет снисхождения, не надеется разжалобить присяжных бедностью, старостью, тремя детьми, которые останутся сиротами. Он уверен в своей правоте, заявляя, что не перестанет и впредь воспитывать граждан. Ничего не скрывая, он по своей простоте рассказывает суду и об оракуле, признавшем его мудрейшим, и о таинственном голосе, который удержал его от недостойных поступков, и о том, как он храбро противился «тирании тридцати», и о том, как он никого специально не обучал и никогда не брал денег. В свидетели он приводит своих друзей, с трепетом слушающих его. Здесь старик Критон и его сын Критобул, Эсхин из Сфетта и его отец, Антифон и Никострат. Здесь же Аполлодор со своим братом и сыновья Аристона, Адимант и Платон. Сократ не просит суд поступиться истиной и нарушить присягу. Он ищет одной только справедливости.

Происходит перерыв в заседании, и присяжные после обсуждения дела выносят обвинительный приговор. Иные раздражены гордостью Сократа, тем, что он не плачет перед ними и не протягивает с мольбой руки. Иные страшатся человека, яко-

бы объявленного Аполлоном мудрейшим и обладателя какого-то даймонического голоса. Другим не по нутру смирение Сократа и его непоколебимость, уверенность в собственной правоте. По свидетельству Платона, за оправдание Сократа был подан 221 голос, а против — 280 голосов. Ему не хватило всего лишь 30 голосов, так как для оправдания надо было иметь минимум 251 голос из 501 количества присяжных. По афинским законам, обвинитель, не собравший одной пятой части голосов, должен был заплатить штраф в тысячу драхм и лишался права в дальнейшем подавать в суд жалобы подобного рода. Только наличие кроме Мелета двух других обвинителей — Анита и Ликона — обеспечило Мелету необходимое количество голосов. Мелет в своем письменном обвинении потребовал для Сократа смерти. По афинским законам обвиняемый имел право, в свою очередь, предложить себе наказание. И Сократ со свойственной ему иронией предлагает для себя, для старика, много сил отдавшего на воспитание афинских граждан, пожизненный обед на общественный счет в пританее, который предназначался атлетам, заслужившим награду на Олимпийских играх. Присяжные негодуют на эту насмешку и шумят, как они уже не раз шумели во время речи Сократа. А Сократ продолжает. Он готов заплатить штраф в одну мину, а ведь все имущество его оценивается в пять мин. Но друзья Критон, Критобул, Аполлодор и Платон, присутствующие здесь же, велят ему назначить штраф в 30 мин, чтобы ублажить присяжных, и берут на себя поручительство. Они люди состоятельные и надежные, так что деньги будут вовремя внесены.

Суд не удовольствовался штрафом, и присяжные, оскорбленные иронией Сократа, собрали те-

перь, голосуя за смертный приговор, которого требовали обвинители, уже на 80 голосов больше. Бедняга Аполлодор, плача, сказал Сократу после вынесения смертного приговора: «Мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо». На что Сократ ответил: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?» Перед вынесением окончательного решения Платон пытался увещевать присяжных. Он уже было взобрался на помост и начал говорить: «Граждане афиняне, я — самый молодой из всех, кто сюда всходил...» — как судьи закричали: «Долой! Долой!» Еще не хватало почтенному суду выслушивать сына Аристона, ближайшего родича тех, кто верховодил недавно олигархами.

Сократ был спокоен. Он сказал, что природа с самого рождения обрекла его, как и всех людей, на смерть. А смерть есть благо, ибо она дает ему возможность или стать ничем и ничего не чувствовать, или, если верить в загробную жизнь, встретиться со славными мудрецами и героями прошлого. Самое же главное, он готов и в Аиде испытывать его обитателей, кто из них мудр, а кто только прикидывается мудрым. Сократ, уважая решение афинян, поручает им своих сыновей, чтобы их наставляли на путь добродетели так, как он сам наставлял своих соотечественников. Но «уже пора идти отсюда, — закончил он, — мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме бога».

Тем, кто его осудил, Сократ предсказал приход новых обличителей. Они будут тем суровее, чем они моложе. И их обличение несправедливости превзойдет все то, что до сих пор делал Сократ. Тем, кто казнил Сократа, еще придется дать отчет за на-

рушение справедливости, и их вскоре постигнет кара тяжелее той смерти, которую присудили самому Сократу.

По преданию, обвинители Сократа испытали на себе его предсказание. Рассказывают, что афиняне, одумавшись, изгнали их из города, лишили их «огня и воды», так что им ничего не оставалось делать, как повеситься. Потомкам очень хотелось, чтобы возмездие когда-нибудь настигло убийц Сократа. И вот создавалась легенда о том, как Анит, главный подстрекатель и преследователь, был побит камнями и умер в сташных мучениях.

Но что было Сократу до последующих легенд!

По решению суда Сократа препроводили в тюрьму. Приговор не могли привести в исполнение еще целый месяц, так как корабль, посланный с ежегодным священным посольством, Феорией, на остров Делос, родину бога Аполлона, еще не вернулся. А казнить во время пребывания на Делосе «Феории» в честь афинского героя Тесея было запрещено. Так и жил Сократ в тюрьме еще много дней в ожидании неминуемой смерти. К нему приходили друзья. Старик Критон убеждал его спастись бегством и найти убежище вдали от Афин, хотя бы в Фессалии, где его уже ожидают. Известные философы-пифагорейцы из Фив, Симмий и Кебет, готовы оказать своему другу помощь и заплатить кому надо. По всему видно, что и сами тюремщики смущены несправедливостью суда и не очень усердны в охране. Ежедневно Сократа навещают преданные ученики. Они собираются вместе у здания суда, и как только откроется тюрьма, входят к Сократу и проводят с ним целый день. Но вот дошли слухи, что корабль с Делоса прибудет на следующий день, и Критон торопит с

решением, так как все подготовлено для бегства. Сократ, однако, непреклонен. Как он может покинуть город, где родился, вырос, где получил воспитание? А отеческие законы? Разве они простят ему это трусливое бегство? И что скажут люди, которых наставлял и вразумлял Сократ? Нет, смерть надо встретить достойно и не противиться злу, которое наносит ему родной город. Нельзя воздавать злом за зло, преступив законодательство и обычаи старины. Отголоски речей, с которыми будто бы обращаются законы к Сократу, звучат в его сердце, и как ни жаль ему старого Критона, но лучший выбор — покорно ждать прибытия священного посольства.

Как и предсказывал Сократ, корабль пришел назавтра после беседы с Критоном. Друзья собрались раньше обыкновенного, желая продлить свою последнюю встречу с Сократом. Здесь были Федон и Аполлодор, Критобул с отцом, Гермоген и Эсхин, Антисфен и Менексен, Элитен и Ктесипп; Клеомброт и Аристипп находились в это время на острове Эгине, Платон был болен после тягостных событий. Зато из Фив явились преданные Симмий и Кебет, из Мегар Евклид и Терпсион, да еще Федонд. Одиннадцать архонтов, надзиравших за тюрьмами, предписали совершить казнь в тот же день. По их приказу с Сократа сняли оковы, в которых он находился все это время, и сидя на кровати, он с удовольствием растирал затекшую ногу. Здесь же голосила его жена Ксантиппа, держа на руках младшего сына. Сократ просил Крития увести несчастную домой. А сам мирно беседовал с друзьями о бессмертии души, о ее судьбе в загробном мире, о том, какими прекрасными и сияющими видятся ему истинная земля и истинное небо.

Сократ убежден, что, выпив цикуту, яд, который принесет ему смерть, он отойдет в счастливые края блаженных. Он совершил в соседней комнате омовение, простился с детьми и родственниками, велел возвращаться домой. А солнце уже было близко к закату, и появился прислужник одиннадцати как предупреждение о надвигающейся смерти. И Сократ со свойственной ему иронической благожелательностью даже назвал этого мрачного вестника обходительным человеком, когда тот по обычаю попросил у него прощения. Пришел раб вместе с человеком, который держал в руках чашу со смертным ядом. Он дал необходимые наставления. Надо выпить яд и ходить до тех пор, пока не отяжелеют ноги, а потом лечь и ждать, когда яд доберется до сердца и оно затихнет. Сократ не спеша взял в руки чашу и выпил ее до дна легко и спокойно. Вокруг него рыдали друзья, голосил Аполлодор, всем надрывая душу. А Сократ еще пристыдил их. Умирать надлежит в благоговейном молчании. Он сначала ходил, потом лег и уже не чувствовал, как его холодеющее тело ощупывал служитель. И вдруг, когда смертельный холод стал подбираться к сердцу, Сократ неожиданно промолвил свои последние слова: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». — «Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» Но ответа уже не было. Взгляд Сократа остановился. Критон закрыл ему рот и глаза. Умирая, он как бы выздоровел, и душа его вернулась к вечной жизни, освободившись от земных невзгод. Вот почему в последних своих словах Сократ вспомнил о жертве, которую приносили богу врачевания Асклепию, дарователю здоровья.

Глава третья

ОДИН В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Так Платон остался в одиночестве. Но восемь лет дружбы с Сократом не могли для него пройти даром. Для всех учеников Сократа после его смерти началась самостоятельная жизнь. Каждый из них пошел своим путем, развивая те сократовские идеи, которые были каждому из них близки. Некоторые основали свои собственные школы в родных местах, другие оказались на чужбине. Одни переезжали из города в город, обучая мудрости наподобие своего учителя, а кто замкнулся в себе, стремясь осуществить заветы Сократа добродетельной и честной жизни. Восемнадцатилетний Федон, любимец Сократа, которого некогда при содействии учителя выкупили из рабства во время спартано-элидской войны, вернулся домой и открыл школу в родной Элиде, где он нашел продолжателя своего дела, Менедема.

Евклид и Терпсион обосновались в Мегаре. Там у Евклида нашли приют Платон и другие последователи Сократа, устрашенные действиями афинских властей. Аристипп не довольствовался Киреной и Афинами, он пустился в странствия и нашел место в Сицилии при дворе тирана Дионисия. Там Аристипп повстречал Эсхина из Сфетта, в сочинениях которого буквально оживали речи Сократа. Злые языки говорили, что эти диалоги втайне писал Сократ, а вдова его Ксантиппа после смерти мужа передала их Эсхину. Эсхин долго бедствовал, пока не обосновался в Сицилии. Антисфен собирал своих приверженцев в окрестностях Афин в гимнасии Киносарга, откуда впоследствии философия киников распространилась по всему античному миру.

Ксенофонт подружился со спартанским царем и полководцем Агесилаем и был принят в Спарте как почетный гость. Он получил в дар недалеко от Элиды имение Скиллунт, где после бурных событий молодости занимался хозяйством и писал свои знаменитые «Воспоминания о Сократе» и исторические труды. В Афины путь ему был закрыт многие годы из-за его дружбы со спартанцами.

Старик Критон, сидя дома в Афинах, продолжал заниматься философией и, говорят, написал одиннадцать диалогов, собранных в одну книгу.

Платон, тяжело перенесший смерть Сократа, никак не мог остаться в Афинах. Сначала он перебрался в Мегару к Евклиду, у которого на первых порах собрались ученики Сократа. Они хотели еще раз пережить вместе общее горе, прежде чем всем расстаться и разъехаться по разным городам, чтобы, может быть, больше никогда друг с другом и не встретиться.

Настоящему философу по старинной традиции полагалось набраться мудрости у тех, кто хранил ее с древнейших времен. Значит, надо было отправиться путешествовать по свету, познавая науки, философию, религию и нравы чужеземцев. Здесь наши сведения из античных источников расходятся. Одни утверждают, что Платон посетил Вавилон, изучая астрономию, и Ассирию, где приобщился великой мудрости магов. Некоторые утверждают, что он даже добрался до Финикии и Иудеи, собирая сведения о законах и религии их обитателей. Большинство сходится на том, что Платон не мог миновать Египта, который поразил в свое время Солона и Геродота. Платон, конечно, хорошо знал знаменитые описания Египта в геродотовской истории. И как же было Платону не пройти по следам свое-

го предка Солона, набиравшегося мудрости у египетских жрецов в Фивах, Гелиополе и Саисе. Солон беседовал в Гелиополе с Псенофисом. В Саисе он посетил Сонхиса. Оба считались самыми учеными жрецами. Они так гордились древностью своего народа и сохранившимися преданиями, что греки для них оставались все еще малыми детьми. «Ах, Солон, Солон! — воскликнул один из старцев. — Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!» По мнению египетского жреца, все эллины — юны умом, и ум их не сохраняет преданий, переходящих из рода в род, или учения, поседевшего от времени. Солону некогда египетские жрецы поведали о судьбе древней Атлантиды и кровопролитной войне афинян и атлантов.

Думается, что ничего необычного в посещении Платоном Египта не было, тем более что Египет был совсем рядом и греки то и дело туда наезжали, основывая колонии на севере Африки.

Платон якобы ездил не один, а вместе с юным Евдоксом, тоже своим учеником, будущим знаменитым географом и астрономом. Фиванский пифагореец, друг Сократа Симмий, будто бы тоже собирался вместе с Платоном в эту поездку. Во всяком случае, Евдокс, родившийся в 408 году, мог к 390—389 годам восемнадцатилетним юношей сопровождать 35—36-летнего Платона. В Гелиополе через 300 лет после этого события показывали дом, где жили Платон и Евдокс.

Есть сведения, что Платон посетил Кирену, город, основанный в Северной Африке еще в XII веке до н. э. греками. Родом оттуда были Аристипп и знаменитый математик Феодор. Рассказывают, что Платон навестил там Феодора, брал у него уроки математики, как некогда это проделывал и сам Со-

крат. Феодор был близок к пифагорейцам, а у Платона тоже постепенно возникла дружба с этими философами аскетического образа жизни, знатоками смысла чисел как символов человеческого и космического бытия. Недаром Платона всю жизнь связывали узы дружбы с тарентинцем Архитом. Платон жил в Италии, в той ее южной части, которая впоследствии именовалась Великой Грецией и которая издавна была заселена греками, как и Сицилия. В богатых торговых городах Кротоне, Метапонте, Таренте еще в VI—V веках до н. э. развернули свою деятельность философы-пифагорейцы. Полулегендарный Пифагор когда-то поселился в Кротоне и учил там многие годы. Пифагор впервые ввел в употребление термин «философ», когда на вопрос тирана Поликрата, кем он является, ответил: я не мудрец (*sophos*), я любитель мудрости (*philosophos*), то есть философ. Доктрина пифагорейцев обладала огромной известностью и притягательностью. Она учила о равенстве всех душ перед вечностью. Отсюда запрет уничтожить любое живое существо и множество ограничений, чтобы не совершить никакого насилия и сохранять помыслы человека чистыми, лишенными аффектов. Пифагорейцы более всего почитали число и числовые отношения, внекачественные и бесстрастные. Боги и весь окружающий мир выражены у них символикой определенного соотношения чисел, что способствовало развитию математического подхода к миру и прогрессивному развитию точных наук.

Строгий образ жизни пифагорейцев, их созерцательная философия, благожелательность к человеку и стремление делать добро, оказать помощь — привлекали к ним многих людей. Можно сказать, что они пытались создать свою калокагатию и ре-

формировать общество, пользуясь религиозно-этической проповедью. Здесь были соединены философия с жизненной практикой, указывающей человеку достойный путь к судьбе, ожидающей его после смерти. Видимо, в этом учении сказалась реакция на богатство, обеспеченность, роскошь, аморализм и скептицизм, которые развивались в греческих полисах под руководством предприимчивой, денежной, радикальной демократии, ведшей захватнические войны и постепенно утерявшей старые доблестные идеалы. В эпоху тиранических властителей, которыми славились греческие города Великой Греции, пифагорейцы были опасны своей проповедью. Поэтому они тяготели к замкнутости, создали настоящий тайный союз и распространили свое влияние через членов общества во многих городах, где те занимали видные должности. Они даже скрытно руководили политикой. Однако в Кротоне деятельность пифагорейцев встретила сопротивление приверженцев некоего Килона, знатного и богатого кротонца, по словам Ямвлиха, «свирепого насильника, беспокойного и жестокого человека». Дома пифагорейцев и имущество были разгромлены и разграблены, многие из пифагорейцев погибли. Но и в Метапонте пифагорейские дома были сожжены, и, по преданию, спаслись только молодые и ловкие Филолай и Лисис. Однако эти события произошли давно, еще в середине V века до н. э., и пифагорейский союз как единое прочное целое прекратил свое существование в те времена, когда Платон еще и не родился.

После этих событий пифагорейцы переселились в Грецию в Фивы, как это сделал Филолай, и во Флиунт, где жили его ученики, например, Эхекрат, тот самый, которому Федон рассказывал о

смерти Сократа. Некоторые вернулись через много лет из Греции в Италию, а именно в Тарент, который и стал главным пифагорейским центром. Во времена Платона пифагорейцы уже были не столько политиками, сколько учеными-астрономами, механиками, математиками, особенно геометрами и музыкантами-акустиками. Многие из них пользовались большим личным авторитетом благодаря своей ученой славе и строгому нравственному облику. К ним прислушивались властители и даже искали их расположения. Философы-пифагорейцы почитались великими мудрецами, хранителями глубоких тайн, и престиж государственного деятеля неимоверно возрастал, если он или сам занимался философией, или покровительствовал ей. Понятно, почему Платон не мог миновать Тарента, города, в котором жил и философствовал знаменитый Архит, тот, который установил впервые различие между арифметической, геометрической и гармонической прогрессией и решил проблему удвоения куба. Его математические занятия были связаны с изысканиями в области механики и музыки. Он первый представил движение машин в геометрических чертежах и делал акустические опыты. Еще удивительнее были военные таланты Архита, который выполнял не раз обязанности стратега. И в первый же раз, как Архита отстранили от должности, тарентинцы потерпели поражение.

Это о Филолае и Архите писал через несколько сот лет знаменитый римский архитектор и ученый-механик Витрувий: «Природа наделила их столь острым и тонким умом и столь богатой памятью, что они в состоянии были в совершенстве знать геометрию, астрономию, музыку и прочие науки... Такие люди встречаются редко».

Дружба Платона и пифагорейцев оказалась очень плодотворной для философа. Пифагорейцы выразили в своем учении огромную склонность античного человека к математически точному, логическому мышлению и к освоению мира в его пространственно-геометрических и структурно-числовых отношениях. Если Сократ научил Платона уважать человека, стремящегося к знанию и нравственному идеалу, то пифагорейцы обучили его четкости мысли, строгости и стройности в построении теории, последовательному и всестороннему рассмотрению предмета.

Путешествия Платона после смерти Сократа происходили в 90-е годы IV века до н. э., длились целых десять лет и закончились поездкой Платона в Сицилию в 389—387 годах.

Глава четвертая

СИЦИЛИЙСКИЙ ТИРАН ДИОНИСИЙ СТАРШИЙ

Сицилия — богатейший и плодороднейший остров, издавна посвященный богине Деметре, покровительнице и дарительнице урожая. Этот благодатный остров назывался в древнейшие времена Тринакрией — островом с тремя мысами и считался пристанищем гомеровских лестригонов и киклопов. Близость к Италии, от которой Сицилия отделялась лишь узким проливом, сделала из острова житницу Италии. Удобное положение острова в Средиземном море еще в VIII веке до н. э. заставляло греков основывать здесь свои города, что, однако, привело к столкновению с финикийцами из Карфагена, которым рукой было подать от Северной Аф-

рики до Сицилии. А финикийцы господствовали над главными торговыми путями и славились как путешественники и купцы. Города Сиракузы, Гела, Акрагант, Гимера, Селинунт — результат освоения греками Сицилии. В городах издавна кипела борьба партий, аристократии и демократии. Здесь же были основаны тирании, пытавшиеся объединить под своей властью всю Сицилию. Среди сицилийских греков процветали науки и искусства. Сицилийцы родом комедиографы Эппхарм и Софрон, поэт Стесихор, философ Эмпедокл, ритор и софист Горгий, историк Филист. Сицилия ревностно сохраняла свою независимость и в Пелопоннесской войне, в 415 году нанесла сильнейшее поражение мощному афинскому флоту.

Правда, события начала IV века до н. э. не очень походили на успехи сицилийцев V века. В городе Сиракузах правил тиран Дионисий Старший. Жизнь его была характерна для тех, кого в это время называли тиранами. Будучи человеком простого рода, но удачливым стратегом, он захватил власть в Сиракузах вооруженной силой, опираясь на преданное войско, которое он задаривал деньгами. Вначале он успешно боролся с карфагенянами, которые крепко сидели в северо-западной части Сицилии. Затем, когда ему пришлось уступить им некоторые города, Дионисий женился на дочери известного полководца Гермократа, того самого, который одержал блестящую победу над афинским флотом в 415 году. Но сиракузцы восстали против Дионисия, и жена его погибла страшной смертью. Дионисий вновь захватил власть, расправился с мятежниками, взял сразу двух жен, Дориду из италийских Локр и свою землячку Аристомаху, дочь Гиппарина. Этот последний был знатнейшим гражданином Си-

ракуз и в свое время избирался вместе с Дионисием полководцем с неограниченными полномочиями. Началось соперничество жен и тех, кто стоял за их спинами. Сиракузцам хотелось иметь наследника от дочери Гиппарина. Мать Дориды обвинили в колдовстве и казнили, но первый сын родился у Дориды. Войны с карфагенянами чередовались с придворными интригами и политической борьбой, когда Дионисий предавал смерти многих граждан, конфискуя их имущество и проявляя небывалую жестокость. Дионисий был первым из тех, кого именовали тиранами в осудительном смысле, в то время как тираны VII—VI веков до н. э. в греческих городах были носителями демократических принципов в противовес старой аристократии, а некоторые из них, как Питтак и Периандр, даже причислялись к легендарным семи мудрецам. Тщеславие Дионисия было неимоверным. Он считал себя талантливым поэтом и трагиком, но над его стихами смеялись, и лишь за одну трагедию он не без труда сумел получить в Афинах награду. Радуясь этой своей театральной победе, после чрезмерных пиршественных возлияний он и умер в 367 году. Говорили, что вместо снотворного ему подсунули яд.

Важную роль при дворе тирана играл Дион, сын Гиппарина, брат жены Дионисия, Аристомахи, сам женатый на дочери Дионисия.

Дион был человеком умным, образованным, молодым, питавшим надежды на политические реформы в аристократическом духе. Он увлекался философией, что не мешало ему быть человеком опытным в политике.

Диону суждено было терпеть жестокость Дионисия-отца, а затем и безумства Дионисия-сына, власть которых он стремился превратить в просве-

щенную тиранию. По приглашению Диона, который будет в дальнейшем играть особую роль в биографии Платона и станет его прямым учеником, не без влияния пифагорейцев и, в частности, Архита, в Сицилию прибыл Платон, который как раз совершал свое длительное путешествие по Италии.

Уже около десяти лет Платон провел вне родных мест, набираясь мудрости и знаний, накапливая опыт бывалого философа. По рассказам друзей, он знал о страсти Дионисия Старшего к поэзии и, возможно, питал горделивый замысел воздействовать своей философией на его нравственный облик. И хотя Плутарх писал, что Платон приехал в Сицилию «единственно волею божества, а не по человеческому расчету или разумению», но, видимо, главным проводником этой божественной воли все-таки оказался Дион. Диону в год приезда Платона было всего 18 лет, но он уже осознавал себя учеником Платона и с горячностью неофита решил провести в жизнь свою идею нравственного совершенствования тирана посредством философии.

Платон с молодости мечтал быть человеком, полезным обществу и государству. Он жил постоянно в окружении сильных политических страстей. Ближайшие родичи его принимали самое активное участие в олигархической борьбе за власть 411 и 404 годов. Они даже приглашали молодого человека в соучастники их замыслов. По молодости лет Платон был убежден, что именно эти люди отвратят государство от несправедливости. Но когда он стал наблюдать за их действиями (а все их поступки были бескомпромиссно жестоки), то убедился, что за короткое время эти люди заставили всех увидеть в прежнем государственном строе золотой век. Однако приход к власти демократов нанес новый удар

Платону, когда он стал свидетелем их несправедливости в отношении Сократа. Вот тогда-то Платон увидел, что для него невозможно заниматься государственными делами. Старые обычаи, законы и нравы поразительно извратились и пали. Сам Платон, уже будучи стариком, признавался в одном из писем, что у него, исполненного рвения служить обществу, все пошло вразброд и в конце концов потемнело в глазах. Как человек думающий, Платон не перестал, однако, размышлять, каким путем можно улучшить нравы и вообще государственное устройство. Странствуя по разным странам и наблюдая их жизнь и законы, Платон пришел к выводу, что все существующие государства управляются плохо. Излечить их законодательство невозможно, а помочь им может только удивительное стечение обстоятельств. Для Платона философия явилась тем единственным источником, который питает государственные законы и жизнь частного человека. Все более и более Платон убеждался в мысли, что избавить от зол человеческий род могут только истинные и правильно мыслящие философы, занявшие государственные должности, или же властители государств, которые по какому-то божественному определению станут подлинными философами.

Таким образом, идеи Платона и Диона целиком совпадали, а человек, восприимчивый к поэзии, был, по их мнению, пригоден к усвоению истинной философии.

Но что было вполне извинительно для юного Диона, то для 38-летнего уже испытанного жизнью Платона граничило с чистейшей иллюзией. Вскоре по приезде Платона в Сиракузы выяснилась вся никчемность тамошней пресловутой блаженной жизни. Италийские и сиракузские пиршества не пришлись

по душе Платону. А привычка наедаться дважды в день до отвала была ему просто отвратительна. Философ увидел, что люди, с юности воспитанные в таких нравах, никогда не смогут стать разумными, даже если они одарены чудесными природными задатками. Бедственное положение государства, граждане которого погружены в роскошь, обжорство, пьянство, любовные утехи и не прилагают ни к чему никаких усилий, было страшной очевидностью. Платон с горечью осознает, что подобные государства неизбежно меняют формы правления, впадая в крайности — то в тиранию, то в олигархию, то в демократию. И всякий раз их властители не могут даже слышать о справедливости и равноправии. Надо было очень верить в силу философского воздействия на тирана, чтобы сделать столь решительный шаг и начать увещания Дионисия. А сам тиран не без любопытства дал свое согласие на философские беседы с Платоном. Опытный и закаленный Дионисий, привыкший все 40 лет своей жизни никому не верить и в каждом подозревать врага, с внутренним недоверием слушал философа, который рассуждал о добродетелях правителя и человека. Платон поучал Дионисия, пытаясь объяснить, что такое мужество, хотя никогда не участвовал в сражениях военной и государственной жизни. Платон доказывал, беседуя с Дионисием, что тираны беднее всех мужеством, ибо держат окружающих только силой страха и сами испытывают страх перед каждым человеком. А когда зашел разговор о справедливости, выяснилось, что подлинного счастья достойны лишь справедливые люди, а несправедливость есть не что иное, как несчастье.

Примечательной была одна из бесед Дионисия с Платоном, сведения о которой, все более ослож-

няясь подробностями, дошли до конца античности. Дионисий задавал вопросы, а Платон отвечал на них тоном, не вызывающим никаких сомнений в авторитетности философа. На вопрос о том, кто самый счастливый человек, Платон назвал без колебаний Сократа. Когда Дионисий стал допытываться, в чем состоит цель властителя, Платон, не смущаясь, сказал: «Делать из своих подданных хороших людей». Дионисий мнил себя на редкость справедливым судьей и поинтересовался мнением Платона о значении справедливого суда. Однако Платон не стал льстить своему грозному собеседнику и остроумно заметил, что судьи, даже справедливые, похожи на портных, дело которых зашивать порванное платье. Намек был вполне очевиден — мало залатывать дыры в государстве, управляемом тираном, надо изменить сами методы власти. Дионисий не унимался. Он хотел знать, не требуется ли храбрости тирану, думая, что Платон наконец оценит его личные качества. Но Платон ответил без утайки, что тиран самый боязливый человек на свете, так как он дрожит перед своим цирюльником, опасаясь, как бы тот не зарезал его бритвой.

Дионисий уже не скрывал неудовольствия, выслушивая наставления всеми восхваляемого философа и подозревая его в неприкрытом осуждении своей особы. Возмущал Дионисия и тот энтузиазм, с которым Платона слушали придворные. Молодежь была просто зачарована Платоном, высказывавшим открыто такие мысли, которые еще никто никогда здесь не произносил вслух, да и думать-то так боялись.

Наконец терпение Дионисия иссякло, и он резко спросил Платона, зачем тот приехал в Сицилию. На ответ Платона, что он ищет совершенного чело-

века, Дионисий язвительно сказал: «Клянусь богами, ты его еще не нашел, это совершенно ясно». На этом и закончилось нравственное воздействие философа на тиранию.

Платон, который, рискуя жизнью, недавно наблюдал за потоками пылающей лавы во время извержения Этны, теперь подвергался гораздо большей опасности. Зная жестокость и вероломность Дионисия, Дион решил немедленно отправить Платона восвояси. На корабле спартанского посла Поллида Платон отплыл из Сиракуз, не подозревая, что посол получил тайный приказ убить его, когда выйдут в открытое море, или в крайнем случае продать в рабство. Это последнее распоряжение тирана было сделано не без злорадства над философом, оторванным от живой практики жизни. Дионисий притворно заявил, что Платон ведь не понесет никакого ущерба, так как будучи человеком справедливым, он и в рабском состоянии будет испытывать счастье.

Поллид не решился убить почитаемого всеми философа, но тем не менее, боясь ослушаться Дионисия, продал Платона в рабство на острове Эгине. Эгинеты в это время воевали с Афинами, и каждого афинского гражданина, появившегося на острове, ожидало рабство. На острове, где, по одному из преданий, родился Платон, его вывели на невольничий рынок.

Анникерид, житель Эгины, отправлялся на состязания колесниц в Элиду. Когда он перед отъездом случайно повстречал Поллида и узнал в готовом для продажи невольнике известного философа Платона, он сразу же его купил за 20 или 30 мин. Но купил он его только для того, чтобы немедленно отпустить на свободу. И этим, как говорят, стяжал гораздо большую славу, чем в состязании колесниц.

Ведь никто бы и не знал об Анникериде, если бы он не выкупил Платона.

По другим сведениям, Платона выкупил у спартанца Поллида все тот же пифагореец Архит, давнишний друг и благожелатель Платона и Диона. Вся эта живописная история вызывала в античности много толков и слухов. Ее всячески расписывали и, наверное, преувеличивали. Передавали историю о том, как спартанец Поллид впоследствии потерпел поражение от афинского полководца Хабрия и утонул, так как ему, по словам Диогена, «божество отомстило за философа». Были сведения о том, что друзья Платона хотели вернуть Анникериду затраченные им деньги, но тот благородно отказался. Тогда друзья вручили эти злосчастные деньги Платону, и он, не отличавшийся богатством, неожиданно стал обладателем солидной суммы. Потратил он этот капитал, как и подобает философу.

Глава пятая

АКАДЕМИЯ

Вернувшись в Афины после долгих лет странствий, Платон купил на северо-западной окраине города, в шести стадиях* от главных Дипилонских ворот, сад с домом, где основал философскую школу и поселился сам.

Вся близлежащая местность, где когда-то находилось святилище Афины и где остались от него 12 олив — деревьев богини, находилась под покровительством древнего героя Академа, которому эта земля была подарена якобы легендарным царем Тесеем.

* Стадий — около 192 метров.

Афиняне называли сады, рощи и старинный гамнасий этого живописного уголка Академией. Там-то и возникла около 385 года до н. э. знаменитая философская школа Платона, просуществовавшая до самого конца античности, до 529 года, когда византийский император Юстиниан закрыл ее как рассадник языческой ложной мудрости.

Здесь, в Академии, Платон обрел ту спокойную домашнюю скромную жизнь, которой ему так недоставало. Однако судьбе было угодно, чтобы он еще два раза покидал ставшее для него родным место и после драматических событий, спасая жизнь, снова возвращался к своим ученикам под сень хранимого героем Академом сада.

Еще в первой половине V века до н. э. знаменитый афинский полководец Кимон превратил запущенный участок вне афинских стен в прекрасную рощу с искусно размеченными дорожками. Он же провел сюда воду, и сад Академии уже давно стал украшением города и полюбился афинянам. Подходя к Академии, путник встречал изображение Артемиды «Лучшей и прекраснейшей» и храм Диониса-Освободителя, а неподалеку могилы Перикла и Фрасибула, вождей демократии, и выдающегося полководца Хабрия.

Каждого, кто шел из Афин через пригород Керамик в Академию, охватывал трепет, ибо вся дорога была обрамлена каменными стелами, воздвигнутыми в честь выдающихся храбрецов, сражавшихся за свободу Афин на суше и на море. Философия и воспоминания о великих предках всегда соседствовали здесь, придавая оттенок особой значительности платоновской школе. В этом тихом уголке за пределами Афин, возле реки Кефис, среди широколистых платанов и старых маслин, серебристых

тополей и густых вязов там и здесь виднелись статуи муз и жертвенники этим богиням искусства. Одно из масличных деревьев было столь древним, что афиняне почитали его вторым после той маслины, которую в городе посадила сама богиня Афина. Приспособления для гимнастических упражнений, оставшиеся от гимнасия, отнюдь не мешали статуям Прометея и Гефеста, Геракла и Эрота. Мудрый титан Прометей и не менее мудрый божественный мастер Гефест, многострадальный герой Геракл и крылатый бог Эрот, который, по словам Сократа, означает вечную устремленность, обитали под тенистыми деревьями на веселых лужайках. От жертвенника Прометею по старинной традиции начинался во время празднества в честь богини Афины и Прометея бег с факелами до города, тот самый, о котором Платон вспоминает в своем сочинении «Государство».

Что же представляла собою Платоновская академия? Это был союз мудрецов, служивших Аполлону и музам. Недаром сам дом Платона назывался «домом муз», «Мусейоном». Главой школы, или схолархом, был Платон. Но он еще при жизни назначил своим преемником племянника Спевсиппа, сына своей сестры Погоны.

С именем каждого нового схоларха в дальнейшем связывались разные периоды в развитии школы, и она получала название Академии первой (или Древней), второй (или Средней), третьей (или Новой) и т. д.

Школа размещалась в старом здании бывшего гимнасия. Перед входом каждого встречала надпись: «Негеометр да не войдет». Она указывала на великое уважение Платона и его соотечественников к математике вообще и к геометрии в частности

как науке о самых прекрасных мысленных фигурах. Недаром в Древней академии главное внимание уделялось математике и астрономии. И в этом нельзя не увидеть воздействия почитаемых Платоном пифагорейцев.

По их примеру занятия были двух типов: более общие, для широкого круга слушателей, и специальные, для узкого кружка посвященных в тайны философии. Занятия проходили по строгому распорядку. По утрам всех обитателей Академии поднимал мощный звук особого «будильника», изобретенного самим Платоном. В Академии были установлены солнечные часы — гномон. Как и следовало, занятия математикой в платоновской школе привели к увлечению прикладной механикой, особенно когда в Академии подолгу жил Евдокс, знаменитый астроном. Сведения о «ночных» часах, будильнике Платона некогда сообщил Аристоксен, знавший от своего учителя Аристотеля много интересного о жизни в Академии.

Из клепсидры — большого сосуда, полного водой, рассчитанного приблизительно на действие в течение шести часов, вода по капле вытекала в расположенный под клепсидрой резервуар. Когда в этом резервуаре накапливалась вода, она попадала под сильным давлением в трубу, соединявшую верхний резервуар с нижним, пустым. Сверху через узкую трубку вода обрушивалась с силой в нижний резервуар. Сдавленный воздух оттуда выходил через единственный клапан нижнего резервуара, соединенный длинной трубкой с музыкальным инструментом. И этот водяной орган типа флейты начинал мощно звучать под действием силы выходящей струи воздуха.

По примеру пифагорейцев, живших издавна

строгими общинами аскетического типа, ученики спали мало, бодрствуя и размышляя в тишине. Они устраивали совместные трапезы, воздерживались от мяса, возбуждающего сильные чувственные страсти, питались овощами, фруктами (сам Платон очень любил смоквы*) и молоком; старались жить чистыми помыслами. На обеды в Академию иной раз приглашались друзья Платона, но скромность совместной трапезы оставалась неизменной. Известный полководец Тимофей, сын знаменитого Конона и соратник Хабрия, привыкший к роскошным угощениям на торжественных приемах, был поражен умеренностью стола и обстановкой мудрой «мусической» беседы. Рассказывают, что, отобедав в Академии по приглашению Платона и встретив его на следующий день, он сказал: «Ты и твои друзья, Платон, прекрасно вкушаете, не насыщаясь сразу, а так, чтобы чувствовать себя хорошо и назавтра».

Вначале Платон беседовал, прогуливаясь под деревьями в роще Академа, а затем в своем доме, где устроил святилище муз и так называемую экседру, залу для занятий. Со времени Платона его собственный дом и сад афиняне тоже стали привычно именовать Академией, как и всю местность, где находилась философская школа. Через сотни лет, в I веке до н. э., римский диктатор Сулла, окружив Афины, вырубил старинный сад Платоновской академии для постройки осадных машин. Но деревья выросли снова, и прекрасный тенистый сад просуществовал до конца античности.

В самой школе, или «доме муз», племянник Платона Спевсипп установил изображения Харит, а

* Смоква — плод инжира (смоковницы обыкновенной, фигового дерева).

знатный перс Митридат водрузил в Академии через несколько лет после ее открытия статую Платона работы скульптора Силаниона, с посвятительной надписью. Об этом изображении Платона можно судить по известному сохранившемуся бюсту Платона, для которого скульптура Силаниона служила оригиналом. Здесь же, в Академии, когда Платона уже не было в живых, его ученики торжественно праздновали ежегодно 7 таргелиона (как мы уже знаем, 21 мая) — день его рождения. Они вспоминали Платона наподобие древнего героя, основателя, или эпонима, святилища философии. Неподалеку за стенами сада находилась могила Платона.

По закону должность главы Академии была выборной, но, как рассказывают, выборы произошли лишь дважды, обычно глава школы сам назначал своего преемника.

Чтобы содержать в порядке дом и сад, следить за трапезами, кухней, жертвоприношениями, нужны были специальные служители, хотя весь обиход был достаточно скромным. На каждый день месяца из числа слушателей назначались «архонт», или глава учеников, а также «приноситель священных жертв» и «служитель муз». Наряду с учителями преподавали их помощники из числа оканчивающих и уже опытных учеников. Здесь занимались не только философией, математикой и астрономией, но и литературой, изучали законодательства разных государств, естественные науки, в том числе ботанику. Некоторые из учеников особенно увлекались изучением природы и ее законов, в числе таковых был Аристотель (384—322 годы до н. э.), 20 лет проведший в Платоновской академии и только в 40 лет, зрелым ученым, уже после смерти Платона, получивший возможность открыть свою собственную школу — Ликей.

Многие годы до этого момента Аристотель с разрешения Платона вел занятия в стенах Академии. А однажды, как несколько иронически рассказывают древние, когда, будучи уже стариком, Платон ненадолго уехал, Аристотель стал обучать в том же самом месте, где обычно беседовал Платон со своими учениками. Только с помощью своего племянника Спевсиппа, крепкого и сильного мужчины, Платон сумел вытеснить Аристотеля из своих владений. Этот, может быть, и не очень достоверный факт указывает на то, что традиции в Академии строжайшим образом соблюдались и нарушать их никому не было разрешено. А уж права основателя школы, ее главы и хозяина всех владений соблюдались неукоснительно.

Платоновская Академия впервые в античности с успехом объединила в своих стенах разнообразные науки, большое количество слушателей, привела в систему и выработала строгие методы преподавания. Среди учеников Платона в Академии были даровитые люди, которые в дальнейшем с увлечением занимались не только философией, но и активной государственной деятельностью. Некоторые сведения об ученичестве ряда известных и даже знаменитых лиц у Платона, может быть, и преувеличены, но важно то, что историческая традиция упорнейшим образом приписывала Платону именно тех, а не других учеников.

Так, племянник Платона Спевсипп возглавлял после смерти Платона Академию (347—339 годы до н. э.). Его младший соученик Ксенократ был третьим схолархом (339—314 годы до н. э.) и вступил в должность, когда Спевсипп тяжело болел. Спевсипп, служивший опорой Платона в старости, в болезни тяжко страдал и, не перенеся мучений, покончил с собой.

Ксенократ сопровождал Платона в одной из его поездок в Сицилию. Человек справедливый и необычайно честный, он был крайне суров, и, по преданию, Платон с улыбкой напомнил ему, что не надо забывать жертвоприношения Харитам, богиням милого и радостного восприятия жизни.

Прямым учеником Платона был великий Аристотель. Под тенистыми деревьями своего Ликея, уже когда не было на свете Платона, прогуливаясь по аллеям, вел Аристотель беседы с учениками. И школу его прозвали перипатетической (греч. *peripateō* — прогуливаюсь).

Любимейшим учеником Платона был Филипп Опунтский, тот самый, который собственноручно переписал огромное сочинение Платона «Законы», оставленное учителем перед смертью в черновом виде на восковых дощечках. Ему же приписывали в древности «Послезаконие», нечто вроде заключения к «Законам».

Дион, изгнанный из Сицилии в 366 году, находясь в Греции, жил в кругу философов и слушал своего старшего друга в Академии. Из Малой Азии, родом из города Скепсиса, были Эраст и Кориск, последователи Сократа и ученики Платона. Оба они дружили с Гермием, властителем Атарнея (в Малой Азии, вблизи Скепсиса), любителем философии, и были близки к Аристотелю, женатому на племяннице Гермия. Это к Гермию, Эрасту и Кориску обратился с письмом старик Платон, увещевая всех троих держаться друг друга, ибо ни золото, ни кони, ни военная мощь не имеют большего значения, чем поддержка верных и мыслящих здраво друзей. При дворе Гермия часто гостил Ксенократ и бывали другие платоники. Но Гермий погиб в борьбе с персами, а его ближайший друг Аристотель по-

сле смерти своего знаменитого ученика Александра Македонского вынужден был бежать из Афин, где враги уже готовили ему судьбу Сократа.

Иные говорили, что известнейший автор сочинения о характерах человека — Феофраст, ученик не только Аристотеля, но и Платона. Феофраст после смерти Аристотеля передал его библиотеку своему ученику, сыну того Кориска, который был общим другом Платона и Аристотеля.

Известный философ Гераклид, родом из Гераклеи на Понте (Черное море), тоже вышел из стен Академии, но слушал не только Платона и Спевсиппа, а также Аристотеля. Однажды, когда Платон третий раз уезжал в Сицилию в 361—360 годах, Гераклид временно возглавлял школу. После смерти Спевсиппа при выборе схоларха Гераклиду пришлось уступить место Ксенократу, получившему на несколько голосов больше. Тогда он покинул Афины и уехал в родной город, где и открыл собственную школу.

Среди слушателей Платона были трое из числа десяти знаменитых аттических ораторов — Гиперид, Ликург и Демосфен. Все они отличались не только прекрасным знанием философии, но прославились как ораторы и государственные деятели. Им пришлось жить в тяжелое время македонского завоевания Греции, и все они участвовали в борьбе народной антимакедонской партии. Гиперид был казнен македонцами. Ликург за свои заслуги перед Афинами был погребен согражданами у той самой дороги, что вела из Афин в Академию. Демосфен — величайший оратор всех времен, был одним из последних защитников общегреческого дела. Спасаясь от преследующих его врагов, он вынужден был принять яд, чтобы не попасться им в руки живым.

К десяти знаменитым аттическим ораторам принадлежал также Исократ, старый друг Платона, слушатель Сократа и почитатель Академии. Исократ, свидетель безнадежной борьбы греков с македонцами, после битвы при Херонее (338 год до н. э.), когда греки навсегда потеряли свою свободу, кончил жизнь самоубийством.

Пусть не удивляет читателя, что некоторые из друзей и учеников Платона сами лишили себя жизни. Время, в которое они жили, было для Греции страшным. Со всех сторон она была окружена врагами. Тому, кто был воспитан Платоном в духе сократовского преданного служения родине и ее законам, ничего не оставалось сделать, как убить себя в безвыходности борьбы, которой отданы были все силы.

Совсем в духе преданий о мудрых женщинах-пифагорейках есть сведения о том, что Академию посещали Ласфения из Мантинеи и Аксиофея из Флиунта. Мантинея — родной город жрицы Диотимы, обучавшей Сократа диалектике красоты и любви в платоновском «Пире», Флиунт — город, где нашли приют изгнанные из городов Италии пифагорейцы. Возможно, что Ласфения и Аксиофея, которая ходила в мужском наряде, скрывая свой пол, — легенда. Но легенда эта создана не без умысла и своеобразной символики.

Во всяком случае, историк философии конца античности Диоген Лаэрций, перечисляя учеников Платона, добавляет, видимо, желая рассеять впечатление выдумки, что все это очень «похоже на правду».

Платон становился старше. У него складывался уже свой круг друзей, почитателей, учеников. Его пути и пути его сотоварищей по ученическим годам

у Сократа разошлись. У каждого из них была своя судьба.

Как мы уже знаем, Антисфен, Федон, Евклид, Эсхин из Сфетта, Аристипп — сами возглавили свои философские школы или учили, странствуя по городам Греции и за ее пределами. С некоторыми из давних товарищей отношения даже стали натянутыми. С Антисфеном после того, как Платон иронически отозвался об одном из его сочинений, они вели себя как чужие. Аристипп возмущал Платона зависимостью от сиракузского тирана и потаканием его прихотям. Эсхина Платон не одобрял за его добрую славу опять-таки при дворе Дионисия и даже перетянул Ксенократа, как говорят, единственного ученика Эсхина, к себе в Академию.

Судя по разным сведениям, часть людей завидовала Платону (а у кого из великих нет завистников), и отношения философа с другими учениками Сократа так никогда и не наладились. Никто из них не хотел иметь для себя иного наставника, тем более вышедшего из своей же среды. Каждый чувствовал себя вполне самостоятельным и сложившимся человеком. Поэтому, когда Платон после смерти Сократа, раздумывая о будущем, начал было утешать товарищей и, готовый сам возглавить школу, предложил поднять за это кубок с вином, экспансивный Аполлодор резко возразил. Он, который безутешно рыдал по Сократу, заявил в гневе, что скорее готов выпить яд, чем это вино.

А с Ксенофонтом у Платона давно началось соперничество на почве близости к Сократу. Правда, Ксенофонт еще до смерти Сократа уехал в Малую Азию, пустился там в опасную политическую авантюру при дворе персидского царя Артаксеркса и его младшего брата Кира. Но, вернувшись в Грецию,

он стал знаменитым писателем, автором увлекательных книг о Кире Старшем, о современных ему исторических событиях конца афинской демократии, полных драматизма. Философские увлечения юности послужили ему основой для сочинений, где безраздельно господствовал образ Сократа, мудрого наставника и образцового человека. Ксенофонт ревностно относился к памяти учителя и не мог стерпеть того, что Платон как бы присвоил себе приоритет главного арбитра во всех фактах, связанных с биографией их общего друга. Ксенофонт написал не только «Воспоминания о Сократе», но и сочинения, которым он с умыслом дал те же самые названия, что и Платон, — «Пир» и «Апология Сократа». Платоновское «Государство» и ксенофонтовское «Воспитание Кира» тоже написаны антагонистами. Недаром Платон в «Законах» счел выдумкой воспитание Кира по Ксенофонту. Соперничество здесь было налицо. И чрезвычайно примечательно, что Платон и Ксенофонт, оба, вспоминая о Сократе, нигде никогда не упоминают друг о друге.

Любопытен и такой факт. У Платона нигде нет никакого упоминания о философе Демокрите, который был ровесником Сократа и умер в 370 году, то есть когда Платон был в расцвете творческих сил. Демокрит, приехав из ионийской Греции, из Абдер, слушал в Афинах пифагорейца Филолая и самого Сократа, хорошо знал Анаксагора. Он написал более семидесяти сочинений и был «первым энциклопедическим умом среди греков», философом, математиком, физиком, теоретиком музыки и поэзии, физиологом, медиком. Демокрит первый учил о первичности материального бытия, состоящего из неизменных, неделимых частиц — атомов,

которые он примечательно называл «идеями». Демокрит в истории европейской философии — основатель материализма, в то время как Платон стоит у истоков идеализма. Может быть, принципиальная разница философских позиций была причиной того, что защитники противоположных убеждений стали настоящими антагонистами. Но, уважая идеи и личность друг друга, эти соперники никогда не опускались до взаимного порицания, насмешек или бранной критики. Они вежливо молчали, делая вид, что каждый из них является единственным глашатаем истины. Правда, мелкие завистники распространяли слухи о том, что Платон скупал сочинения Демокрита и сжигал их. Слухи достаточно смехотворные, чтобы быть правдоподобными. Ни одно великое учение нельзя уничтожить механически. Сам же Платон в своем «Пармениде» развил диалектику «одного» и «иного»: если есть «одно», то всегда есть и «иное». И это в высшей степени знаменательно.

Глава шестая

«ПРОСВЕЩЕННАЯ» ТИРАНИЯ ДИОНИСИЯ МЛАДШЕГО

Долгие годы Платон мирно занимался преподаванием в Академии. Но судьба готовила ему еще одно испытание и опять не без вмешательства его сиракузского друга Диона.

Шло время, Платону было уже шестьдесят, да и Дион, некогда восторженный юноша, превратился в умудренного политического деятеля, когда в Сицилии в 367 году произошло важное событие. Умер тиран Дионисий, и власть перешла к его сыну, то-

же Дионисию. Опорой сына, так же как и при отце, остался Дион, не жалевший ни денег, ни кораблей, ни стараний, чтобы устрашить Карфаген в его притязаниях на Сицилию. Однако враги Диона усмотрели здесь злой умысел, нашептывая Дионисию Младшему, что, обладая огромным флотом, Дион может лишить его власти и передать ее детям Аристомахи, то есть своим родным племянникам и младшим законным сыновьям покойного Дионисия Старшего. Кроме того, Дионисий-сын с детства был лишен общения с достойными людьми, так как отец опасался размягчающего влияния на будущего тирана. И теперь, став свободным от опеки и сознавая в руках огромную власть, он среди бесчисленных удовольствий, которыми прославился сиракузский двор, охотно выслушивал нашептывания и осторожно распространяемую клевету на тех людей, которые якобы готовы ограничить его власть. Дионисий Младший, как справедливо писал Плутарх, был не худшим из тиранов. Однако, по мнению Диона, главное зло проистекало из невежества этого молодого тирана. А каждый свободный человек по природе своей должен любить науки и книги, совершенствуя при их помощи ум и душу и находя удовольствие в познании добра и красоты. Все эти благие размышления Диону было очень непросто провести в жизнь. Тем более если учесть, что сам он был намного старше Дионисия и отличался замкнутостью характера, не чуждого гордости, необщительностью и даже неприветливостью. Эти недостатки в устах его завистников перерастали в настоящие пороки. И многие считали Диона высокомерным, самонадеянным, презиравшим обычных людей. Даже друзья Диона иной раз порицали его за излишнюю суровость нрава, а Платон предо-

стерегал его от самонадеянности, которая в конце концов может привести к одиночеству. Если мы вспомним, что Дион был другом пифагорейцев и сам был склонен к их аскетической жизни, то становятся вполне понятными и его замкнутость, и его требовательность к другим. Настойчивость Диона, жаждавшего просветить Дионисия, оказалась сильнее усилий его врагов. Он так методично увещевал своего родича, объединяя свои мысли с идеями самого Платона, что, наконец, Дионисия охватило жгучее желание увидеть Платона и услышать его речи. Дион ожидал этого момента и стал посылать письмо за письмом Платону в Академию.

По просьбе Диона с такими же письмами обратились к знаменитому философу италийские пифагорейцы. В письмах звучали трогательные слова об озабоченности судьбой молодой души, не выдерживающей бремени власти, и о благородной задаче спасти Дионисия от пагубных ошибок. За выражением всех этих прекрасных чувств скрывался еще политический расчет ограничить тиранию, подчинить ее аристократической партии, возглавляемой Дионом. Дион даже питал намерения в случае неудачи с ограничением власти Дионисия свергнуть его силой и вернуть Сиракузы к демократии. Сам он демократию не одобрял, но предпочитал ее тирании при невозможности достигнуть здравого аристократического правления.

Платон, который даже и не представлял себе всех сложностей тайной политики Диона и его друзей-пифагорейцев, был смущен надеждами, возлагающимися на его мудрость как философа. Благородно решив просветить тирана, он мечтал освободить от страшного недуга всю Сицилию — и принял предложение Диона.

Нам известно множество подробностей об этой второй поездке Платона в Сицилию. В письме, которое признано не вызывающим сомнения, Платон сам описывает поездку через много лет, пережив гибель Диона.

Платон, который выразил свои заветные мысли о создании идеального общества в сочинении «Государство», как будто бы неожиданно получал возможность воплотить в жизнь свои мечты. Дион и его друзья убедили Платона в том, что Дионисий искренне стремится к философии и образованию. И Платон поверил, что в Сиракузах философ и правитель окажется одним и тем же лицом. Однако смутные подозрения все-таки не оставляли Платона, и его страшила мысль об удивительной заманчивости предложения Диона, да и о чрезмерной молодости окружавших его друзей. Вместе с тем твердость духа и выдержка Диона были общеизвестны. И это решило дело. Платон отбросил колебания, задумав убедить Дионисия в необходимости создания нового законодательства и нового государственного строя. Кроме того, Платон не мог оставить Диона в одиночестве и предать свою дружбу к нему. Ни дальность пути, ни трудности плавания не должны были служить препятствием.

В Сиракузах целая партия приверженцев Диона возлагала надежду на талант Платона внушать молодым людям добро и справедливость, взаимную дружбу и чувства товарищества. Платону, как это было ни тяжело, пришлось оставить Академию, философские беседы и исследования, которые ему так нравились. Он очутился в чуждой ему обстановке, но зато, как ему казалось, он этим самым исполнил долг перед Зевсом-гостеприимцем и проявил безупречное отношение к обязанностям философа.

Платона встретили с небывалым почетом и дружелюбием. За ним Дионисий прислал роскошную царскую колесницу, и сам же принес жертву богам, благодаря их за великую удачу, выпавшую государству. Оказалось, что Дионисий держится мягко, пиршества его умеренные, убранство двора скромное. А придворные наперебой проявляли горячее рвение к наукам и философии. Все чертили с увлечением геометрические фигуры и доказывали теоремы на рассыпанном по дворцовым залам тончайшем песке. Дионисий на одном из старинных празднеств даже выразил свое внутреннее недовольство долговечностью и непоколебимостью тирании, считая ее каким-то проклятием.

Враги Диона зашевелились. Они были потрясены тем, что за такой короткий срок Платон добился столь разительного успеха. Не без ехидства говорили о том, что в былые времена сиракузяне разбили мощный афинский флот, а теперь один афинский философ сокрушает всю тиранию Дионисия. Платон же действительно добился невероятных успехов.

Ходили слухи, что Дионисия, увлеченного идеями просвещенной власти, Платон уговорил расстаться с личной охраной, в которой было без малого десять тысяч человек. Молодой правитель, передавали с возмущением, готов бросить 400 военных триер и десятитысячную конницу, променяв их на поиски высшего счастья в Академии и наслаждаясь геометрией.

Вот здесь-то и сказалась истинная тираническая природа Дионисия.

Недолго думая над клеветой, подзадоренный письмом Диона карфагенским властям не начинать мирные переговоры без его санкции, Дионисий вы-

зывает Диона будто бы для беседы. Правда, беседа происходит на берегу моря у подножия крепости. Но вместо обещанного Диону благосклонного прощения прежних обид Дионисий уличает его в измене и приказывает на жалкой лодке немедленно переправить его через пролив, высадив в Италии.

Не ожидавшие таких решительных событий друзья Диона погружаются в горе, город бурлит, ожидая, что падение Диона вызовет государственный переворот. Тогда Дионисий, боясь за свою судьбу, заверяет друзей Диона и женщин, что Дион только отправлен за границу, а не изгнан. Родичам Диона даже разрешено передать его вещи и рабов, погрузив их на корабли. Таким образом оказалось, что Дион получил не только свое богатство, но еще и подарки от жены и сестры Аристомахи, от верных друзей. Он перебрался из Италии в Грецию, поселился в Афинах, удивляя окружающих богатством и пышностью своей жизни. Так единственным результатом пребывания Платона в течение четырех месяцев в Сиракузах было изгнание Диона из Сицилии.

А что же Платон, виновник этого изгнания, подготовленного годами неприязни политических врагов Диона?

Платон, прямо можно сказать, только и ожидал смерти. Распространилась молва о том, что Дионисий приказал казнить Платона как виновного в заговоре. Но затем, опять-таки опасаясь за собственную жизнь, если что-нибудь случится со знаменитым философом, Дионисий стал притворно милостив, убеждал Платона успокоиться, остаться при его дворе. Эти просьбы, как и положено просьбам тирана, смешанные с принуждением, не предвещали добра. Тиран разыгрывал милостиво-

го правителя и хозяина, не желающего, чтобы гость покинул его двор. Платону тоже пришлось изображать наивного человека, хотя он насквозь видел лицемерие Дионисия. Поэтому Платон не мог противиться, когда, якобы от всего сердца, не желая отпускать знаменитого философа, Дионисий поместил его в крепости, чтобы никто не мог тайно его увезти. Любой купец и воин, кто увидел бы Платона, уходящего одного, без охраны, готов был бы схватить беглеца и вернуть Дионисию, ожидая милости, тем более что был специально пущен слух, будто Дионисий любит и необычайно уважает философа. На самом деле Дионисий всячески выражал свою привязанность к Платону, но делал это с одной целью — оторвать его от Диона. Ведь Платон мог так опасно повлиять на деятельного и опытного Диона, что тот мог ускорить, даже находясь вдалеке, падение тирана. Платону приходилось терпеливо переносить приступы пылкой дружбы Дионисия, ревности его к Диону и требования восхвалять только одного царственного ученика. Ссоры и примирения совсем замучили Платона. То Дионисий умолял о прощении, то выражал надежду посвятить жизнь философии, то, слушая клеветников, люто ненавидел Платона. К счастью, страшная дружба тирана была неожиданно прервана.

Началась война. Дионисию было уже не до философии. И он милостиво разрешил наконец Платону уехать. Дионисий даже просил прощения у Платона, обещая возвратить Диона к весне на родину, и в дальнейшем посылал тому в Афины доходы с имений; но в Сиракузы Диону путь был закрыт. Платон и Дион оказались обманутыми в своих надеждах посредством философии сделать из тирана благоразумного властителя.

Дион усердно занимался в Академии, куда его буквально приковали любовь к философии и дружба с Платоном. Он обосновался в Афинах, купив дом у некоего Каллиппа, который, по иронии судьбы, окажется через много лет одним из его убийц. Прекрасная усадьба за городом всегда была готова принять на отдых Диона и его друзей. Сицилийский изгнанник особенно сблизился с племянником Платона, Спевсиппом, благожелательным и остроумным человеком. Именно ему, возвращаясь в Сиракузы, подарил он свою усадьбу в знак дружбы.

Дионисий все еще не простил Диона, но доходы с имений высылал аккуратно. И когда Платону понадобилось к состязаниям готовить хор мальчиков, Дион принял на себя все расходы и даже выступил в качестве хорега, обучая хор и руководя им. Щедрость Диона, которой не препятствовал Платон, привлекала афинян к знатному образованному гостю, что было важно для дальнейших политических целей самого Диона. Не было ни одного торжества, на котором бы он не присутствовал, всегда выделяясь скромностью, воздержанностью, мужеством и познанием в науках. Государственные люди ценили общение с ним, и народ с восхищением получал от него подарки. Даже союзная Сиракузам Спарта сделала Диона своим полноправным гражданином, и он уже мог не считать себя бездомным скитальцем, целиком зависящим от прихоти тирана.

Однако зависть Дионисия не имела пределов. Слыша со всех сторон похвалы и восторги своему сопернику, он перестал высылать ему доходы. Какая же слава может долго продержаться без денег, резонно полагал Дионисий и терпеливо ожидал, когда наконец Дион будет просить о милости. Тем не менее тирану все же нельзя было утерять репута-

цию искателя философской истины. Молва о его по меньшей мере странном обхождении с Платоном уже стала достоянием многих городов. Философы были сильны, и тиран сознавал силу и славу мудрости, к которой прислушивались государства. Чтобы как-то загладить в глазах окружающих свои неблаговидные поступки и всюду сквозившее вероломство, Дионисий наполнил свой дворец людьми, которые слыли учеными и философами, задаривал их подарками, устраивал с ними диспуты. Здесь пригодились обрывки мыслей, некогда подхваченные им от Платона, потому что ему не хватало ни подлинной любви к философии, ни терпения в систематическом ее изучении. До Платона даже дошли слухи, что Дионисий умудрился кое-что записать из прежних бесед с ним и теперь, щеголяя своими познаниями в философии, выдавать идеи Платона за свои. Однако самолюбивый Дионисий в минуты трезвых размышлений видел, что толпы ученых искателей милостей вокруг него не стоят одного Платона. А стоило Дионисию только вспомнить этого непреклонного и независимого человека, как ему хотелось снова видеть философа у себя во дворце, беседовать с ним, пусть даже не понимая тайны его идей, и, что еще труднее, он готов был выслушивать упреки и назидания. Оказалось, что приезд Платона в Сиракузы был необходим и для Дионисия, и для Диона, рискующего стать вечным изгнанником, лишенным имущества, денег, а значит, как это чаще всего бывает, и политического влияния на родине.

И вот в 361 году, когда в Сицилии как раз наступил мир, Дион, как это ни могло бы показаться странным, еще раз — теперь уже в третий — стал просить старика Платона отправиться в Сиракузы.

Для самого Диона возвращение домой было пока отложено, и притом еще на год. Дионисий, негодуя на тесное общение Диона и Платона в стенах Академии и желая досадить сопернику, поставил свое прощение Диона в зависимость от согласия Платона на новый приезд в Сицилию. Дион в отчаяньи умолял Платона ехать, требовал отплытия, убеждая друга, что теперь-то Дионисий по-настоящему будет заниматься философией, Платон, уже глубокий старик, решительно отказал и Дионисию, и Диону.

Однако как раз в это время в Сицилию прибыл знаменитый и уже известный нам пифагореец Архит. В свое время Платон познакомил его с Дионисием и даже помог наладить последнему взаимоотношения с городом Тарентом, полномочным представителем которого был Архит. Самолюбивый Дионисий не мог вынести того, что великий философ сидит в своей тихой Академии и беседует с Дионом, а не украшает сиракузский двор. И вот летят просьбы и мольбы уже через Архита. Чтобы облегчить путь, за Платоном высылают триеру. Вместе с ней послан Архедем, ученик Архита. Одновременно Дионисий пишет Платону длинное письмо, в котором ничуть не скрывает, что все дела Диона будут немедленно устроены с приездом философа. В противном случае — Дионисий не ручался за свое отношение к Диону. Платон получил также письма и от Архита, от друзей из Тарента, связанных политическими интересами с Дионом. Все тащили Платона в Сицилию. А друзья из Афин прямо выталкивали его вон, требуя спасти Диона и не предавать тарентийских друзей. И вот старый философ, обманывая сам себя, замученный требованиями любящих его друзей и тайными угрозами тирана, державшего в

руках жизнь Диона, где бы тот ни находился, снова, в третий раз, собрался в путь.

Дионисий встретил Платона с великим почетом, несмотря на негодование Филиста, политика, историка и ловкого интригана, занявшего место Диона. Неслыханным знаком доверия были встречи тирана и философа наедине. Никто не смел обыскивать Платона, как это было принято из страха перед возможными заговорщиками. Дионисий пытался одаривать Платона деньгами, но тот не польстился на эти щедроты, что вызывало зависть тех, кто с радостью получал подачки от тирана.

Известный философ Аристипп из Кирены, провозглашавший наслаждение естественной потребностью человека, обиженно сказал: «Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия. Нам, которые просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, — много!» А ведь Аристипп в юности слушал Сократа, и Ксенофонт оставил нам образец любопытной беседы, в которой Сократ тонко и остроумно опровергал суждения Аристиппа, что, однако, ничуть не помешало этому последнему остаться на своих позициях и теоретически обосновать учение о наслаждениях, или гедонизм.

Именно не кто иной, как Аристипп, прекрасный знаток практической жизни, предрек скорое охлаждение Дионисия к Платону. Все началось с того, что астроном Геликон из Кизика, друг Платона, предсказал солнечное затмение. Дионисий, изумленный правильностью математических подсчетов Геликона, наградил его целым талантом серебра. И вот тут-то Аристипп, как всегда, смеясь объявил, что он тоже готов предсказать нечто для всех неожиданное. В ответ на упрашивания любопытных он остроумно ответил: «Предрекаю вам,

что в скором времени Платон и Дионисий станут врагами!» Аристипп за долгие годы странствий при дворах владетелей слишком хорошо изучил людей, чтобы допустить ошибку, разгадывая отношения тирана и философа. И действительно, стоило только Платону завести с Дионисием разговор о Дионе, как он увидел вероломство и лицемерие тирана. Разногласия, тщательно скрываемые Дионисием и уже давно замеченные Платоном, из осторожности ни словом, ни взглядом не выдававшим своего знания, теперь оказались на виду у всех.

События ускорились еще тем, что Дионисий запретил высылать Диону доходы с его имущества, якобы принадлежащего теперь сыну Диона. Более того, он вызвал Платона и потребовал от него и его афинских друзей поручительство за Диона, требуя, чтоб тот забрал все свое богатство в Афины, но пользовался только процентами с основного капитала, которым должны были распоряжаться Платон и его друзья. Дионисий настаивал на согласии Платона пробыть еще год в Сиракузах на предложенных условиях, как бы желая испытать Диона. Платон, замученный сомнениями и хитроумными расчетами тирана, овладевшего огромным, в 100 талантов, капиталом Диона, попросил отсрочки до следующего дня. Философ выше всего ценил верность слову и дружбу с Дионом. Опасаясь вероломства Дионисия, он, когда наступило утро, дал тирану свое согласие и просил одновременно отправить Диону письмо со всеми необходимыми условиями.

Предчувствие не обмануло Платона. Дионисий вдруг неожиданно объявил, что одну половину имущества он отдает сыну Диона, а другую продаст, передав вырученные деньги Платону. Не прошло и нескольких дней, как обстановка вновь измени-

лась, и Дионисий пустился распродавать все, что принадлежало его сопернику, нарушив свое слово.

Отныне Дионисий уже не таился от Платона, а, наоборот, придумывал всякие хитрости, чтобы его запугать. Платон же, в свою очередь, подобно птице, жаждущей улететь, поглядывал по сторонам и в глубине души призывал на помощь удобный случай.

Развязку этих тягостных отношений ускорило еще одно событие. На службе у Дионисия были тысячи наемных варваров. И вот он, нарушив обычаи, попытался посадить старейших наемников на более низкое жалованье. Солдаты ответили возмущением и осадили акрополь. Дионисий, до смерти испугавшись, пообещал им вернуть их исконные привилегии и свалил вину на Гераклида, командующего флотом, союзника и вместе с тем соперника Диона. Недолго думая, Гераклид исчез. Его друзья молили Дионисия разобраться во всем, не преследовать беглеца и даже просили о заступничестве Платона. Дионисий в присутствии Платона, прогуливаясь по саду, дал это обещание, но уже вечером следующего дня отказался от него, предписывая страже схватить беглеца. И когда Платон просил о помиловании Гераклида, Дионисий, взглянув на него как истинный тиран, сказал: «Тебе-то я и вовсе не обещал ничего». Философ настойчиво повторил, что Дионисий обещал друзьям Гераклида не причинять ему зла. Слова Платона остались без ответа, а беглеца бросились выслеживать усердные наемники, но он успел бежать в пределы карфагенских владений. Так заступничество за Гераклида привело к полному разрыву Платона с Дионисием.

Платона, мирно обитавшего в тихом уединении садов вблизи дворца, немедленно переселили

за пределы Акрополя, поближе к казармам наемных солдат. Наемники ненавидели Платона, который убеждал Дионисия отказаться от власти, распустить телохранителей и заняться философией. Ведь еще живы были слухи, как в свой предыдущий приезд Платон заставил Дионисия расстаться с тысячами солдат и сотнями триер. Наемникам нужны были деньги. Дионисий давал им постоянную работу, а к крови солдаты привыкли, и благородные идеи их ничуть не смущали. Участь Платона решалась здесь, в солдатских казармах, где никто никого не щадил. Платон, которому грозила смерть от руки наемников, тайно переслал в Тарент, к Архиту, письмо о своем отчаянном положении.

Архит, этот испытанный друг Платона, чувствуя свою вину (ведь он так настойчиво склонял Платона к поездке), на тридцативесельном корабле отправляет Дионисию под каким-то предлогом посольство во главе с Ламиском. Ламиск просит Дионисия отпустить Платона, напоминая, что Архит и тарентийцы в свое время поручились за его безопасность.

Дионисий, безудержный в гневе, но изощренный лицемер, более всего боялся дурной славы в мире просвещенных людей. Платона призвали во дворец, день за днем устраивались в его честь пиршества, его осыпали подарками.

Ни Дионисий, ни Платон как будто даже и не вспоминали о страшных днях под угрозой смерти. Первым не выдержал молчания Дионисий. Он заискивающе спросил: «Что же, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нарасскажешь о нас своим друзьям-философам?» Платон, тонко улыбнувшись, ответил, осмелев на прощанье: «Помилуй, навряд ли Академия способна ощутить такую нуж-

ду в темах для разговора, чтобы кто-нибудь стал вспоминать о тебе». Так закончилась третья поездка Платона в Сиракузы. Усталый, больной вернулся Платон в родную Академию.

Весть о прибытии Платона застала Диона в Олимпии, на общегреческих играх. Он, возмущенный, призвал в свидетели Зевса, готовясь отомстить Дионисию за попрание гостеприимства и за свое изгнание. Однако Платон не хотел быть союзником в беспощадной борьбе давних врагов. Отныне он стал уже уклоняться от всех честолюбивых планов, которые строили его друзья вместе с Дионом, хотя и был готов дать им благой совет, если бы они пожелали совершить нечто доброе. Но все готовы были причинить Дионисию величайшее зло. Даже племянник Платона Спевсипп, забыв свою философию, ударился в политику. Еще в Сиракузах он собирал для Диона сведения о настроении граждан. Дион, воодушевленный рассказами Спевсиппа, собирал вокруг себя государственных людей и философов. Однако все это были чужеземцы. Из тысячи соотечественников Диона, находившихся, как и он, в изгнании, к нему примкнули лишь двадцать пять человек. Все прочие устрашились и отступили.

Дион начал военные действия против Дионисия, и судьбе было угодно, чтобы Дион победил, а Дионисий ушел в изгнание и кончил жизнь, всеми забытый, где-то в Греции. Но хотя Дион еще в Академии научился искусству укрощать гнев, зависть и недоброжелательство и вел скромную жизнь во дворце, словно он разделял трапезу с Платоном в Академии, а не был полководцем и владыкой Сиракуз, — он был уже обречен. Диону было важно, как отнесется к нему Академия, что скажет Платон об его умении распорядиться своим счастьем, не на-

рушает ли он закона справедливости, находясь на вершине власти. Более того, он мечтал претворить в деле их совместные с Платоном мечты о демократии ограниченной, наподобие спартанского или критского строя, то есть объединить власть народа с царской властью. Это вызвало упорное противодействие в Сиракузах и привело в конце концов к заговору и убийству Диона.

Так страшно закончились мечтания философа и практическое их воплощение политиком. Они стоили жизни одному из них и привели к глубочайшему разочарованию в реальной политике другого. На горьком опыте своих взаимоотношений с тираном Платон научился многому. Он убедился в том, что не только беззаконие и нечестие, но, главное, дерзкое невежество плодит всевозможное зло, рождающее для тех, кто его создал, горький-прегорький плод.

С невежеством как злейшим пороком Платон боролся всю жизнь. Правда, Платон сознавал, что он во многих случаях способен лишь на слова и с трудом берется за дела, отрываясь от своих философских трудов. Но к чести Платона оказалось, что он может пересилить себя во имя высших целей, хотя возможности его невелики по сравнению с записными политиками. В трудные минуты мысль о друзьях всегда поддерживала его, и он готов был участвовать в их предприятиях, если это были дела добрые. «Скликайте на зло других», — говорил Платон. Ничто не может служить лучшим признаком достоинства или порочности человека, по мнению Платона, чем наличие у него или отсутствие верных людей. Любовь к своему отечеству Платон считал величайшим даром. Подобно Сократу, он считал, что если государство управляется нехорошо, то

его правителям надо советовать, увещевать их речами, даже если это грозит смертью. Избегать следует одного — насилия над родиной, то есть государственного переворота, если такие действия связаны с истреблением и изгнанием людей. «Уж лучше, — говорил Платон, — молиться о благе для самого себя и для государства».

Платон рассуждает здесь как философ-созерцатель. Но, несмотря на свою далекость от государственной практики, он ощущает великую притягательность мудрого философствования, к которому тянутся сильные и опытные в практических делах люди. Недаром он чувствовал в Дионисии его тайную честолюбивую страсть прослыть истинным философом и даже умудрился, будучи совсем беззащитным, влиять на него. А между тем, думал Платон, если бы философия действительно могла сочетаться с силой, то можно было бы доказать и эллинам, и варварам, что разум и справедливость существенны в управлении государством. Сила без разума рождает деспотизм. Любое же государство, и в том числе Сицилия, не должно находиться под властью деспотов, но управляться законами. Власть деспота развращает поработителей и порабощенных, их детей, внуков и правнуков. Только мелкие и несвободные души, по убеждению Платона, навязывают деспотию, гибельно действуя на себя и других. Поэтому борьба с деспотизмом — первейшая задача людей, даже если она грозит им смертью. Ведь пострадать, стремясь к прекрасному для себя и государства, прекрасно и достойно человека. Правда, Платон, как всегда, преувеличивал влияние этих добродетельных и разумных людей, устанавливающих общие для всех, правильные законы. Оказывается, достаточно на десять тысяч граждан

избрать всего лишь 50 мудрых старцев, как они составят законы, равные и общие для всего государства. Взявшие власть должны подчиняться законам даже с большей готовностью и непреложностью, чем те, кто подчиняется этой власти. И вот тогда-то все преисполнится, мечтает Платон, «благополучия и радости».

Попытку такого гармоничного общества Платон, по его словам, хотел осуществить, опираясь на Диона, в Сицилии. Однако некий рок, который сильнее людей, разметал планы неисправимого мечтателя.

Но Платон не унимается. Даже после гибели Диона он увещевает его друзей, чтобы они попытались выполнить неудавшееся когда-то намерение, уповая на покровительство божественной судьбы.

Разочарованный в исправлении и улучшении сиракузской тирании, на что было потрачено много лет жизни, Платон теперь ищет спасения в царской власти с ее старинными, даже патриархальными традициями. Философа ничуть не смущает, что в его время такой царской власти уже нигде не было. В его мечтах живет вечная идея древнего легендарного спартанского законодателя Ликурга, мужа мудрого и достойного. Это он, по преданию, ограничил царскую власть советом старейшин — геронтов и эфоров, наблюдавших за исполнением законов. Царская власть при этом не переродилась в тиранию, и закон стал владыкой над людьми, а не люди — тиранами над законами. Для Платона как подчинение, так и свобода, переступающая границы, есть величайшее зло, а в надлежащей мере это — великое благо. Для разумных людей закон — бог, для неразумных — удовольствие. Подотчетная царская власть, охраняемая тридцатью пятью стра-

жами законов, избранными народом, и советом мудрых старцев, — становится идеалом Платона, тем идеалом, который он попытается воплотить в своем последнем сочинении, в «Законах».

Размышления Платона о государстве, в котором все равны перед законом, а больше всего те, кто стоит у власти, так и остались в сфере добрых упований. На практике никто из современных законодателей не шел по пути Платона.

Известно, что Аристотель обладал в отличие от своего учителя большим чутьем и знанием реальной жизни. Поэтому его часто приглашали для составления законодательств в новые города, особенно когда выселялись колонии. Когда же аркадяне и фиванцы основали свою колонию Мегалополь, город, ставший большим и богатым, прославленный своим великолепным театром на 40 тысяч зрителей, они, по преданию, обратились за советом не к кому иному, как к Платону. Философ предложил им свой любимый образец государства. Но когда выяснилось, что на всеобщее равенство перед законом устроители нового города не согласны, Платон вынужден был с горечью отказаться от своего проекта. На компромиссы он не был готов, и добровольный отказ граждан от благодетельного ограничения крайностей свободы посредством добровольного служения закону поверг его в горестное изумление.

Глава седьмая

ПЛАТОН — ФИЛОСОФ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

Платону повезло как ни одному из античных философов, его предшественников и современников. Завистливое время уничтожило сочинения

Фалеса и Гераклита, Эмпедокла и Парменида, Демокрита и Анаксагора. Остались лишь одни фрагменты, а фрагмент означает осколок, кусочек чего-то разбитого. Ученым приходится по мельчайшим частицам собирать эти осколки, пытаясь воссоздать представление о чем-то целостном, законченном, построенном по своим логическим законам. Философы Древней Греции писали, если судить по античным свидетельствам, очень много. До нашего времени дошли списки наименований этих утерянных впоследствии сочинений. Читая их, поражаешься — какая же сокровищница мысли погибла и сколько усилий требовалось поколениям ученых, чтобы реконструировать, привести в некую систему, понять, перевести и прокомментировать фрагменты некогда прославленных трудов. Вот почему особенно приходится ценить полноту, с которой предстают перед нами наследие Платона или сочинения его ученика Аристотеля. Поскольку это были люди необычайной образованности и широты интересов, они пользовались всяким случаем, чтобы не только высказать свои мысли, но и сослаться на предшественников, обратиться к их авторитету или поспорить с ними, процитировать и внимательно проанализировать строку философа или поэта, призвать на помощь слово учителя или полузабытого писателя. Полнота сочинений Платона помогает восстановить сложную картину истории греческой философии, культуры и литературы, атмосферу идейных споров, рождение научной терминологии, новых художественных форм, отточенного языка классической прозы.

Наследие Платона тем более интересно, что его трудно квалифицировать как сугубо философское. Платон пока еще сочетает в себе черты истин-

ной поэзии и чистой художественности с глубиной и сложностью философской мысли. Платон — это философ и тонкий стилист одновременно. Он не переступил черты, за которую шагнул Аристотель, навсегда исключивший атмосферу эмоционального искусства из языка научно-философского сочинения. Тем-то и интересен для нас Платон, что профессиональный философ со всей сложностью его ученого инструментария мирно уживается в нем с увлекательным рассказчиком, вдохновленным поэзией вымысла.

Мы являемся обладателями двадцати трех подлинных диалогов Платона, одной речи под названием «Апология Сократа», 22 приписываемых Платону диалогов, 13 писем, многие из которых считаются подлинными. Еще в древности целый ряд диалогов исключили из сочинений Платона, хотя, по давней традиции, все эти сомнительные произведения все-таки всегда помещались в его полных собраниях.

Что касается хронологии написания диалогов, то точную датировку их зачастую трудно установить. Поэтому диалоги подразделены на приблизительно устанавливаемые периоды творчества Платона.

Так, ранний период начинают со смерти Сократа и заканчивают первой поездкой Платона в Сицилию, то есть с 399 года до 389—387 годов. Это время написания защитительной речи Сократа на суде, так называемой «Апологии Сократа», «Критона», «Протагора», 1-й книги «Государства», «Лахета», «Лисия», «Парменида».

Каждый диалог данного периода посвящен выяснению нравственных вопросов (что такое добродетель, благо, мужество, почитание законов, любовь к родине и т. д. и т. п.), как это любил делать в

своих беседах Сократ. Недаром Платон пишет постоянно в форме диалога. Это ведь есть не что иное, как воплощение в литературной форме знаменитых разговоров Сократа с постановкой вопросов, с поисками ответов, с попыткой дать определения отдельным нравственным понятиям, а затем собрать их воедино и сделать вывод о том общем, что их объединяет. Платон находится под обаянием личности Сократа, который встает перед нами живым, проницательным спорщиком и отныне не покидает диалогов Платона вплоть до самого последнего из них.

Трудно резко и определенно разграничить этапы творческой деятельности знаменитого философа. Здесь всегда есть какая-то неуловимость и недосказанность. Связующий характер ряда переходных моментов между намеченными границами здесь становится очевидным. Вот почему ряд диалогов, написанных Платоном в 380-е годы, так и называют переходными.

Среди них «Ион», «Гиппий больший», «Гиппий меньший», «Горгий», «Менон», «Кратил», «Евтидем», «Менексен». Здесь впервые Платон, устами Сократа, начинает излагать свои собственные мысли, выработанные в основанной им Академии, отклоняется от вопросов исключительно моральных, чисто сократовских. Так появляется образ платоновского Сократа. Этот новый Сократ есть результат философской самостоятельности Платона. Он все так же в центре беседы, ее главная пружина и направляющая рука. Но теперь он спорит с софистами, ополчается на отсутствие у них положительной истины и на их беспринципную риторику, противопоставляя им постепенно вырисовывающееся свое учение о постоянных и неизменных идеях сре-

ди изменчивости бытия. Платоновский Сократ защищает стабильность мира и опровергает Кратила, последователя Гераклита, с его представлением о всеобщей и бесконечной текучести. Здесь чувствуется также влияние пифагорейских друзей Платона с их доктриной о переселении душ и судьбе человека в царстве смерти. Рассудительность и моралистика ранних диалогов постепенно уступают место утверждению отвлеченных идей одновременно с их поэтическим и мифологическим одухотворением.

Чем дальше идет Платон по пути выработки самостоятельных научных позиций, тем своеобразнее становятся сущность и стиль его диалогов. В свой зрелый период творчества, то есть в 70—60-е годы IV века до н. э., когда ему пришлось совершить второе и третье путешествия в Сицилию в возрасте шестидесяти и семидесяти лет, Платон отличается исключительной четкостью и плодотворностью философской мысли и остротой художественного видения. Диалоги «Федон», «Пир», «Федр», «Теэтет», «Тимей», «Критий», «Парменид», «Софист», «Политик», «Филеб», «Государство» (II—X книги) — сгусток учения Платона об идеях как самостоятельно существующем высшем бытии, определяющем всю материальную действительность. Отсюда замечательное в диалогах этого периода соединение труднейшего абстрактного плетения конструктивно-логической мысли и конкретно-осязаемой красочности, доходящей до совершенства чисто художественного произведения, доступного и близкого каждому человеку.

Наконец престарелый Платон в 50-е годы IV века до н. э. пишет огромное произведение «Законы», в котором пытается представить не то идеальное общество, которое нашло отражение в его сочине-

нии «Государство», а государственное устройство, доступное, как он думает, реальному человеческому пониманию и реальным человеческим силам. Хотя «Законы» обычно носят наименование диалога, но это скорее внутреннее размышление Платона о чисто практическом воплощении высшей государственной идеи в сниженное и полное житейских забот человеческое существование. Здесь впервые среди действующих лиц отсутствует неизменный Сократ. Платон оставил «Законы» в черновом виде, и они были после его смерти переписаны набело одним из ближайших его учеников, Филиппом Опунтским. Так закончился последний период творчества Платона, но здесь же и началась новая жизнь его идей в грядущих тысячелетиях.

Платон является первым в Европе философом, заложившим основы объективного идеализма и разработавшим его в целостном виде. Он находится у истоков идеализма, тогда как имя Демокрита символизирует материализм.

В простейшем понимании идеализм основан на утверждении первичности идеи и вторичности материи. Материализм — это первичность материи и производность идеи. Но, читая Платона или Демокрита, мы погружаемся в очень конкретные, именно античные, философские системы, обусловленные особенностями древнегреческого общества периода классики и его мировоззрения.

Поэтому, прежде чем выяснить специфику платоновского идеализма, его завоеваний и его потерь, необходимо остановиться хотя бы кратко на том, что было самым главным в понимании древним греком окружающего мира.

И здесь мы сталкиваемся с поразительно интересной картиной. Оказывается, то, что мы называ-

ем античным мировоззрением, зарождается в период общинно-родовой формации, основанной на коллективном труде общины, состоящей из ближайших родственников, на коллективном распределении и потреблении продуктов труда. Наиболее понятным и близким для древнего человека являются здесь не отдельный человек сам по себе и не природа сама по себе, а общинно-родовые и семейные отношения, глядя на которые человек объясняет непонятный ему окружающий мир. Весь мир, в котором живет член древней общины, воспринимается им тоже как огромная родовая община, то есть мифологически. Отсюда и самым прекрасным для древнего грека являются боги, демонические существа и герои, которые, по глубокому убеждению древних, управляют всем космосом и космической родовой жизнью, притом главной первичной силой, порождающей божественный и человеческий мир, была Мать-земля, а боги имели тело, состоящее из тончайшей материи. Так уже с давних пор греки оказались стихийными материалистами, у которых даже божественные существа мыслились вполне телесно.

С переходом к новой рабовладельческой формации, когда классовое общество оказалось разделенным на свободных по природе людей и рабов, создателем всех материальных благ оказался именно родившийся в рабской зависимости человек. Организатором же его труда был свободный рабовладелец, но бездушный и безликий, ставивший своей целью максимально использовать физические возможности раба. При господстве таких бездушных, механически внеличностных отношений весь мир представлялся человеку как тело, как живой организм, но который, однако, направляет слепая

и страшная неведомая сила, называемая неотвратимой необходимостью, или судьбой. Значит, если для древнего грека с его родовой жизнью средоточием всего самого возвышенного и прекрасного были телесные боги, то есть мир мифологический, то для грека рабовладельческого государства-полиса классической эпохи самым прекрасным являлось живое космическое тело, звездное небо с его законами и пять материальных стихий — земля, огонь, вода, воздух, эфир с их круговоротом веществ. Как видим, и в этом случае стихийный материализм древних греков периода классики не вызывает сомнения.

Но здесь же, в толще материального мира, рождались силы, управляющие этой материей, однако сами нематериальные. Такой важный сдвиг во взглядах произошел в связи с постепенным развитием человеческой личности в недрах рабовладения и с интересом к духовной стороне человека. Так, у раннеклассических философов (VI—V века до н. э.) материальным космосом правит Логос — Слово (Гераклит) или Любовь и Вражда (Эмпедокл), а то Ум-Нус (Анаксагор) или атомы (Демокрит).

Философы средней классики (V век до н. э.) в лице софистов и Сократа выдвинули в космическом мире человеческое, так называемое антропологическое начало во всей сложности внутренней жизни человека.

Платон, философ так называемой высокой классики (конец V—IV век до н. э.), сделал еще один важный шаг вперед. Его мир — и не телесный космос, лишенный индивидуальности, и не отдельные материальные вещи, наполняющие Вселенную. Платон решил совместить общее и частное, космическое и человеческое, телесное и духовное. Пре-

красный, материальный космос, собравший множество единичностей в одно нераздельное целое, живет и дышит, весь наполнен бесконечными физическими силами, но зато он управляется законами, находящимися вне его, за его пределами. Это самые общие закономерности, по которым развивается и живет весь космос. Они составляют особый надкосмический мир и называются у Платона миром идей, вечным и неподвижным в своей высшей красоте. «Идея» по-гречески означает нечто видимое. Значит, платоновские идеи, в которых обобщена вся космическая жизнь, мыслятся не отвлеченно и абстрактно, а материально и телесно. Но увидеть их можно не физическим зрением, а умственным, мысленно (греки всегда считали, что глазами можно мыслить, и высоко ценили так называемую «теорию», что по-русски хорошо передается как «созерцание», или «умозрение»).

Но несмотря на телесное представление о мире «идей», Платон все-таки остается идеалистом, вернее, объективным идеалистом. Его идеи, управляющие Вселенной, первичны. Они определяют жизнь материального мира. Это — вечные образцы, парадигмы (греч. *paradeigma* — образец), модели, по которым строится вся множественность вещей, образованных из бесформенной, темной, текучей, бесконечной материи. Сама материя ничего не может породить. Она только «кормилица» или «восприемница», принимающая в свое лоно идущие от идей световые истечения, так называемые эманации. Сила пронизывающего, сияющего света, исходящая из идей, оживляет темную материальную массу, придает ей ту или иную видимую форму по образцу вечных и неизменно прекрасных форм недоступного для грубого человеческого чувства ми-

ра идей. Идеи прекрасны, так как они не живут во времени, которое разрушает материальные тела, старит их, делает безобразными. Мир идей находится вне времени, он не живет, а пребывает, покоится в вечности. И самая высшая идея идей — это абстрактное благо, тождественное абсолютной красоте. Это высшее благо и одновременно воплощение высшей красоты есть, по Платону, начало всех начал, отец, демиург, то есть буквально строитель и умелый мастер, конструирующий видимый небесный и человеческий земной мир по самым мудрым, вечным и прекрасным законам. Но видимый физический мир, однажды созданный великим мастером по своему образу и подобию, то есть в соответствии со своей собственной идеей, подвержен тлению, деформации и старению. Так давайте же, говорит Платон, созерцать в мыслях великолепный, добрый, прекрасный мир надкосмических идей. Давайте хоть умственно шаг за шагом представим ту лестницу внутреннего совершенствования человека, которая приведет нас к познанию высшей идеи. Давайте в каждой материальной вещи отыскивать отблеск идеальной красоты, ее самую сущность, ее главное начало, которое обусловливает и оправдывает бытие вещи, наличие вещи в доступном для человека мире. Материальное бытие для Платона есть отражение, конечно, достаточно искаженное, вечно прекрасных идей. Но это материальное бытие мы, люди, должны любить и ценить. В глубинах его заключена красота, и дело человека вызвать к жизни эту красоту. А когда человек сумеет почувствовать и понять, то есть «увидеть умом», прекрасную отдельную вещь, он познает, что такое прекрасное многих вещей. Проникнув в самую суть прекрасного материального тела, человек поймет и

его прекрасную идею, то есть прекрасную душу. И так, переходя от одного прекрасного к прекрасному множеству, постепенно можно подняться до самого общего понятия красоты, а значит, и самого общего понятия блага, которое воплощается в любви к миру прекрасных идей и прекрасных материальных тел.

Платоновский идеализм потому и называется объективным, что он признает существование вполне реального, независимого от сознания человека, то есть объективного идеального бытия.

Платон, несмотря на свой объективный идеализм, все-таки остается античным идеалистом, так как он выше всего ценит красоту живого материального космоса, явившегося как бы отпечатком вечной красоты абсолютной идеи. Платоновская идея — чисто античная, потому что она не может стать чистой абстракцией и вечно сияет для человека в живой осязаемой и видимой действительности. Только надо быть «любителем мудрости», то есть философом, искателем высшей истины, поэтом в душе, чтобы за внешней однообразностью жизни ощутить некую красоту, поверить в нее и вечно стремиться к этой прекрасной недосягаемости.

И когда великий Аристотель, ученик Платона, пришел к мысли, что идея присутствует в каждой материальной вещи, что идея слита с материей, находится внутри ее, а не в занебесных высях, он сделал решительный шаг. Аристотель свел идею на землю, которую так любили и почитали греки. Он вернул ее во всей ее полноте материальному миру. Этот мир лишился древних мифологических богов, но зато каждая частица материи обрела искони присущий только ей смысл своего существования. Материя и идея, или, как ее впоследствии называ-

ли по-латыни, форма, стали неотъемлемы и нераздельны, определяя собою друг друга.

Значит, философские поиски Платона оказались не так уж безнадежны. Он открыл идею как нечто общее, но последующие философы заставили это общее жить подлинной, а не отраженной жизнью в каждой отдельной конкретности мировой стихии.

Так со времен античности блуждали в поисках истины философы.

Глава восьмая

ЧТО ТАКОЕ ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА?

Того, что сказано выше о мировоззрении Платона, вполне достаточно для общего обзора его философской деятельности.

Однако это нам почти ничего не говорит о всемирно-исторической значимости платонизма и ровно ничего не говорит о причинах этой всемирно-исторической значимости. В самом деле, почему Платон был так необычайно популярен решительно во все века и античной, и всех последующих культур и почему философская мысль в течение тысячелетий неизменно возвращается к Платону с той или иной его интерпретацией? При этом самое важное — понимать, что такое «идея» у Платона, в чем заключается идеализм Платона и почему этот идеализм так часто играл положительную роль, несмотря на весьма многие и весьма значительные черты его вполне отрицательного влияния. Так что же такое идея и почему этот термин всегда был так важен вплоть до настоящего времени?

Всякая вещь отличается ли чем-нибудь от другой вещи или не отличается ничем? Если данная

вещь ничем не отличается от всякой другой вещи, то это значит, что мы не можем приписать ей ровно никакого свойства или качества, и тогда невозможно говорить о нашем познании этой вещи. Если мы знаем, что такое данная вещь, то, следовательно, она есть для нас нечто, а если нечто, то и нечто определенное, а если нечто определенное, то, значит, и совокупность тех или иных свойств. Стол есть нечто деревянное, это — раз. Стол есть приспособление для разного рода бытовых целей, для принятия пищи, для чтения и письма, для целесообразного помещения и размещения разных предметов. Это — два. Вот совокупность всех этих существенных свойств стола и есть его идея. Ясно, что если мы не понимаем устройства и назначения стола, то у нас нет и никакой идеи стола, то есть мы ровно ничем не можем отличать стол от стула, от дивана, от кровати, от стен комнаты, где находится стол, и т. д. Но мы вполне понимаем, что такое стол, каково устройство этого деревянного предмета и каково его назначение. Следовательно, если мы действительно познаем стол, то мы обладаем и идеей стола. Другими словами, идея вещи есть нечто существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы познавали эту вещь, общались с ней, пользовались ею, могли ее создавать, могли ее переделывать и могли ее направлять в тех или иных целях.

В этом смысле всякая вещь и вообще все, что существует на свете, имеет свою идею. Либо идей никаких нет, тогда вообще нельзя отличать одно от другого, и тогда вся действительность превращается в какой-то немыслимый и непознаваемый мрак. Можно согласиться, что Платон иной раз пишет весьма неясно, иной раз весьма трудно, а иной раз

даже и совсем неверно. Иной раз он придает идее вещи еще и совсем другое значение, и вовсе не только то, что это есть совокупность свойств вещи, что это есть ее смысл и что это есть способ и познания и самого существования вещей. Однако одно здесь, во всяком случае, требует от нас нашего абсолютного признания. Это то, что идея вещи есть указание на совокупность существенных свойств вещи, на их состав и построение, на их устроение, и на их назначение, и вообще на их смысл. Что к этому у Платона примешивается и многое другое — об этом мы скажем ниже. Но что идея вещи есть смысловая и существенная сторона вещи, указывающая нам на ее назначение, это, во всяком случае, должно быть понятно всякому, и это также у Платона в его учении об идеях играет первенствующую роль.

Если мы это себе усвоили, то мы можем пойти и дальше. Именно, всякий спросит: а какое же существует отношение между так понимаемой идеей вещи и самой вещью?

Стол можно покрасить, стол можно сделать большим или малым, стол можно украшать или ремонтировать, стол можно разломать на отдельные куски, а эти куски сжечь в огне и, следовательно, превратить весь стол в пепел. Но можно ли то же самое сделать с идеей стола? Можно ли идею стола сделать светлой или темной, красной или коричневой, тяжелой или легкой? Можно ли идею стола понюхать, и пощупать? Самый-то стол можно и понюхать, и пощупать. А вот идею стола тоже можно ли пощупать или понюхать? Можно ли идею стола разрубить на куски и превратить в пепел? Конечно, сама-то вода и замерзает, и кипит. А вот идея-то воды тоже может замерзать и кипеть или она не может ни замерзать, ни кипеть?

Из этого простейшего наблюдения за самыми обыкновенными, за самыми обыденными и бытовыми вещами, явлениями и процессами с полной ясностью вытекает, как это скажет всякий человек с нормальной психикой, окончательная невозможность приписывать идеям вещей те или иные вещественные свойства. Идея вещи ни о чем другом и не говорит, как о самой же вещи, но удивительным образом эта идея вещи, вскрывающая все ее существенные свойства и качества, сама-то вовсе не есть что-то вещественное, и ей бессмысленно приписывать что-нибудь вещественное.

Да это мы и сами хорошо знаем, хотя бы из наших элементарных сведений по арифметике. Вот перед нами таблица умножения. Ведь всякому ясно, что дважды два — это обязательно четыре, а не пять, а дважды три — это обязательно шесть, а не семь. Ясно и то, что, не будь таблицы умножения, мы не могли бы считать, а не умея считать, мы не понимали бы, чем единица отличается от двойки и двойка от тройки, и не зная всех этих элементарных отличий одного числа от другого, мы и вообще не могли бы воспринимать или мыслить что-нибудь. Но что удивительнее всего, это полная невозможность приписать таблице умножения какие-нибудь чувственно ощущаемые свойства. Что само яблоко имеет определенный вкус и цвет, это ясно. И что, желая умножить два яблока, например, путем увеличения в три раза, мы получаем шесть яблок, это тоже совершенно ясно. Но вот сама-то двойка и сама-то тройка имеют ли какой-нибудь цвет или не имеют никакого цвета, имеют какой-нибудь вкус или не имеют никакого вкуса? Два яблока я смогу пощупать и понюхать, и увеличивая их количество в три раза, я могу и эти шесть яблок понюхать

и потрогать руками. Но сама-то двойка пахнет чем-нибудь или не пахнет? И сама-то тройка имеет зеленый или красный цвет или не имеет никакого цвета? Ведь все время надо иметь в виду, что двойки и тройки относятся вовсе не только к таким вещам, которые можно понюхать и потрогать. Скрипичные струны, например, хотя и можно понюхать и пощупать, но когда мы слышим игру скрипача, то наши органы обоняния и осязания оказываются здесь ни при чем. Симфония ничем не пахнет, ее невозможно физически пощупать. А тем не менее физически она определенным образом нами ощущается, и в этом ощущении количественная сторона имеет огромное значение. Но по качеству своему здесь имеют место совсем другие чувственные ощущения, и вовсе не цвет или запах.

Итак, если мы раньше сказали, что идея вещи, будучи ее смыслом, совершенно необходима для ее существования и для нашего ее познания, то теперь мы должны сказать, и тоже с полной убежденностью, что идея вещи, вскрывая смысл вещи, то есть отвечая на вопрос «что такое эта вещь?», вовсе не сводится к материальной совокупности материальных свойств вещи, а есть нечто невещественное, нечто нематериальное, хотя указывает она только на что-нибудь материальное и только на что-нибудь вещественное.

Здесь, однако, возникает весьма существенная неясность. Как будто бы действительно это так: сама вода замерзает, а идея воды не замерзает. Но стоит только выставить этот тезис в более общей форме, как тотчас же возникает недоумение: каким же это образом идея вещи вдруг оказалась невещественной? Очевидно, здесь требуется какое-то весьма существенное разъяснение. Очевидно, здесь сам

собой возникает вопрос о взаимном соотношении идеи вещи и самой вещи с точки зрения их происхождения, с точки зрения того, что же тут и из чего происходит и как возникает. Отвечать на этот вопрос можно разными способами. И чтобы понять, какой способ характерен для Платона, надо вначале попробовать представить себе еще до Платона, какие именно возможны здесь способы соотношения идеи вещи и самой вещи. Тогда будет ясен и тот путь, по которому шел Платон в поисках разрешения этого вопроса. Формы соотношения идеи вещи и самой вещи, несмотря на их весьма пестрое разнообразие, в конце концов сводятся к двум основным. Скажем о них несколько слов.

Одни мыслители рассуждают так. Да, говорят, вещи существуют, и их идеи тоже существуют. Это ясно. Но, спрашивается, что же является из этих двух областей первичным и необходимым? Ну, конечно, говорят, на первом плане выступают для нас вещи, то есть сама действительность, сама материя. Материю можно понимать по-разному, не только физически. Материю можно понимать и психически, и общественно, и исторически, и просто как логическую категорию. Но как бы вы ни понимали материю, говорят эти мыслители, все равно без материи, без действительности, без вещей совершенно не может существовать и никаких идей. Если вещи существуют, то существуют и их идеи. А если никаких вещей не существует, говорят эти мыслители, то, конечно, нет и никаких идей. Значит, вещи и вообще материя есть нечто первичное, а идея вещи есть нечто вторичное. Здесь можно выражаться и более конкретно.

Очевидно, говорят нам, идеи есть отражение вещей, порождение вещей, результат соотношения

вещей. Это не значит, утверждают такие мыслители, что никаких идей не существует или что они обязательно по своей природе тоже вещественны. Ведь отражение реальных вещей тоже вполне реально, тоже существует фактически. И, говорят, это отражение вещей совершенно своеобразно и, в частности, вовсе не вещественно. Можно признавать какие угодно невещественные идеи. Важно только то одно, что они суть порождение вещей и их отражение. Если признать, что в основе всех идей лежат вещи, то можно сколько угодно изучать и развивать эти идеи уже без обращения на каждом шагу к самим вещам. Нужно только признать, что таблица умножения возникла из наблюдения над вещами, а раз мы это признаем, то мы уже без всякого труда и без всякого опасения впасть в ошибку можем строить нашу таблицу умножения без всякого внимания к реально существующим вещам.

Французский астроном Леверье вначале совершенно не видел в телескоп никакого Нептуна. Он только хотел объяснить разные, требуемые законами механики, явления в Солнечной системе и для этого предположил существование особой планеты. И когда он вычислил время и место появления этой предполагаемой планеты, она как раз и появилась в этом месте и в это время, так что ее можно было вполне наблюдать и физически, при помощи телескопа. Итак, говорят эти мыслители, идея, в случае Леверье, есть не что иное, как математическое вычисление, вполне осязательное, вполне независимое, вполне своеобразное, и обладает своей собственной числовой логикой. Но ни Леверье, ни каждый из нас никаких идей, числовых или нечисловых, не мог бы себе и представить, если бы предварительно не существовали сами вещи и если бы

предварительно мы не почерпнули эти идеи из реального восприятия вещей, из чувственного и вполне элементарного их наблюдения.

Итак, вот первый ответ на вопрос об объективном соотношении идеи вещи и самой вещи: вещи и вообще материя первичны, а идеи вещей, являясь отражением, порождением и воспроизведением вещей, вторичны.

Учение о таком примате вещей над идеями вещей называется в философии материализмом. Некоторые называют это вообще реализмом. Но, конечно, сущность дела от этой терминологии не меняется.

Теперь посмотрим, что говорят другие мыслители. Они рассуждают так. Хорошо, материя первична. Но вы знаете, что такое материя? Материалисты говорят: да, знаем. Это есть принцип вообще объективного существования вещей вне и независимо от нашего сознания, несмотря на то, что объективные вещи сколько угодно могут нами познаваться, могут быть предметом наших ощущений и вообще так или иначе входить в наше сознание и в наше мышление. На это говорят: так, значит, ваша материя есть нечто или, может быть, ничто? Но сказать, что материя есть ничто, никакой материалист уже не может. Значит, как бы ни определять материю, она, во всяком случае, и для материалиста, и для всякого здравомыслящего есть нечто, то есть является носителем тех или иных существенных свойств, качеств, признаков, отношений. Она определяется, во всяком случае, при помощи известной совокупности известных признаков. Но ведь совокупность известных свойств или признаков, как мы видели выше, это и есть идея. Но тогда, если материя действительно есть нечто, если она действительно по-

знается, то уже по одному этому она содержит в себе также и свою собственную идею. Поэтому, говорят, бессмысленно противопоставлять идею и материю, да еще требовать понимать эту идею как отражение материи. Ведь уже сама материя не существует без идеи материи. Уже сама материя пронизана своей собственной идеей. Поэтому идея, во всяком случае, настолько же первична, как и материя. А иначе материя превращается в глухую и слепую бездну непознаваемого, о которой ничего нельзя ни сказать, ни помыслить.

Такого рода философия, которая не признает примата материи над идеей, но признает идеи во всяком случае чем-то неотделимым от материи, если не прямо предшествующим ей, называется идеализмом. Если материализм является учением о примате материи над идеей, так что здесь идея есть только отражение материи, то идеалисты учат, наоборот, о примате идеи над материей, поскольку без осмысления того, что такое материя, то есть без признания в ней также и идеальных начал, невозможно ни существование материи, ни наше ее познание.

Это — дилемма всегдашняя и, можно сказать, неискоренимая. Все хотят быть либо материалистами, либо идеалистами. Правда, необходимо признать, что материализм и идеализм являются только предельными и логически выдержанными до конца философскими позициями. Поскольку является весьма трудным делом проводить неукоснительно и бесповоротно одну из этих позиций, то фактически в истории человеческой мысли эти точки зрения выступали в смешанном и даже весьма запутанном виде. Одни мыслители только еще тяготели к материализму и были не в силах проводить его до кон-

ца. Другие мыслители только еще тяготели к идеализму и тоже были не в силах проводить свою точку зрения до конца. Вот теперь возникает вопрос: какую же позицию занимает сам Платон? Ответить на этот вопрос не так просто. И большинство ответов на этот вопрос часто страдают и неполнотой, и во многом даже прямой ошибочностью.

Прежде всего для всякого непредубежденного читателя Платона ясным и бесповоротным является наличие у Платона именно идеалистического мировоззрения, то есть наличие у него во всяком случае примата идеи над материей. Больше того, Платон является даже общепризнанным основателем мирового идеализма. Он впервые дал идеалистическое обоснование примата идеи над материей. И в этом смысле он, можно сказать, и был, и остается главой и учителем всех идеалистов, которые только существовали. Но мало и этого.

Если мы станем заниматься вопросом, как возникали новые проблемы в философии, то мы удивимся, с каким энтузиазмом и восторгом, а иной раз даже с каким фанатизмом ставится новая проблема и с какой настойчивостью, а часто даже с каким упорством дается новое решение той или иной проблемы, как новой, так иной раз даже и старой. Например, сейчас уже всякий школьник знает, какая разница между мышлением и ощущением. Но в свое время, а именно в Древней Греции и именно в школе элеатов у Парменида, Ксенофана и других, это открытие различия между мышлением и ощущением вызвало неистовый восторг, изображалось в целых мифологических картинах и даже воспевалось в стихах. А все дело и заключалось только в том, что вместо мифологии, в которой не было различия между мышлением и ощущением, у древних

греков возникло совершенно новое сознание, которое как раз уже отделяло мышление от ощущения, что, конечно, уже было разрушением древней, дорефлективной, вполне наивной и буквальной мифологии. Это вызвало безумный восторг. А сейчас у нас это вовсе не проблема. А если это и проблема, то только для научной философии, в которой вообще все самое обыкновенное и даже все обывательское обязательно является проблемой.

Приведем другой пример. Ну кто же сейчас не знает арифметики и не знает, что такое число, что такое величина, как можно и нужно считать и вообще какие возможны операции над числами и величинами? Однако в Древней Греции вовсе не было такого скучного и прозаического отношения к числу и к числовым отношениям. В свое время это тоже было величайшим открытием. Люди изумлялись, что числа действуют строго и определенно, что без них нельзя обойтись не только в науке, но и в самой простой, обывательской жизни и что без чисел и величин невозможно даже и само познание вещей. Уж если я сказал, что правая рука отличается у меня от левой руки, то значит, без единицы и без двойки я не мог обойтись даже в таком простом предмете, как отличие одной моей руки от другой. И когда была открыта подобная всеобщая значимость числа, то эти числа стали восхвалять, стали превозносить и даже обожествлять. Появились мыслители, которые прямо стали говорить, что числа — это боги, а боги — это в первую очередь суть числа. Конечно, на первом плане была единица, и ей воздавались божеские почести. На втором плане была двоица, без которой невозможно было выйти за пределы единицы. Обожествлялись тройка, четверка, семерка, десятка. Да и вообще восхва-

лялись и обожествлялись все числа, какие только существуют. В Древней Греции были целые трактаты с изображением божественных и мифологических свойств чисел первого десятка. Сейчас начинающий школьник знает, что два да один — это три, а три да один — это четыре и что сумма первых четырех чисел составляет десятку. Но у древних греков мы находим такое объяснение этих элементарных операций счета, которое нужно прямо назвать и мифологическим, и религиозным, и сказочным, и философским, причем философия эта была очень глубокая, очень трудная и мало доступная широкой публике. Но эта мистика чисел со времени открытия ее пифагорейцами в VI веке до н. э. так и оставалась в течение более чем целого тысячелетия, до самых последних десятилетий всей античной философии.

Вот теперь мы и спросим себя: неужели открытие разницы между идеей вещи и самой вещью могло остаться в Греции чем-то прозаическим, чем-то обывательски-деловыми чем-то безразлично-житейским? После приведенных сейчас примеров мы уже заранее должны сказать, что открытие разницы между идеей вещи и самой вещью должно было быть в Древней Греции каким-то небывалым торжеством науки, каким-то поэтическим и мифологическим восторгом, каким-то сказочным и мистическим умилением.

Поэтому не нужно удивляться тому, что Платон восторгается перед существованием идей, всячески восхваляет их бытие и доходит даже до прямого их обожествления. У Платона мы находим не только примат идеи над материей, но все эти идеи образуют у него свой собственный мир со своими собственными законами и с их всемогущей и вездесу-

щей значимостью. У Платона дело доходит до того, что мир идей иной раз трактуется у него как нечто вечно существующее в небесах и даже за пределами неба, как нечто божественное, если не прямо в качестве самих же богов, как то, что изливает свою мощь на весь мир и решительно на все, что находится в мире. И такое положение дел у Платона как раз и вызывало всегда то или иное эмоциональное отношение.

Одни восхваляли Платона за то, что он, исходя из наличия в мире тех или иных видов красоты, истины или добра, постарался отвести этим высоким предметам подобающее место в космосе, что он не разменял возвышенных человеческих идеалов на мелочи и пустяки, а собрал все это вместе и стал трактовать как особого рода идеальный мир. Это, всегда говорили очень многие, является безусловным основанием и оправданием для всех мелких и частичных проявлений общечеловеческого идеала. И это, говорили поклонники Платона, есть принцип и опора для всех лучших и высших стремлений человеческой души.

Другие, наоборот, будучи настроены трезво, практически и земным образом корыстно, отвергали платоновский мир идей, всячески его критиковали, даже ненавидели и представляли в ничтожном, антинаучном, антифилософском и противоестественном виде. Как же нужно поступать нам в этой большой, если не великой проблеме: что мы находим существенного у Платона?

Прежде всего мы бы считали необходимым отделить эмоциональную сторону разрешения этой проблемы от научной, и притом научно-исторической. Можно предоставить каждому читателю как право им восторгаться, так и право его осуждать. Ведь

самое важное у Платона, как мы уже разъясняли выше, это — открытие самого факта существования идей, необходимости их для познания вещей и их невещественный характер, который нам хорошо известен и без Платона, хотя бы все из той же приводимой у нас выше таблицы умножения. Идея в этом смысле слова является не только открытием Платона, но без нее невозможна никакая философия, никакая наука и никакое вообще человеческое познание, даже самое обыденное, даже самое элементарное. Вот этим Платон как раз и велик, и это навсегда обеспечило для него огромную роль в истории последующей культуры. Можно сколько угодно присоединять к этому наши восторги или наши возмущения, наши проклятия. От этого всемирно-историческая роль платонизма не пострадает ни на волос.

Здесь весьма важно отметить то колоссальной значимости обстоятельство, что Платон хотя и привлекался как безусловный авторитет в разных последующих культурах, в разные эпохи у множества различных мыслителей, но он привлекался всегда для обоснования отнюдь не платоновского мировоззрения и отнюдь не для оправдания или защиты давно уже ушедших в историю идеалов античного мира. Так, Платон привлекался в Средние века для обоснования христианской, иудейской или магометанской религии. Однако все эти религии относились безусловно отрицательно к античной религии как к язычеству, и Платон здесь везде использовался постольку, поскольку это нужно было для монотеизма, а отнюдь не для языческого политеизма.

Платон имел огромное значение и для всей новой и новейшей философии. Но и Кант, и Гегель, и Шеллинг, и вообще все представители нового и но-

вейшего идеализма тоже брали из Платона то вполне очевидное и никакими средствами не устранимое достояние платонизма, которое сводилось к тому, что вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит, и вообще невещественна. Поэтому и мы в настоящее время должны хвалить не Платона в целом — в этом смысле он уже давно ушел в историю, — но Платона как такового: философа, который впервые попытался дать обоснование для точной науки, для построения теории морали, для понимания искусства, для понимания общественной и политической науки. Сама-то наука у нас совсем другая, и само-то искусство у нас тоже совсем другое; и наша общественность и политика, можно сказать, не имеют ничего общего с платоновскими воззрениями. Однако, повторяем, то основное, что открыто Платоном под именем идеи, не зависит от того, признаем ли мы небесные и занебесные идеи или не признаем, а сводим их только на роль реально-познавательных и позитивно-человеческих принципов познания. И этот принципиальный платонизм должен всякий признать, верит ли он в загробный мир или не верит, признает ли он бессмертие души или не признает и является ли он поклонником Платона или античного идеализма в целом или таковым не является.

Между прочим, мы должны указать также и на то, что и эти мировоззренческие стороны учения Платона об идеях тоже не всегда можно считать устаревшими или чересчур наивными. Если я встречаю своего знакомого и он начинает мне доказывать, что нужно опираться только на чувственно данные факты, что наше поведение преследует только конкретные, физические или общественные цели и что

поэтому он ни в каком платонизме не нуждается, то я его в этих случаях спрашиваю: «Так что же, значит, вы проповедуете полную безыдейность? И вы хотите, чтобы у нас была голая практика, лишенная всякой теории и всяких высших идей?» Тут мой собеседник из элементарного позитивиста вдруг оказывается самым принципиальным платоником. «Как, — говорит он, — вы думаете, что у меня нет никаких идей, вы думаете, что я веду себя безыдейно, вы хотите свести меня на какого-то беспринципного эгоиста и вульгарного материалиста? Нет, нет, как же я буду строить свою работу, если у меня не будет никакого плана этой работы, если у меня не будет никакого принципиального подхода к этой работе, если я не буду преследовать в ней ровно никакой идеи, ровно никакой цели, ровно никакого смысла, нет, нет. Наша практика вполне идейна, и без принципиальных идей мы не сможем построить ровно ничего разумного и целесообразного, ровно ничего ведущего нас к осуществлению наших идеалов». После этого читатель пусть судит сам, исчез ли из нашего современного сознания всякий платонизм до конца или не исчез.

В смысле своего научного обоснования, в смысле своего постоянного стремления оформить хаос жизни в виде тех или иных формально-безупречных структур, в этом смысле всякий материализм всегда будет помнить учение Платона о том, что цельная идея хотя только и состоит из своих частей, но на них не сводится, что цельная идея есть уже новое качество в сравнении со своими отдельными частями, так что целое в одно и то же время и состоит из своих частей и вовсе из них не состоит. Как учат нас химики, вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но ведь водород еще не

есть вода, и кислород еще не есть вода. Откуда же вдруг взялась вода? А вот это и значит, что вода хотя и состоит только из водорода и кислорода и ни из чего другого, тем не менее она, взятая как целое, вовсе не сводится ни на водород, ни на кислород, ни на их комбинацию. Но ведь это же и значит, что вода, будучи насквозь вещественной, обязательно обладает такой идеей, которая уже невещественна и которая, хотя и состоит из водорода и кислорода, тем не менее обладает более общим содержанием.

Воду мы употребляем в пищу, в воде мы моемся, водой поливаем растения, воду проводим в трубах, которые так и называем водопроводом. Вода образует собою источники, ручьи, реки, пруды и озера, моря и океаны. Благодаря воде существует неисчислимое количество живых существ. Вода изливается в виде дождя, испаряется в виде пара, переходящего потом в облака и тучи. Словом, употребивши термин «вода», мы бесконечно далеко ушли и от всякого водорода, и от всякого кислорода. Термин «вода» — а это значит прежде всего и идея воды — является настолько большим обобщением, охватывает такое неисчислимое количество, также и несет с собой такие бесконечно разнообразные функции, о которых никакой химик нам не расскажет в тех главах своего учебника, которые трактуют только о водороде или только о кислороде. Да, ничего не поделаешь. Чтобы употреблять только самый термин «вода», уже приходится быть платоником, хотя по своему научному содержанию современная химия не имеет ничего общего с античным платонизмом. В заключение нашего анализа платоновского учения об идеях мы все же должны сказать, что Платон, будучи глубочайшим образом настроен идеалистически, лично сам в своих произведениях

постоянно покидал позицию той научной теории познания, которую мы сейчас обрисовали и которая остается неувядаемым достоянием для всех последующих времен.

Сам Платон, вопреки своим попыткам построить научную теорию познания, то и дело бросается в это безбрежное море своего ничем не ограниченного идеализма. Вот, например, он начинает строить отвлеченнейшие и труднейшие теории идеи в отрыве от всякого их и научного, и вообще реально-жизненного назначения. Во второй части его диалога «Парменид» дается такая тонкая и такая изолированная эквилибристика учения об идеях, что сам Платон забывает о ней в своем диалоге «Тимей», где как раз он создает свою теорию космоса и где как раз мы бы и ожидали конкретного применения теорий, развиваемых в «Пармениде». Но «Тимей» Платона построен так, что в нем невозможно найти никакого намека на философию, которая проповедуется в «Пармениде». Впадая в этот восторг перед миром идей, он действительно часто доходил до учения о полной изолированности мира идей по отношению к миру вещей.

Знаменитый ученик Платона Аристотель, вообще говоря, совершенно прав, когда упрекает Платона в проповеди этих абсолютно изолированных идей. Аргументация Аристотеля очень проста. Он спрашивает: может ли быть идея или сущность вещи отдельна от самой вещи и не будет ли больше соответствовать действительности, если мы эти идеи-сущности вещей поместим в недра самих же вещей? И действительно, если базироваться на тех местах из сочинения Платона, где проводится такое изолированное понимание идей, то сам собой возникает вопрос: для чего же нужны такие идеи ве-

щей, которые находятся вне самих вещей и которые сами являются какими-то сверхчувственными вещами, не влияя на самые вещи, никак не осмысливая их и никак не служа целям человеческого познания вещей?

Далее, проводя свою теорию идей, Платон доходит до того, что рассматривает идеи прямо как некоего рода мифы и посвящает этим идеям-мифам много вдохновенных страниц. Ниже мы приведем примеры этого идейно-мифологического творчества Платона. Но опять-таки мы не должны поддаваться соблазну превратить всю философию Платона в какую-то сплошную мифологию.

Во-первых, эта мифология у него всегда логически продумана и далека от всякой наивной веры в какие-нибудь народные сказки. А во-вторых, если уж говорить о народных сказках, то Платон самым резким образом критиковал эти исконные и наивные сказки и мифы, находя в них множество всяких безнравственных образов и всяких вредных тенденций, унизительных и для богов, и для людей. Даже сами боги рисуются у него отнюдь не в их народном и сказочном виде, часто действительно противоречащем всякой морали, но в виде логически продуманных и научно обоснованных идей. Поэтому и в мифологии Платона надо еще уметь разбираться и надо уметь отличать в них прогрессивную и отсталую формы.

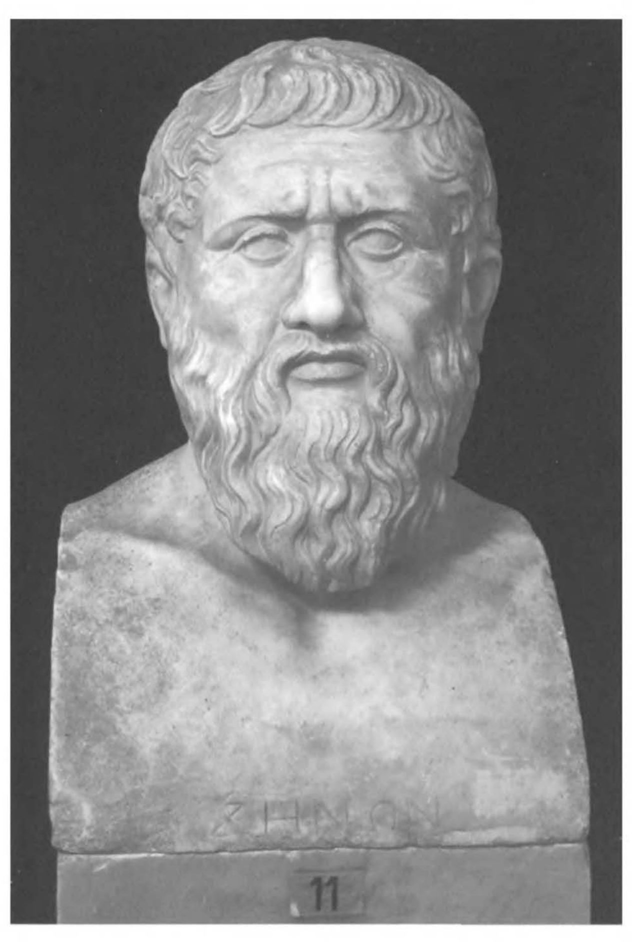
В настоящее время наше познание природы и общества основывается на открытии точных законов, которые и должны объяснить для нас все существующее. Но ведь Платон действовал не в XXI или XX веке, а действовал почти две с половиной тысячи лет назад. В те времена искание законов природы и общества только еще начиналось, а на-

хождение этих законов было весьма редким, весьма элементарным и достаточно наивным. Поэтому для объяснения явлений природы часто пускались в ход древние образы богов или демонов, которые тоже ведь по-своему объясняли все существующее в условиях почти полного отсутствия таких законов природы и общества. Платон и здесь замечателен тем, что для объяснения природы и общества он привлекает не просто богов или демонов, но богов и демонов, продуманных логически и потому превращенных уже в идеи. Ясно поэтому, что идеи Платона — это есть в наивной форме данные законы природы и общества. Это есть принцип всего происходящего. То, что это ясно, споров ни у кого не вызывает. Однако то, что всякая такая платоновская идея призвана быть законом и принципом всего происходящего, это обстоятельство не только бесконечно важно, но оно свидетельствует о глубочайшем перевороте в человеческой мысли, в которой Платон занимает вполне передовую и, без преувеличения можно сказать, революционную позицию. Это была уже не просто мифология. Это была критика мифологии. И это оказалось небывалой попыткой установить те или иные, но обязательно точные и безусловные законы природы и общества. Идея вещи, если эта идея разработана научно, есть закон вещи, закон ее существования, закон ее всевозможных становлений и изменений. В этом законе еще нет перечисления всех тех свойств, качеств и функций соответственной вещи. Но закон существования и движения вещи есть нечто гораздо более ценное и важное, чем просто неподвижное перечисление отдельных свойств или проявлений вещи. Это то же самое, если бы мы сказали, что идея вещи есть ее правильно построенная общность. Если мы

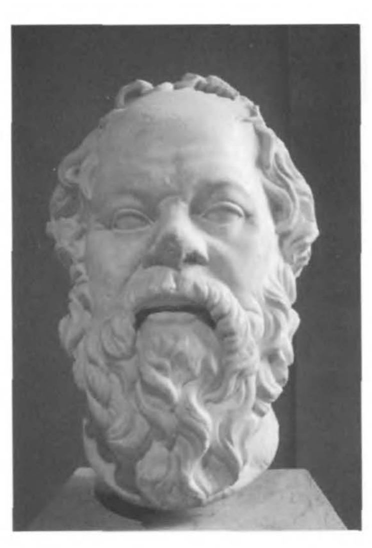
в научном смысле действительно правильно установили, что вода есть соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода, то будет очень плохо, если мы это химическое понятие воды будем допускать только в мертвом и неподвижном виде как застывшую и ни к чему не применимую химическую формулу. Эта химическая формула, наоборот, заряжена бесконечным множеством всяких свойств и проявлений воды, из которых мы выше немногие перечислили. Платоновская идея вещи есть такое ее обобщение, что в ней как бы заложено все бесконечное множество отдельных и частичных проявлений вещи.

При этом, если общая идея есть закон для всех подчиненных ей единичных вещей и без этой связи с вещами остается чем-то мертвым, неподвижным и бессмысленным, то, с другой стороны, по Платону, и все единичное обязательно понимается только в связи с тем общим, с той общей идеей, представителем которой является данное единичное явление вещи. Ведь и действительно, если вода, которую мы пьем, есть именно вода, то и вода, в которой мы полощем белье, тоже есть вода. В ручье и реке — тоже вода, дождь падает на землю тоже в виде капель воды. И стоит только представить себе, что вода во всех этих случаях не есть именно вода, то есть стоит только отказать нашей идее воды в обобщенности, как тотчас же пропадает не только идея воды, но и сама вода, и не только сама вода, но и все ее частичные и единичные свойства, проявления и состояния. Итак, платоновская идея есть закон вещи и тем самым та ее общность, которая определяет собою и все единичное, а единичное при этом только и осмысляется через свою общность.

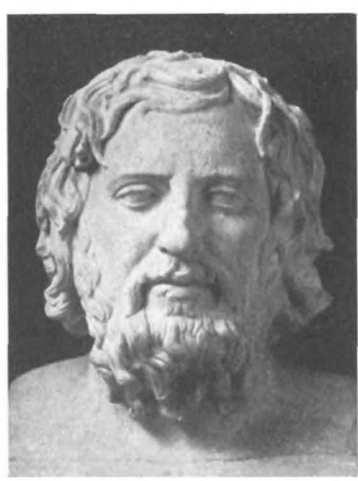
Здесь Платон совершенно неуязвим, хотя, по-



Платон. *Ватикан. Музей Пия Климента*
(бюст первоначально атрибутирован как портрет Зенона)



Сократ. *Римская копия I в. с оригинала работы Лисиппа IV в. до н. э. Париж. Лувр*

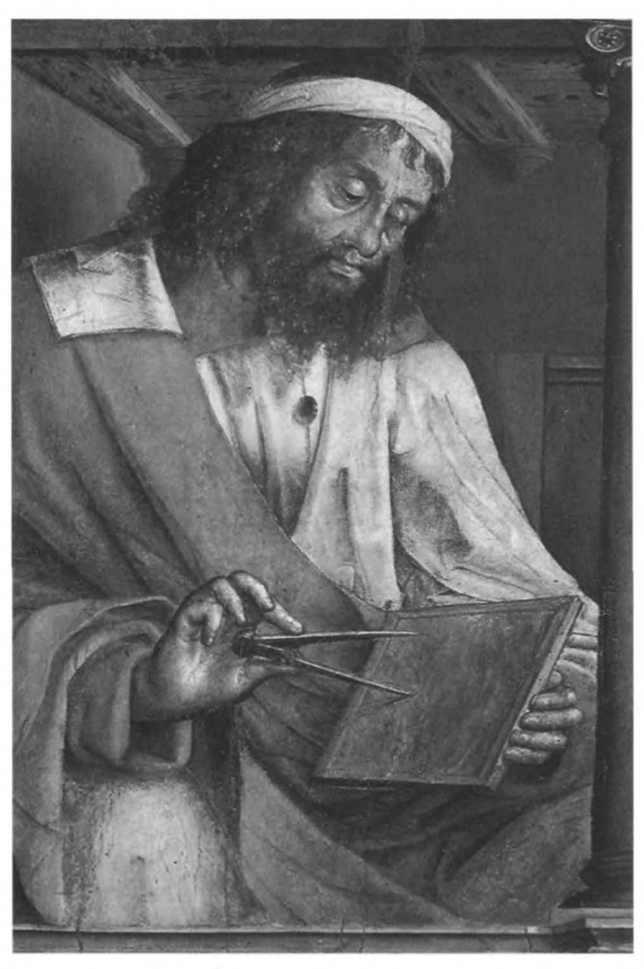


Ксенофонт. *Берлин. Музей декоративно-прикладного искусства*



Смерть Сократа. *Художник Ж. Л. Давид. 1787 г. Нью-Йорк. Метрополитен-музей*

Критон, закрывающий глаза Сократа. ***Фрагмент барельефа А. Кановы «Смерть Сократа». Конец XVIII в. Италия. Поссаньо. Гипсотека Кановиана***

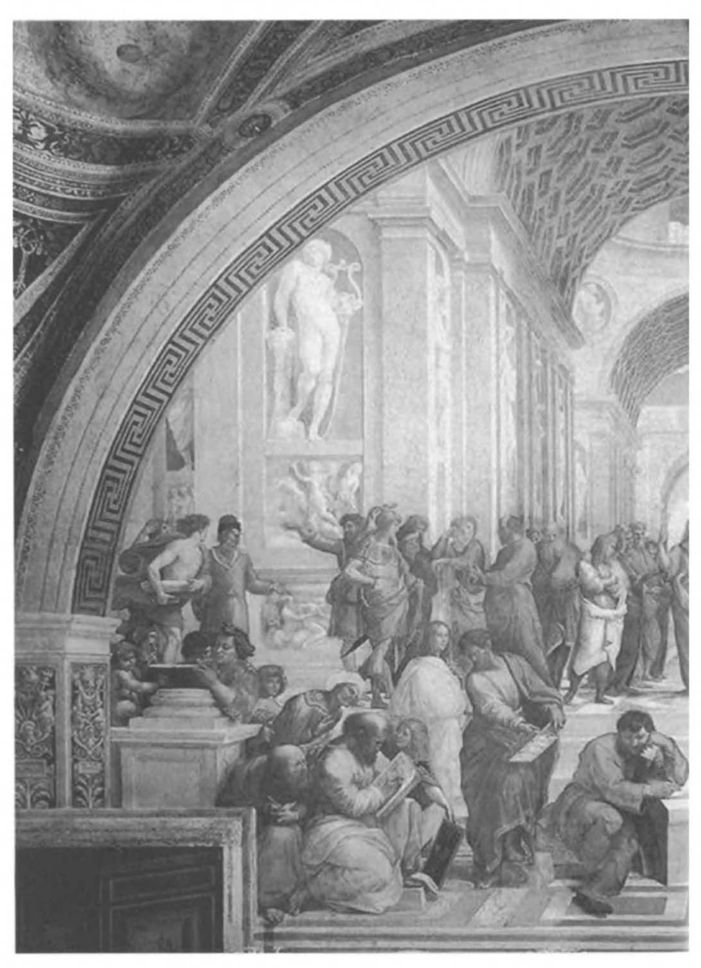


Евклид. *Художник Й. ван Гент. Около 1474 г. Урбино. Национальная галерея Марке*

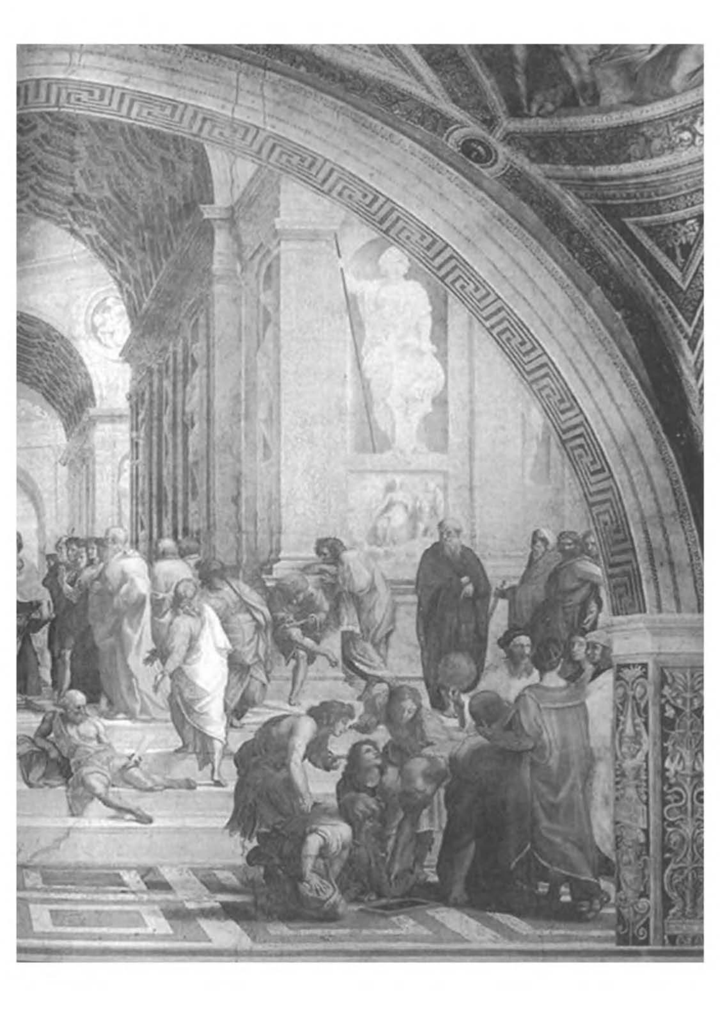


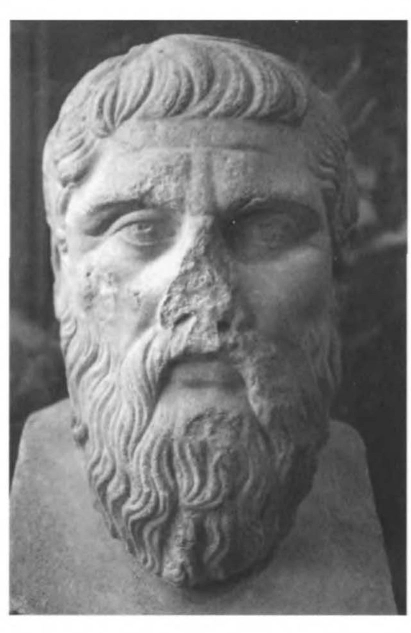
Декадрахма начала правления Дионисия Старшего.
405—400 гг. до н. э.

Греческий театр в Сиракузе.
V в. до н. э. Современное фото



Афинская школа. *Художник Рафаэль. 1511 г. Ватикан. Апостольский дворец*





Платон. *Копия II в. с оригинала работы Лисиппа IV в. до н. э. Париж. Лувр*

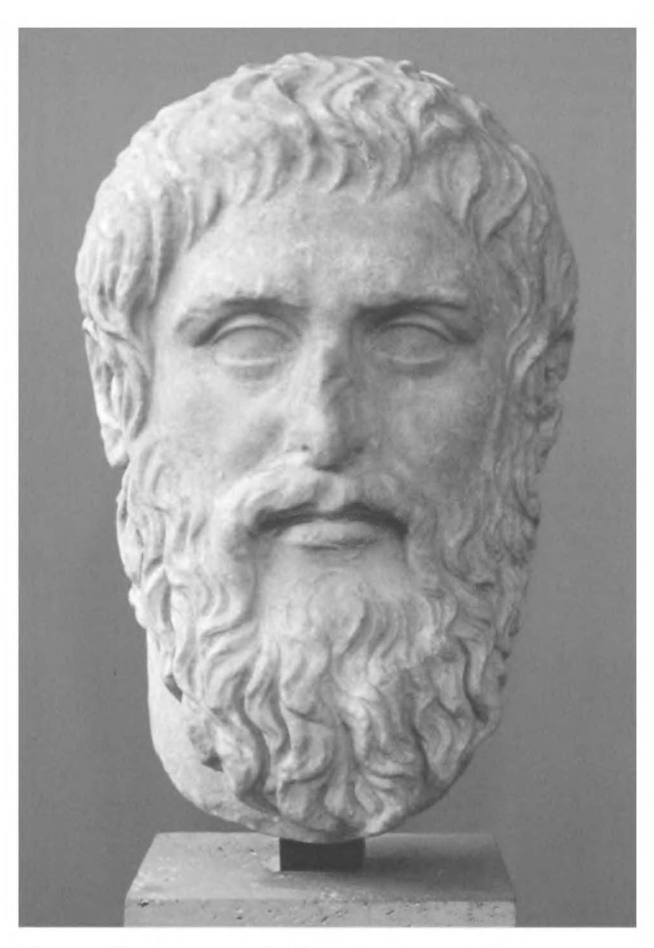
Школа Платона. *Фрагмент. Художник Ж. Дельвиль. 1898 г. Париж. Музей Орсе*



Аристотель.
Римская копия I—II вв. с оригинала работы Лисиппа IV в. до н. э. Париж. Лувр

Остатки строений Академии Платона.
Афины. Археологический парк





Платон. *Римская копия I—II вв. с оригинала работы Силаниона 370 г. до н. э. Рим. Капитолийские музеи*

Платон.
Художник Й. ван Гент.
Около 1474 г. Париж. Лувр



Первая страница диалога
Платона «Тимей» —
параллельный текст
на греческом
и латинском языках.
Издание Г. Стефануса.
Париж. 1578 г.

17

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΤΙΜΑΙΟΥ
πρόσωπα,

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΤΙΜΑΙΟΣ, ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ.

Εἷς, δύο, τρεῖς· ὁ δὲ δὴ τέταρτος ἡμῖν, ὦ φίλε Τίμαιε, ποῦ, τῶν χθὲς μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δ' ἑστιατόρων; ΤΙΜ. Ἀσθένειά τις αὐτῷ συνέπεσεν, ὦ Σώκρατες· οὐ γὰρ ἂν ἑκὼν τῆσδε ἀπελείπετο τῆς ξυνουσίας. ΣΩΚΡ. Οὐκοῦν σὸν τῶνδέ τε ἔργον, καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ἀπόντος ἀναπληροῦν μέρος. ΤΙ. Πάνυ μὲν οὖν· καὶ κατὰ δύναμίν γε οὐ-

A

DIALOGI
TIMAEI
personæ,

SOCRATES, CRITIAS, TIMAEVS, HERMOCRATES.

Vnus, duo, tres: quartus verò ille, mi Timæe, qui heri conuiuarum vnus erat, nunc conuiuatorum esse debuerat, vbinam est? TIM. Aduersa quædam illi accidit valetudo, Socrates, non enim volens & dedita opera ab hoc conuentu abesset. SOC. Tuum itaque & horum fuerit munus, quam illius absentis partes explere. TIM. Omnino. nec hac quidem in re, quantum in nobis erit, quicquam faciemus reliqui, non e-



Платон. *Художник Х. Де Рибера. 1637 г. Лос-Анджелес. Музей искусств*

Платон и Диоген. *Художник М. Прети. 1649 г. Рим. Капитолийские музеи*



Платон и Аристотель, или Философия. *Скульптор Л. делла Роббиа. 1437—1439 гг. Флоренция. Музей кафедрального собора.* Платон изображен справа

Афинские философы. *Фреска Э. Лебидцкого (по эскизам К. Раля). Фрагмент. Около 1888 г. Афины. Национальный университет.* Слева направо: Аспасия, Платон, Антисфен, Анаксагор



Платон. *Художник П. Веронезе. 1560-е гг. Венеция. Библиотека Святого Марка*

вторяем еще раз, наша современная мысль по своему содержанию и по своему мировоззрению не имеет ничего общего с античным платонизмом. Значение платонизма для всех времен было научно-методологическим, потому что научная методология Платона неопровержима. Что же касается тех бесконечно разнообразных мировоззрений, которые использовали для своего обоснования платоновскую научную методологию, то в этих мировоззрениях Платон совершенно неповинен, и эти мировоззрения тоже не отвечают за всю мифологию Платона в целом.

В этом смысле, кроме того, что Платон понимает свою идею как закон и как общее, делается понятным также и то, что Платон мыслит свою идею вещи еще и как ее предельное обобщение. Здесь мы находим только другой оттенок все того же учения об общей идее, которое мы сейчас изложили по Платону. Но здесь можно выразиться и проще.

А именно, можем ли мы говорить о единице, если дальше не мыслится перехода к двойке? И можем ли мы говорить о двойке, если нет никакой возможности перейти от нее к тройке? Ясно, что единица требует признания двойки, а двойка требует признания тройки. Но до каких же пор мы будем перечислять эти числа, до какой границы, до какого предела? Всякому ясно, что никакого такого предела установить совершенно невозможно. Возьмем ли мы миллион, или биллион, или триллион, везде в этих случаях можно прибавить еще хотя бы единицу. Следовательно, если для числового ряда нет предела, то ясно, что этот предел есть попросту бесконечность. Хотим мы этого или не хотим, а бесконечность все-таки существует, и платоновская идея как раз и есть эта бесконечность, то есть бесконеч-

ный предел для всех отдельных вещей, подпадающих под эту идею.

Скажут: а зачем нужна нам ваша бесконечность, если практически мы ею совершенно не пользуемся, и все наши реальные арифметические операции ограничиваются только конечными числами и вполне конечными величинами? Это возражение по адресу Платона никуда не годится. Даже если мы и не будем говорить о бесконечно большом числе, то достаточно взять расстояние между двумя рядом стоящими и вполне конечными числами на числовой оси. Возьмите, например, расстояние между единицей и двойкой и начните делить это расстояние на какие-нибудь более мелкие части. И получится, что, сколько бы мы ни производили делений и какие бы мелкие дроби здесь ни получались, мы совершенно никогда не дойдем до единицы. Точно так же и единицу мы можем дробить как угодно далеко, и мы никогда не дойдем до нуля. Другими словами, между каждой парой двух соседних и вполне конечных чисел натурального ряда залегает целая бесконечность дробных величин, и исчерпать эту бесконечность невозможно. Можно только перепрыгнуть от одного числа к другому и совершить числовой скачок, не обращая никакого внимания на проходимый при этом нами путь. Конечно, двойку мы можем разделить на два и получить единицу, но это будет скачок от двойки к единице, а не прохождение всего того реального пути, который ведет от двойки к единице или от единицы к двойке. Другими словами, по Платону, бесконечность содержится в каждой отдельной вещи, так же как в единице содержится бесконечное количество дробей, отделяющее ее и от нуля, и от двойки. Следовательно, всякая точно установленная идея ве-

щи есть не только ее закон, и притом максимально обобщенный, но и ее предел, тоже максимально большой, то есть предел, бесконечный для всех конечных состояний и проявлений всякой единичной вещи, носящей на себе эту идею.

Может быть, яснее это видно на геометрических фигурах или телах. Те круги и шары, с которыми мы имеем дело в нашей повседневной практике, никогда не отличаются абсолютной точностью. Окружность деревянного или железного круга может иметь на себе разного рода углубления, зазубрины, искривления. И если бы мы всерьез стали принимать во внимание все эти реальные и практически ощущаемые нами неправильности в построении окружности бесконечно разнообразных кругов, то ясно, что мы не смогли бы ни в каком случае построить научную геометрию круга. Только отвлекаясь от всех этих фактических неправильностей наблюдаемых нами реальных кругов и только начиная видеть, что в основе всех этих вещественно неправильных кругов лежит одно и только одно идеальное представление о круге, или, так сказать, платоновская идея круга, мы можем приступить к построению геометрии как точной науки. Даже можно сказать больше. Мы и реальные-то неправильно построенные круги и шары только и можем мыслить и воспринимать при условии наличия в нашей мысли и в самой действительности именно этого идеального круга. Можно упрекать Платона в том, что реальные шары он видит на земле, а идеальные и точно геометрические шары — только на небе. Дело тут не в земле и не в небе. А дело в том, что все конечное требует признания бесконечности, все реальное требует признания идеального, и все единичное управляется общим как своим за-

коном, а всякий общий закон имеет смысл только тогда, когда существуют единичные вещи, которые он обобщает и осмысливает. Здесь — обычная картина платонизма. Мировоззрение можно иметь не платоническое и даже антиплатоническое, но научная методология, выдвигаемая Платоном, неопровержима.

Наконец, и в своей общественной философии Платон проводил свое учение об идеях с такой же верой в человеческий разум, с таким же упованием на всемогущую силу идеального мира и с наивной убежденностью, что достаточно только правильно созерцать идеи, как уже вся общественная жизнь тоже станет идеальной. Поэтому во главе проектированного им идеального государства стоят не кто иные, как именно философы, которые созерцают свои вечные идеи и на основании этого созерцания управляют всем государством. С теперешней точки зрения это представляется нам чем-то чересчур консервативным, чересчур непередовым и даже реакционным. Однако у Платона это была пока еще только наивность веры во всемогущество максимально общих, то есть предельно обобщающих идей-законов. И в своем субъективном построении Платон чувствовал себя здесь самым передовым философом, а свою проповедь этой неподвижной идеальной общественности считал только естественным результатом разумного господства идеи.

Таким образом, подводя итог учению Платона об идеях, необходимо сказать, что его необычайная логическая заостренность была вся насквозь пропитана слишком наивной верой во всемогущество человеческого разума, умеющего правильно воспроизводить на земле все вечные красоты этих всемогущих идей на небе. Только с пониманием этой

противоречивости античного философского гения мы впервые становимся на путь правильного анализа учения Платона об идеях и по его существу, и в его исторической значимости.

Сейчас мы можем кратко резюмировать всю философию Платона вместе с формулировкой того, что еще и до сих пор является в платонизме неопровержимым и полностью достоверным, а также и того, что для настоящего времени является далеко ушедшим в прошлое и что, вообще говоря, признается только весьма немногими.

1. Идея вещи есть смысл вещи. Для того чтобы различать вещи и не оставлять их мало познаваемыми или совсем непознаваемыми во всеобщем хаосе действительности, мы должны стремиться относительно каждой вещи ответить на вопрос: что такое данная вещь и чем она отличается от всех прочих вещей? Идея вещи как раз и является ответом на вопрос, что такое данная вещь, и потому идея вещи в первую очередь есть смысл вещи.

2. Идея вещи есть такая цельность всех отдельных частей и проявлений вещи, которая уже не делится на отдельные части данной вещи и представляет собою в сравнении с ними уже новое качество. Одна сторона треугольника не есть весь треугольник. Так же и другая, так же третья сторона. Тем не менее из-за определенного объединения этих трех отрезков получается нечто новое, новое качество, а именно треугольник. Рука, взятая сама по себе, не есть весь организм (иначе в ампутированном виде она все еще продолжала бы быть цельным живым

существом). И то же самое нужно сказать и о ноге, и о сердце, и о легких, и о глазах. Тем не менее соединение всех этих отдельных частей организма создает нечто целое, что не содержится в каждой такой отдельной части, а именно создает организм. Даже две первые буквы имени «Сократ» не могут пониматься отдельно одна от другой. Если мы, произнося «о», уже забыли, что перед этим было «с», то есть если «со» не будет пониматься нами как нечто цельное и нераздельное, то у нас не получится ни имени «Сократ», ни вообще какого-нибудь слова. Мы не будем в состоянии ни говорить, ни понимать друг друга. Итак, идея вещи есть цельность всех составляющих ее частей, не делимая на эти части.

3. Идея вещи есть та общность составляющих ее особенностей и единичностей, которая является законом для возникновения и получения этих единичных проявлений вещи. То, что идея вещи есть общий закон, осмысливающий появление и проявление отдельных ее единичных особенностей, видно на любых вещах, и чем вещь сложнее, тем более видна ее общая идейная закономерность. Уже простой механизм, как, например, часовой механизм, свидетельствует о том, что составляющие его колесики или винтики расположены согласно некоторой общей идее, без внедрения которой эти колесики и винтики остались бы вполне чуждыми друг другу и никакого часового механизма не образовали бы. Всякое химическое соединение тоже образовано по определенному общему закону, как, например, соляная кислота возникает по общему закону, согласно которому в нечто целое объединяются один атом водорода и один атом хлора. Точно так же сказавши

«Иван есть человек», мы отдельного Ивана рассмотрели в свете человека вообще, а человека вообще рассмотрели как закон, осмысляющий существование и каждого отдельного человека. Идея — есть закон.

4. *Идея вещи невещественна.* Это ясно из того, что сама вода может замерзать и кипеть, а идея воды не может ни замерзать, ни кипеть. Сама вода может быть твердым и жидким телом, а также может испаряться. Но идея воды не есть ни твердое, ни жидкое, ни газообразное тело и вообще не есть тело.

5. *Идея вещи обладает своим собственным и вполне самостоятельным существованием, она тоже есть особого рода идеальная вещь, или субстанция, которая в своем полном и совершенном виде существует только на небе или выше неба.* С этой точки зрения Платон проповедовал три разновидности бытия. Во-первых, это небесные или занебесные идеи, вечные и неподвижные, предельное совершенство всякой отдельной вещи и всего бытия в целом. Во-вторых, это есть наш земной мир, полный всякой неустойчивости, несовершенства, хаотического движения туда и сюда, постоянной мучительной борьбы за существование и хаоса рождений и смертей. И в-третьих, это есть космос в целом, который мы созерцаем в виде небесного свода и который состоит из вечного и неуклонного круговращения и постоянного периодического возвращения небесного свода к одной и той же устойчивой картине, так что все небесное круговращение есть наилучшее осуществление высших идей и потому наи-

более совершенная красота, то есть необходимый предмет постоянного нашего созерцания и постоянного нашего подражания. Что же касается общественно-политической жизни, то тут Платон вопреки своему учению о вечном возвращении, то есть о вечном движении, не признавал вообще даже никакого движения вперед, а всю общественно-политическую жизнь проповедовал в виде неподвижного осуществления мира идей, в той же мере неподвижного, как и самые идеи.

Учитывая эти основные пять пунктов платонизма, мы должны с полной достоверностью констатировать, что только последний, пятый пункт не выдержал критики времени и в настоящее время проповедуется только незначительным меньшинством мыслителей. Что же касается первых четырех пунктов, то после Платона они остались в философии навсегда, если только эта философия хотела быть до конца реалистической и до конца передовой. Учение о двух мирах еще может быть снято учением о материи как о принципе самодвижения, не нуждающемся ни в каких других надматериальных принципах и двигателях. Но учение об идее как о принципе осмысления вещей, как об их общей целостности, являющейся законом их отдельных проявлений, это осталось в науке навсегда, и от этого всемирно-исторического платонизма никакая философия не может и не должна отказаться. Всеобщую закономерность вещей, конечно, можно не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой всеобщей закономерности вещей наука отказаться не может. Законы природы и общества тоже можно не называть идеями природы и общества, но от самих этих законов отказаться невозможно; законы природы и общества, которые формулирут-

ся количественно, хотя они и относятся к природе и обществу, сами по себе не есть природа и общество. Все тела падают. Но закон падения тел никуда не падает и вообще не является никаким телом, которое можно было бы понюхать или потрогать руками. Здесь платонизм неопровержим. Таким образом, со времен Платона резко изменилось само содержание нашей науки и нашей философии. Но логическая и методологическая структура науки и философии, открытая Платоном, останется в культурном человечестве навсегда.

Глава девятая

ДИАЛОГИ ПЛАТОНА – ДРАМА МЫСЛИ

Что же представляют собой диалоги Платона в художественном плане?

Нам уже известно, что Платон в юные годы обладал незаурядным талантом поэта, драматурга, живописца. Изящные эпиграммы, которые связывают с именем юного Платона, до сих пор производят впечатление чистейших жемчужин поэзии. И даже тот страстный порыв, который толкнул Платона навстречу Сократу и перечеркнул его увлечение искусством, говорит нам о глубоко восторженном и творческом начале в характере Платона. Здесь сказались присущая Платону эмоциональность и чуткое ощущение жизненной стихии. Отказываясь от разных областей искусства и их профессиональной разработки, Платон не перестал быть поэтом и художником, который, однако, воспринимал бытие, обогащенное нелегким опытом жизни, уже не в безмятежных, а в остро драматических тонах.

Отсюда, из этого драматизма жизненных ситуа-

ций, рождается форма платоновского диалога, для того чтобы укрепиться и развиться в дальнейшей истории философии и литературы, не только античности, но и нового времени.

И действительно, поразительная вещь: Платон совершает целый переворот в манере философского изложения. Древнегреческая философия доплатоновского времени или, как ее еще называют, досократовская, излагала свои идеи в форме часто загадочно-афористического мудрого поучения, в стихах или прозе. Сам предмет размышления философов VI—V веков до н. э. был ограничен природой и свойствами пяти элементов, ее составляющих, — земли, воды, огня, воздуха и эфира. Безликая, таинственная и безграничная материя дышала, жила, растекалась, пылала огнем, вбирая в себя человека как мельчайшую частицу великой матери-природы. Здесь не пробуждались ум и страсти человека, этой пылинки вечного круговорота, ибо она не жила самостоятельной жизнью и как бы приросла к материнскому лону природы. Нужен был гений Гераклита, чтобы проникнуть в страшные катастрофы жизни и смерти Вселенной, в ее бесчисленные рождения и умирания, где уже начал устанавливать свои надприродные закономерности огненный логос, слово, мерно вспыхивающее и затухающее, и где неумолимые богини-мстительницы Эринии уже наводили твердый порядок, не давая солнцу сойти со своего пути, если бы оно захотело это сделать. В огненном логосе, как он ни был надчеловечен, было преддверие какой-то неисчерпаемой человеческой силы, ибо логос — это и есть слово, а слово вне личности не существует.

Надо было обладать гением Парменида, чтобы в таинственном беге колесниц Ночи и Дня, погоняе-

мых Справедливостью-Дике, прозреть рождение и умирание не природных сил, а человеческих мнений, ложных и истинных, противопоставить неуловимую текучесть чувственного ощущения твердой уверенности разумной мысли. Так человеческое разумно мыслящее начало пробивало путь сквозь толщу вечной, невозмутимой среди своих подспудных катастроф, безликой природы.

Беспокойный V век выдвинул свободного человека как сгусток предельной энергии и самостоятельности, возможных в рамках рабовладельческого общества, и тем самым встал на путь антропоцентризма, прогрессирующего с каждым десятилетием. Отсюда та невероятная страсть к слову и преклонение перед его силой, которым отличались греки. Ведь всякий грек издревле славился как заядлый разговорщик, а гомеровские поэмы удивляют и до сих пор обилием и умелым построением речей. Грек, можно сказать, абсолютизирует слово, делая его владыкой всего сущего, а среди богов особо почитается Пейто — богиня убеждения. Если софист Горгий мог в блестящей речи виртуозно восхвалить Елену, превратив все ее недостатки в величайшие достоинства, если греки упивались словесным состязанием актеров, испытывая ужас и сострадание в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида, если Сократ собирал вокруг себя толпы жадно слушающих философские споры с последовательным и непременно логически обоснованным нахождением истины, то Платону уже ничего не оставалось, как живейшим образом представить движение человеческой мысли, идущей от заблуждения к истине, в виде драматического диалога, то есть разговора горячо заинтересованных спорщиков.

Путь Платона был совершенно естествен для

развития жанров, то есть для особых, ставших традиционными, форм литературного творчества.

Древнейшая греческая литература началась с величаво-грозного эпоса, затем перешла к беспокойной лирике, далее к трагическим ужасам и аффектам и, наконец, к той прозе, которая совмещала в себе лироэпическое и драматическое начала. Античная философия, как и античная литература, немыслима без вечной постановки все новых и новых вопросов, без напряженных исканий ответа на них, без страсти к спорам, к самым извилистым приемам мысли, без восторга перед изобретательностью речи и цветистостью риторики.

За долгие годы творческой деятельности Платона характер его диалога заметно менялся. Сам по себе диалог является непременным элементом драмы. Однако драматичность может быть разная. Бывает драматизм сюжетной завязки, драматизм ситуации, а бывает внутренний драматизм борющихся идей, противоположных убеждений, отчаянно защищаемых спорящими сторонами.

У Платона мы находим все оттенки в градациях драматически напряженного действия, внешнего и внутреннего.

Более драматичны внешне и внутренне произведения Платона, построенные на остром сюжетном материале, связанном с трагическими событиями из жизни Сократа. Здесь даже необязательна диалогическая форма. Так, например, защитительная речь Сократа перед судом, его «Апология», есть не что иное, как настоящий монолог. Однако этот монолог построен на острейшей драматической ситуации.

Здесь перед нами одинокий герой, Сократ, который вынужден бороться с клеветой, не имеющей

никаких достоверных доказательств. Он сражается как будто с бесплотными тенями, тенями необоримыми в единодушной завистливой злобе против того, кто недосягаем по высоте духа, честности мысли и доброте сердца. Чувство неизбежной обреченности героя подчеркивается размышлениями Сократа вслух, воспоминанием о тех моментах жизни, когда он тоже стоял перед выбором — покориться или идти своим путем, сохраняя честность и борясь за справедливость. Безвыходной обреченностью окрашен весь этот безупречный по логике монолог. Но какая может быть логика перед шумящей толпой, которой ненавистен непохожий на нее человек? Дважды, вспоминает Сократ, его жизнь висела на волоске, но ведь это было в годы правления олигархов и «тридцати тиранов», а теперь мудрейшего из людей осуждает на смерть своя законная демократическая власть, так им почитаемая. Как в настоящей трагедии, чем больше герой старается доискаться до правды и чем больше чувствует он себя ни в чем не виноватым, тем неотвратимей надвигается на него роковая участь. Дважды везет Сократу, и враги отступают перед его стойкостью, но в третий раз те, кого он считал своими, оборачиваются непримиримыми врагами и обрекают его на казнь.

Платон создает в «Апологии» сильного мыслью, но беспомощного и бесправного героя. С начала и до конца монолог Сократа построен по принципу трагической иронии, о которой через много лет будет писать Аристотель, занимаясь классической драмой. Человек думает, что он может предусмотреть надвигающиеся события, разгадать их, предупредить, а судьба издевательски смеется над беспомощностью его земной ограниченности. Тезис Сократа: «Я знаю то, что я ничего не знаю» — по-

лучает свое трагическое подтверждение в монологе любимого героя Платона.

Острый и напряженный драматизм положений, противопоставленный безупречному внутреннему спокойствию духа Сократа, раскрывается в диалогах «Критон» и «Федон». Эти диалоги совершенно разной поры. «Критон» ранний и по времени написания примыкает к «Апологии», а «Федон» — произведение зрелого периода (470—460-е годы до н. э.). Однако художественный замысел построения диалогов одинаков, так как их связывают примыкающие друг к другу события последних дней жизни Сократа.

Если в «Критоне» всего два действующих лица — Сократ и его друг Критон, оба старика, ровесника, родом из одной и той же округи, то в «Федоне» кроме Сократа и того же Критона множество персонажей. Здесь философы-пифагорейцы из Фив Симмий и Кебет, ученики Сократа — Федон, Аполлодор, Критобул, Гермоген, Антисфен, Эсхин, Менексен, Ктесипп, Эпиген, Федонд, Евклид, Терпсион, одни — местные афиняне, другие — приезжие. Здесь жена Сократа Ксантиппа с меньшим ребенком на руках и два других сына, плачущие родственницы, привратник, смотритель тюрьмы, архонты, надзирающие за приведением приговора в исполнение, служитель, изготовивший яд цикуты, раб-слуга. Да еще ко всему в экспозиции диалога житель Флиунта Эхекрат, пифагореец, которому спустя месяц рассказывает Федон о смерти Сократа.

В обоих диалогах параллельно развиваются две линии — внутренняя и внешняя. Внутренняя — сократовская, внешняя — окружающих его друзей. Оба диалога лишены начисто душераздирающего

противоречия между Сократом и его противниками на суде, как это было в «Апологии». Здесь только близкие, друзья, единомышленники, ученики. И даже те, кто должен привести приговор в исполнение, действуют не по своей воле, преклоняясь перед смирением Сократа.

В «Критоне» и «Федоне», где все основано как раз на полной идейной гармонии, глубочайшем сочувствии и понимании с полуслова, есть свой напряженный драматизм, без которого немыслима трагедия Сократа. В обоих диалогах Сократ уже не волнуется и не борется, как это было в «Апологии». Он примирился с судьбой и совершенно спокоен. Бежать он не собирается. Его долг перед родными законами — остаться в тюрьме и бестрепетно встретить смерть. Сократ как бы стоит по ту сторону жизни, он смотрит на друзей оттуда, из-за той роковой черты, что отделяет мир этой жизни от мира иной жизни. Сократ в последние дни и часы живет в своем особом внутреннем мире. Вокруг же него кипит внешняя жизнь, полная тревог и волнения. Здесь строятся планы спасти Сократа, устроить ему побег. Друзья готовы пустить в ход связи в других городах и деньги для подкупа. Увидев непреклонность Сократа, они не могут смириться. И он еще должен их утешать.

В «Федоне» ведется неторопливая беседа (ведь солнцу еще далеко до заката, когда наступит смерть) о том, что душа бессмертна и будет вечно жить в ином мире, значит, смерть не страшна. Внимательно слушает упавшая духом молодежь Сократа и его друзей-пифагорейцев, кому так близки эти идеи. И вот перед слушателями раскрываются величественные и прекрасные картины занебесной сияющей земли, той настоящей, что не сравнится

с нашей скудной и темной землей. Раскрывается в беседе и подробнейшая топография загробного мира с его страшными реками и пропастями.

Эти живописные картины подтверждают в зрительных образах плавное и логически безупречное сцепление четырех теоретических доказательств бессмертия души, приводимых в беседе. Перед нами герой, исполненный глубочайшей внутренней уверенности в правоте. Он не пытается убедить противников, как это было на суде. Его задача — внушить уверенность и спокойствие друзьям. Теперь уже не место трагической иронии ограниченного слишком по-человечески героя. Сократ уже все знает. Он приобщился к высшей, иной, запредельной мудрости, рождающей спокойствие.

Можно сказать, что если Сократ в «Апологии» сражается со своей судьбой, то теперь он ее познал, он слился с ней, и сам является живым воплощением этой судьбы. Отсюда — величавая простота Сократа на фоне житейского ужаса и страха перед неведомым у окружающих его друзей. Поэтому так предельно прост Платон, рисуя последние минуты мудреца. По всему чувствуется, что здесь уже творится легенда, здесь создается своя мифология, и Платон делает вид, что он совсем неповинен в этой легенде. Как рассказывает Федон, юного Платона даже и не было рядом в последние минуты жизни Сократа. Платон, оказывается, болел, наверное, не будучи в силах находиться у смертного ложа учителя. И здесь нет ничего нарочитого. Ведь могли же отсутствовать Аристипп и Клеомброт, находясь в это самое время на Эгине.

Платон чрезвычайно умело отстраняет себя от заключительного акта сократовской драмы. Он как бы смотрит издалека, со стороны, и тем создает по-

разительную иллюзию объективного, непредвзятого действия. И это не он творит легенду о герое, который умер, чтобы жить бесконечной жизнью в памяти потомков. Он только передает со слов учеников, а они, как всегда, пристрастны, и все, что можно приписать легенде, — на их совести. Такая отстраненность автора наряду с живейшей, почти зрительно-сценической картиной конца Сократа создает особое чувство совместного переживания у каждого, кто раскрывает «Федона».

Трехчастное строение диалога с центральной философской беседой, где слушатели погружены в тончайшие ходы мысли Сократа, своей умозрительной тяжестью опирается на вступление и заключение, полное внешнего драматизма. Перед нами триптих, главная идея которого предваряется в прологе, когда с Сократа сняли оковы, и находит свое оправдание в эксоде («исходе»), где умирающий Сократ просит принести Асклепию петуха как дар за исцеление от тяжкой болезни. Только теперь Сократа освобождают не от физических железных оков, а от гораздо более тяжелых оков жизненной борьбы с несправедливостью. Драма из трех актов кончается искупительной жертвой богам. Равновесие, нарушенное борьбой дерзновенного героя с предначертанием судьбы, отныне восстанавливается.

Иной раз Платон создает диалог, весь построенный на постепенном, последовательном нанизывании речей, которые приоткрывают с разных сторон главную, заданную в начале тему беседы.

Поскольку беседа происходит за пиршественным столом и обстановка мыслится достаточно непринужденной, ее прерывают мизансцены, вносящие веселье, разнообразие и задорный смех своей,

казалось бы, внешней несовместимостью с глубиной проблематики, но на самом деле вполне гармонизирующие с атмосферой дружеского общения за чашей вина.

Пусть не удивляет читателя эта умная беседа за пиршественным столом. Мы не раз уже вспоминали, как греки любили говорить и с каким мастерством велся разговор. Еще гомеровские герои «Илиады» на поле битвы уединяются в шатер мудрого Нестора, чтобы насладиться едой, питьем и «беседой взаимной». А какие великолепные рассказы на пиру у царя Алкиноя ведет Одиссей, завлекая жадных до новостей, любопытных и внимательных слушателей феаков! Пир в элегии философа-поэта Ксенофана Колофонского, где все дышит скромным изяществом и торжественно-строгим убранством, немыслим без мудрой беседы.

Темы этих застольных бесед со временем менялись. Самый интересный разговор на пиру начинался после еды, когда гости обращались к вину, как известно, всегда разбавленному водой и специально охлажденному. Поэтому беседа за круговой чашей вина носила название симпосия (греч. *symposion* — совместное питье, пир). Общий застольный разговор был не только развлекательным, но и высокоинтеллектуальным, когда затрагивались вопросы философские, этические, эстетические. Глубокомысленная беседа часто соседствовала со смехом и шуткой, так как для симпосия вообще было естественно сочетание серьезного и смешного (греч. *spoydogeloion*). Атмосфера приподнятости обостряла ум и находчивость, а музыканты и танцовщики только усиливали праздничную беззаботность гостей.

Примером именно такого пира, где общая бе-

седа о красоте и любви приводит к речи Сократа о преимуществах любви духовной, является «Пир» Ксенофонта, того, который был соперником Платона в интерпретации образа их общего учителя. Ксенофонт, например, вводит настоящую интермедию с выступлением актеров, изображающих в танце брак Диониса и Ариадны, а гостей услаждают флейта и кифара.

Платоновский «Пир» — это настоящая драматическая сцена, в которой Сократ окружен друзьями и учениками и где, несмотря на разницу в определениях любви, а значит, и высшего блага, царит необычайное единодушие.

Однако эта дружная обстановка не только не мешает, но даже подчеркивает особый дух спора, соперничества среди пирующих. Можно сказать, что перед нами состязание философски настроенных ораторов, наподобие знаменитых состязаний певцов-рапсодов. Здесь предлагается одна тема — восхождение человека к высшему Благу, которое есть не что иное, как воплощение идеи небесной любви.

Эта обязательная для всех тема разрабатывается самым различным образом. Каждый из участников состязания, сохраняя основную мелодию, обогащает ее своими вариациями, создавая характерные только для него парафразы, каждый раз выделяя то один музыкальный голос, то другой. Каждый из голосов вступает в определенном порядке постепенства. По мере нарастания и наполнения заданной темы голоса крепнут, становятся все увереннее, пока их всех не перекрывает голос Сократа, которого слушают с благоговением.

Но оказывается, что и сам Сократ только вторит голосу мудрой жрицы Диотимы. Отзвуками ее ре-

чей полнится голос Сократа для того, чтобы потом самому стать темой для разработки речи Алкивиада, когда уже этот последний в завершение состязания представит Сократа как живое воплощение духовной красоты.

Перечислим всех участников этого состязания, мудрых певцов любви по мере их вступления в спор. Это Федр, Павсаний, Эриксимах, Аристофан, Агафон, Сократ, Алкивиад. В «Пире» — семь речей, семь голосов, и каждый безошибочно ведет свою партию.

Но это внешне чрезвычайно гармоническое семизвучие внутренне очень беспокойно, разноречиво и часто даже противоречит одно другому, чтобы затем слиться в едином хоре.

Состязание восхвалителей любви в «Пире» можно назвать еще одним термином — агоном. Греческое слово «агон» есть не что иное, как «борьба», причем эта борьба понимается в самом разном смысле — борьба атлетов, состязание в беге, в ристании колесниц. Это — состязание певцов-рапсодов, ораторов, поэтов, музыкантов, драматургов. Но это же и состязание героев в аттической комедии, являющееся главной ее частью. Борьба двух противоположных идей, которые защищают соперничающие стороны, причем борьба азартная, страстная, не только словесная, но часто переходящая в настоящую драку, — вот что такое театральный комедийный агон.

Платоновские диалоги очень часто построены по принципу сценического агона. Только этот агон может быть разной степени напряженности, в зависимости от характера соперничества участников диалога, то настроенных дружески, а то и стоящих на противоположных и даже враждебных позици-

ях. Недаром такие соперники назывались антагонистами, то есть противниками в борьбе.

Известно, что древний поэт VIII—VII веков до н. э. Гесиод в поэме «Труды и дни» прямо говорил о существовании двух Эрид, то есть богинь спора (греч. *eris* — спор). Одна из них — благая Эрида, подталкивает человека на состязание с другими в ремеслах и труде, пробуждая самостоятельность и изобретательность. Зато другая — злая Эрида — вызывает людей на завистливое соперничество и безжалостную борьбу. Во времена Сократа и Платона спор софистов, пытавшихся во что бы то ни стало положить друг друга на обе лопатки, называли эристикой, отгородив ее от диалектики, где обе стороны совместно заинтересованы в достижении цели и идут к ней с помощью беседы, построенной на вопросах и ответах.

Думается, что на драматический спор в диалогах Платона и на живость характеров его участников оказали воздействие аттическая комедия любимого им Аристофана, комедия Эпихарма и мимы Софрона, с творчеством которых Платон был хорошо знаком, путешествуя в Сицилию.

Хотя Аристофан жестоко высмеял Сократа в своей комедии «Облака» еще в 423 году, это не помешало Платону дружески объединить обоих в своем «Пире» и написать эпиграмму.

Храм, что вовек не падет, искали богини Хариты,
Вот и открылся им храм — Аристофана душа.

Надо было тонко чувствовать замысловатый комизм Аристофана с его острыми и часто бранными, неприличными словечками, фантастическими ситуациями и безудержной буффонадой, чтобы осме-

литься провозгласить душу комика храмом Харит, богинь юного, утонченного изящества.

Античные биографы Платона писали, что у Аристофана и Софрона Платон учился правдиво изображать действующих лиц своих диалогов и что он первый привез мимы Софрона в Афины. Уже смертельно больной, Платон читал этих любимых писателей. У древнего философствующего комика Эпихарма Платон тоже научился многому. Древние говорили, что рассуждения Эпихарма о различии мира изменяемых чувственно познаваемых вещей и мира неизменного, вечного, постижимого только умом, оказались особенно близкими Платону и повлияли на его представление о вечных неизменных идеях. Эпихарм (VI—V века до н. э.), который писал еще до рождения Платона, как будто предчувствовал, что его мысли обогатят потомков. Он писал:

Так я думаю, и это ясно мне доподлинно,
Что слова мои кому-то в будущем припомнятся,
Он возьмет, освободит их от размера строгого,
Облечет их в багряницу, пестрой речью шитую,
И пред ним, непобедимым, лягут победимые.

Сами же древние утверждали, что Платон первый ввел в рассуждения вопросы и ответы, первый употребил термин «диалектика» и аналитический способ исследования. Видимо, здесь имеется в виду, что Платон систематически стал проводить в логически завершенной и литературно выраженной форме то, что его поразило в устных беседах Сократа, этого прирожденного диалектика.

Таким образом комедийный агон, драматическая напряженность ситуаций и отточенность философской беседы чрезвычайно обогатили диалоги Платона.

«Пир» Платона представляет собой благородное состязание — агон единомышленников, добивающихся общими усилиями определения высшего Блага. И этим он отличается от целого ряда диалогов Платона, где агон обернется совсем другой стороной. Единомыслие не означает единообразия. Наоборот, оно часто предполагает заведомую разницу в мнениях и складывается из обсуждения и отбора тезисов, необходимых для достижения полноты искомой идеи. Вот почему участники платоновского «Пира» — лица вполне реальные, подобранные автором по принципу своеобразно противопоставленных характеров.

Федр — поклонник красноречия и философии любви, знаток истории, мифологии, древних генеалогий. Он человек не практичный, бедный, обитающий в мире поэтического вымысла. Речь его прославляет Эрота как самого могущественного бога, дарующего человеку блаженство и в жизни, и в смерти.

Следующий, Павсаний, отличается как раз большим жизненным опытом, интересом к философским спорам и их логическому оформлению. Он в своей речи не довольствуется общим определением Федра, а немедленно вносит элемент уточнения, желая дружески поправить дело. Эрота «вообще», говорит Павсаний, не существует. Есть две Афродиты: небесная — Урания, для немногих избранных, и земная — Пандемос, для всех. А так как Эрот — сын Афродиты — есть само наслаждение, то и Эротов — два. Один — возвышенный и прекрасный, а другой — пошлый и ничтожный.

Далее выступает Эриксимах, сам известный врач и сын знаменитого врача. Он — прирожденный эмпирик и материалист, как и следует челове-

ку, имеющему дело с природой во всех ее проявлениях. Эриксимаху кажется, что речь Павсания не закончена. Говорили об Эроте «вообще», затем о двух Эротах, и теперь Эриксимаху хочется придать завершенность этому противопоставлению, то есть объединить общее и частное. И вот тогда-то Эриксимах выдвигает мысль, типичную для греческих философов-«фисиологов», исследователей природы. Искусство врачевания доказывает, по мнению оратора, что любовь живет не только в человеческой душе и ее стремлении к прекрасному, но во многом другом на свете — в телах любых животных и даже в растениях. Эрот всеобъемлющ и причастен ко всему сущему. Здесь чувствуется знаменитое учение философа Эмпедокла о любви как объединяющем начале всего мира, хотя еще у Гомера любовь побеждает «людей земнородных, в небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных».

Здесь мысли, созвучные словам трагика Еврипида об Афродите как сеятельнице любви в высях эфира и в бездне моря.

Первая триада речей закончена. Должна последовать вторая триада. И здесь Платон поступает как хороший режиссер. Он дает возможность посмеяться и отдохнуть сотрапезникам.

Речь начинает знаменитый комедиограф Аристофан, тот самый, который когда-то осмеял Сократа. Этот комик злой на язык, издевки и беспощадную критику в театре именно потому, что в жизни он чрезвычайно старомоден и требователен к человеку. За столом, видимо, не успев продумать свою речь, он разыгрывает пресыщенного едой гостя, которому якобы не дает говорить икота. Поэтому он сначала уступает свою очередь Эриксимаху и, таким образом, оказывается в самом центре двух

ораторских триад, как бы участвуя в сценической интермедии.

Аристофан начинает прямо с того, что заявляет о совсем ином понимании Эрота, непохожем на предыдущее. Эрот — самый человеколюбивый бог, который помогает людям и исцеляет их недуги.

Недуги человечества здесь явно не чисто физические, а гораздо более глубокие, может быть, те, которые исцелял своим смехом, любя людей, Аристофан. Эрот для Аристофана — это стремление человека к изначальной целостности.

Здесь впервые произнесены слова «стремление» и «целостность». Однако эта тема разработана Аристофаном в чисто комическом духе с забавными и даже непристойными подробностями, столь характерными для аттической комедии с ее вседозволенностью народной игры. Тему стремления и целостности, но уже не в физическом смысле, а духовном, и не комическом, а глубоко драматическом, развернет далее Сократ.

Пока же Аристофан потешает гостей забавными страданиями людей, разделенных богами пополам. Полнота и целостность человека ушли в прошлое. Раздвоенность человека — наказание за его несправедливость. И любовью называется жажда целостности и стремление к ней ищущих друг друга половинок. Но здесь тоска по очень древней физической нераздельности плоти вместо божественно-прекрасной целостности с ее восхождением от тела к духу, от земной красоты к высшей идее.

Слушатели после речи Аристофана обмениваются репликами, оценивают ее как нечто совсем особенное по сравнению с предшествующими, но вместе с тем признают, что и Эриксимах «состязался на славу». Примечательно, что хозяин пира,

трагический поэт Агафон, называет сотрапезников «зрителями», ждущими прекрасной речи. Сократ посмеивается над волнением Агафона, готового к новой речи. Как может растеряться перед небольшим кружком слушателей опытный драматург, который не раз всходил на подмостки к актерам и перед исполнением трагедий глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха? Да, но несколько умных людей страшнее многих невежд.

И Агафон не без трепета открывает новую триаду речей, прославляя молодого, нежного, прекрасного бога, который прокрадывается всюду и без всякого насилия, одним своим совершенством подчиняет себе всех людей. Вот почему из любви к прекрасному возникли всяческие блага для богов и людей, а сам Эрот, прекраснейший и совершеннейший, стал источником этих же качеств для всех прочих.

Но теперь наступает черед Сократа, который притворно вздыхает перед трудной задачей — последнему произнести похвальное слово Эроту, не зная пока, что сотрапезников ожидает еще одна неожиданная речь. Сократ здесь явно выполняет функции сценического персонажа. Он в комических тонах, как бы надевая на себя забавную маску (а ведь лицо Сократа напоминало уродливую комедийную маску), говорит правду и, притворяясь невеждой, поучает истине зрителей.

Чтобы придать больший вес своей речи, Сократ разыгрывает своеобразный диалог, якобы происшедший у него некогда с мудрой жрицей Диотимой, наставницей в философии.

Перед нами уже не монологическая речь, а живая беседа, в которой Сократ играет сразу две роли — свою и Диотимы. Реплики, вопросы и ответы подаются одним человеком, но так и видишь

представляющегося наивным простаком Сократа и искушенную в диалектике жрицу Диотиму, таинственную мантинеянку, отодвинувшую своими молитвами на целых десять лет чуму в Афинах.

Сократ, как всегда, простейшим способом разъясняет слушателям, что Эрот есть вечное стремление к обладанию высшим благом, и тут же для большей наглядности создает полный тончайшей диалектики миф о рождении Эрота, сына Бедности и Богатства. Здесь возникает иерархия красоты, начинающаяся от стремления к обладанию отдельными физическими вещами и прекрасными вещами вообще, затем стремление к прекрасным отдельным душам и прекрасной душе вообще. Далее — стремление к прекрасным наукам и к тому пределу всех наук, который является вечной и неподвижной идеей красоты, высшего блага или истинной добродетели.

Кажется, уже дальше нет никакого движения в развитии мысли. Речи завершают свой круг, как и чаша, передаваемая участниками пира друг другу. Но кончить на этой высокой и вместе с тем безупречно-логической конструкции Платон не может. Сейчас должен наступить момент, когда определение сократовского Эрота, достигнутое средствами абстрактной мысли, обязано воплотиться в живое лицо. И виновником этого воплощения оказывается не кто иной, как подвыпивший Алкивиад в венке из плюща и фиалок, неожиданно ввалившийся на пир, сопровождаемый флейтисткой и веселыми спутниками.

Теперь уже пришла очередь разыгрывать сценическую интермедию Алкивиаду, который больше представляется пьяным, чем это есть на самом деле. Он так же, как незадолго до него Сократ, как бы

надевает на себя маску. Но только это маска праздного и бесшабашного, едва держащегося на ногах гуляки.

Вот когда этот красавец и любитель рискованных предприятий получает возможность сказать правду уже о самом Сократе как живом воплощении вечного стремления к высшей духовной красоте.

Что все разговоры о нежном, изящном и великолепном боге любви, когда безобразный по виду Сократ, похожий на Силена, хранит в своей душе неисчерпаемые сокровища духа, да еще своими колдовскими напевами притягивает к себе людей! У тех, кто неотступно следует за Сократом, сердца бьются как у безумствующих корибантов и из глаз льются слезы. И хочется ускользнуть от этого человека, и хочется даже, чтобы он сгинул, умер, не следил за тобой, а потом подумаешь, как же жить без него, и остается только одно — слушать завораживающие речи Сократа и следовать за ним.

Похвальное слово Эроту, которое произнес Сократ, превращается в похвальное слово, или энкомий, в честь самого Сократа.

Миф об Эроте, пережитый столь различно участниками состязания за пиршественным столом, превратился на глазах в самую настоящую живую действительность.

Итак, вторая триада речей после первой триады (Федр, Павсаний, Эриксимах) и после интермедии Аристофана построена безупречно логически и отличается ясной структурой. Агафон говорит о самых разнообразных функциях Эрота как принципа совершенства. Сократ говорит о том, как достигается идеальное совершенство в целостном виде, и, наконец, Алкивиад иллюстрирует это целостное

совершенство, воплощенное в реальной жизни, а именно в образе Сократа.

Как и положено для драматического представления, оно должно кончиться уходом со сцены актеров и заключительным размышлением хора, в котором всегда звучит голос высшей правды.

Тема исчерпала себя, цель пира достигнута, поэтому никого больше не привлекает новая толпа веселых гуляк. Участники агона расходятся по домам. Остаются беседовать трое — трагический поэт Агафон, хозяин дома, Аристофан и Сократ.

Здесь, в финале, произносятся вслух резюмирующие мысли Сократа.

Сократ, который вечно стремится к идеалу прекрасного в его недосягаемой целостности, жаждет слить воедино две стороны жизни и искусства — трагическую и комическую. Поэтому его слова о том, что настоящий трагический поэт должен быть одновременно комическим поэтом, совсем не звучат диссонансом главной теме «Пира». Наоборот, Сократ, который только что предстал в речи Алкивиада как некое демоническое, исполненное колдовских чар существо, само стремящееся к полноте знания, мудрости и красоты, влекущее к целостности бытия других, этот Сократ не может не объединить в одно нераздельное единство трагедию и комедию на сцене и в жизни. Бытие едино, искусство едино. Комическая маска скрывает трагедию человеческой личности, а над трагедией человека смеются боги.

Сократ, которого дельфийский оракул назвал мудрейшим, изрекает истину, беря на себя роль заключительного хора в театральном представлении. Окончательный смысл искусства и жизни звучит в его простых словах.

Резюмирующее размышление Сократа является достойным финалом дружеского состязания в доме Агафона, а сам образ мудреца в последних строчках диалога еще раз приобретает символические черты.

И Агафона, и Аристофана наконец сморил сон. Один Сократ не знает усталости. На рассвете он выходит из дома Агафона и является в Ликей, где освежается водой после пиршественной ночи.

Весь день он проводит, как ему полагается, в беседах и встречах, а к вечеру наконец отправляется домой на отдых. Оказывается, что этот неустанный и вечно бодрствующий Сократ платоновского «Пира» и есть само неустанное стремление к овладению все новыми и новыми идеями.

Он всегда бос и нищ, как сам Эрот, он всегда бродит по дорогам, ибо ему мало того знания, которым он обладает, и он стремится к целостному, всеохватывающему, идеальному знанию. Перед нами живое олицетворение философии, то есть любви к мудрости.

Платоновский «Пир» положил начало новому жанру литературного диалога — «симпосию», то есть мудрой беседе за пиршественным столом. Как мы уже знаем, соперник Платона по ученичеству у Сократа Ксенофонт тоже создал свой «Пир». В I веке н. э. Плутарх написал «Пир семи мудрецов» и «Десять книг пиршественных вопросов». Сатирик Лукиан (II век н. э.) — тоже автор «Пира». Римлянин Петроний в «Сатириконе» (I век н. э.) пародийно изображает блестящее пиршество Тримальхиона. Атеней (III век н. э.) — автор огромного сочинения в пятнадцати книгах «Софисты за пиршественным столом». Грек Макробий (V век н. э.) издает на латинском языке «Сатурналии», семь книг пиршественных бесед. Император Юлиан, философ-

неоплатоник и борец с христианством (IV в. н. э.), пишет сатиру на римских цезарей под названием «Пир, или Кронии». Епископ и Отец Церкви Мефодий Патарский (IV век н. э.) сочиняет «Пир десяти дев», полемизируя с еретиками и борясь с пережитками древних языческих культов.

Оказывается, что за пиршественным столом могут быть подняты любые вопросы — ученые, политические, философские, религиозные, общественные, бесконечные, как сама жизнь. Но нигде, никогда и ни у кого после Платона пир не конструируется так продуманно, сжато, просто и, главное, динамически напряженно, как это и следует для настоящего драматического действа.

Диалог Платона, таким образом, есть только внешнее выражение глубочайшего драматизма мысли, и притом не в каком-нибудь переносном смысле слова, но в смысле самого настоящего драматизма, включая столкновение героев в виде агона, пролога и эксóда, включая интермедии, яркие комические маски и высказывания обобщенных мыслей, поручаемых в драмах хору или беседе хора и героев. Излюбленная Платоном форма философского спора решается им в несколько иной тональности в тех диалогах, где спорящие стороны являются настоящими антагонистами-противниками. Такие диалоги, как «Гиппий больший», «Протагор», «Горгий», «Менон», тоже драматичны, но эта драматичность несколько иного характера, чем в «Пире», где обстановка праздника, живое развитие мысли и действия создавали особую сценическую приподнятость.

Там, где Сократ вступает в спор с идейными противниками, диалоги Платона пронизаны духом внутреннего противоборства, взаимного отталки-

вания, иной раз даже глубокой неприязни. Это настоящий агон соперничающих сторон. И каждая из них испытывает остроту своего интеллектуального оружия на противнике, чтобы в заключение прийти к временному перемирию. Внешне в подобных диалогах как раз очень мало движения. Но зато они представляют в самом чистом виде подлинную драматичность развития мысли и напряженность враждебно сталкивающихся идей.

Так, в «Гиппии большем», который посвящен определению прекрасного, сталкиваются двое — софист из Элиды, Гиппий, хвастливый, напористый, самоуверенно-наглый, и Сократ. Реальная постановка вопроса такова: если справедливые поступки предполагают справедливость вообще, а мудрые — мудрость вообще и, следовательно, справедливость и мудрость есть нечто, то и все прекрасные предметы предполагают прекрасное вообще, то есть прекрасное тоже есть нечто.

Гиппий, который мыслит себя совершенным и мудрым человеком, да еще зарабатывающим вдвое больше денег, чем любой софист, и важно исполняющим обязанности посла в различных государствах, должен защищаться под градом вопросов Сократа, доказывая, что прекрасное есть отдельно взятая вещь.

В живом, стремительном диалоге то и дело ставятся вопросы о том, что такое прекрасная девушка, прекрасная кобылица, прекрасная лира, прекрасный горшок, прекрасная статуя и т. д. и т. п.

Сбитый с толку таким обилием прекрасных вещей, Гиппий пытается установить, какова идея прекрасного, исходя из того, что с его точки зрения в подлинном смысле всегда и везде прекрасно, и к чему он относит здоровье, богатство, почет, ро-

скошное погребение и т. д. Но Сократ опровергает неустойчивость и относительность прекрасных вещей, так что приходится перейти к иному, уже не житейско-конкретному опыту, а к сфере отвлеченных категорий. Обе стороны страстно спорят о том, не есть ли прекрасное — нечто приличное, полезное, пригодное, не есть ли оно зрительное или слуховое удовольствие. Прекрасное, по всему видно, не связано с какой-либо категорией, которая при одних условиях может быть прекрасной, а при других не может быть ею.

Гиппий попадает в тупик. Что же именовать прекрасным, если это не отдельная вещь, не отвлеченная категория? Но Гиппий привык побеждать и упиваться славой; не желая быть побитым, он просто объявляет все разговоры о прекрасном пустословием и под этим предлогом ускользает от Сократа.

Перипетии борьбы двух видов спора — софистического и диалектического и двух типов философов — софиста Гиппия, искателя почестей и денег, и Сократа, искателя истины — как будто не кончаются полной победой Сократа. Но читатель чувствует, как страдает Сократ, вынужденный сражаться с бессовестными софистами, и как мучительно рождается в его споре с самим собой, а не только с собеседником (собеседник часто только повод для того, чтобы разобраться в самом себе), понятие «идеи» прекрасного, «сущности» прекрасного, которая делает прекрасным все отдельные вещи.

Но спор с Гиппием еще довольно благодушен, так как этот софист в своей самовлюбленности даже особенно и не негодует на Сократа. Уверенный в своей правоте, хотя и сбитый с толку, он просто отмахивается от спора.

Зато в диалоге «Протагор», где ставится проблема добродетели в целом, все усилия Платона направлены на то, чтобы в Протагоре и Сократе представить достойных друг друга противников.

Ожидание агона двух знаменитых спорщиков обставлено здесь торжественно и важно, как перед увлекательным театральным зрелищем. Сам знаменитый Протагор так и жаждет показать себя перед афинянами и порисоваться перед другими софистами, создавая атмосферу поклонения и восхищения. Протагор гордится своей профессией софиста и тем, что эта наука, по его мнению, учит человека жить. Многочисленные гости, а среди них софисты Гиппий и Продик, сам хозяин дома, богач Каллий, оба сына Перикла, родичи Платона, Критий и Хармид, врач Эриксимах, Федр, Павсаний и Алкивиад (вспомним их участие в «Пире»), опытный ученик Протагора, Антимер, и совсем еще наивный юноша Гиппократ рассаживаются вокруг, чтобы насладиться спором двух знаменитостей.

Беседа начинается с установления происхождения добродетели в обществе и у отдельных граждан.

Затем собеседники переходят к определению смысловой структуры добродетели и к нахождению принципа этой структуры, то есть, говоря платоновским языком, к «идее» добродетели. Но это как будто простейшее разделение диалога бесконечно перебивается отступлениями от главной темы, приведением примеров, когда Протагор оперирует мифами, а Сократ своим излюбленным житейским опытом.

Здесь бесконечно повторяют одно и то же, уклоняются от прямых ответов, возвращаются к основной проблеме. Создается впечатление очень упор-

ной и увертливой игры противников, которые кружат друг около друга, не нанося решающего удара. Как у настоящих антагонистов, завязывается перебранка соперников, затем они уходят в сторону, исследуя песнь поэта Симонида и разбирая, чем отличается «бытие» от «становления».

Протагор и Сократ запутывают друг друга многословием, а Протагор своим мифом о богах, даровавших людям ремесла, совсем затемняет главную тему. Начинается настоящая ссора, и Сократ выступает против длинных речей, защищая краткие вопросы и ответы.

Он комически восхваляет немногословие спартанцев, сам, тем не менее, произнося длинную, многословную речь.

Платон великолепно рисует тончайшую изворотливость и Протагора, и Сократа, а также извилистость их мысли. Слушатели с восторгом внимают спору двух знатоков и только соглашаются со всем сказанным, сами сбитые с толку.

Страницы диалога так и пестрят замечаниями «все согласны», «и с этим все согласились», «со всем этим мы согласились».

В конце концов оказалось, что Сократ с Протагором пришли к выводам, противоречащим их исходным тезисам.

Сократ отвергал изучение добродетели, а теперь стал его признавать. Протагор сначала проповедовал научение добродетели, а теперь, когда пришли к выводу, что добродетель есть знание, стал это отвергать.

Такой совершенно обратный результат беседы, где, казалось бы, противники перешли на позицию друг друга, оказывается чисто внешним, так как Сократ в споре с Протагором прибегает к приемам

самых изощренных софистов, желая сбить с толку и запутать Протагора.

На самом же деле, если подходить не формально, а по существу, становится очевидным, что Сократ остался при своем мнении, а Протагор при своем.

Сократ всегда имел в виду добродетель как нечто идейное, считая низкопробными чисто технические приемы софистов, якобы обучавших добродетели. И если он в конце спора пришел к мысли, что добродетель есть высшее знание, то, естественно, он считает возможным научить людей этому высшему знанию потому, что сам он только и занимался таким воспитанием людей.

Протагор, по сути дела, тоже не изменил себе. Он попросту отказывается обучать добродетели как высшему знанию, ибо он этого никогда не делал и не знает, как за это взяться.

Таким образом, сильные соперники остаются каждый на своих позициях. Здесь нет ни победителя, ни побежденного. Оба проявили максимальное умение спорить и убеждать окружающих, которые то и дело соглашаются то с Протагором, то с Сократом. Но среди всего этого фейерверка мыслей и нарочитой запутанности главной линии спора, рассчитанной именно на удивление публики, ничто не может поколебать твердости исконных идейных противников, хотя в конце спора Сократ снова прикидывается простачком, готовым вновь и вновь обращаться к определению добродетели под руководством мудрого Протагора, а Протагор тоже снисходительно одобряет рвение и ход рассуждений Сократа. Он готов признать себя не таким уж дурным человеком и совсем независтливым, благосклонно восхищаясь мудростью своего противни-

ка. «Протагор» — прекрасный образец платоновского диалога, в котором форма драматизма мысли приводит к совершенно неожиданным результатам ввиду чрезвычайно извилистого, противоречивого и прихотливого развития.

Наш читатель должен иметь в виду, что мы характеризуем здесь не столько Сократа и Протагора, сколько художественное мастерство Платона. Платон-художник максимально изобретателен в драматических ситуациях спорящих сторон, в находчивости, неожиданности, остроте смысловых эффектов, в бесконечном разнообразии конфликтов между антагонистами, в точных и вместе с тем парадоксальных ходах собственной мысли. Драматическая напряженность идей Платона нигде не прекращается.

Именно благодаря слишком подвижному и горячему драматизму мысли некоторые диалоги Платона не довольствуются одним главным спором противников.

В этом отношении интересен «Горгий», где ставится важнейшая проблема — как жить? А в связи с этим — какова суть и цель риторики?

В «Горгии» не один, а целых три агона, и всюду участвует неутомимый Сократ, хотя противники меняются.

Сначала это знаменитый софист Горгий Леонтинский, затем его верный ученик Пол из Агригента (оба — сицилийцы) и, наконец, Калликл, молодой аристократ, богач, стремящийся к государственной карьере и не останавливающийся ни перед чем для достижения своих целей.

Хотя диалог и называется именем Горгия, но спор с этим последним занимает минимальное место.

Читатель предупрежден заранее, что Горгий только что выступал с речью в гимнасии, где теперь ведется его беседа с Сократом. Отговорка вполне удобная, чтобы за счет сокращения партии Горгия увеличить две другие.

Тема первого агона — определение софистической риторики, как оно давалось самими софистами. Тема второго — критика софистической риторики в том виде, как ее понимает Сократ. Тема третьего — критика софистической риторики, основанной на теории естественного права.

Обе спорящих стороны приходят со своими учениками и поклонниками. Протагора сопровождает Пол, Сократа — Херефонт, тот самый, кто вопрошал дельфийского оракула о мудрейшем человеке. Среди присутствующих независимостью выделяется Калликл, видимо, пригласивший Сократа встретиться у себя в доме с Горгием. Сначала для затравки пытаются спорить наподобие секундантов ученики соперников. Но затем в спор вступают сами учителя.

Они начинают с более широкого определения риторики, переходя ко все более узкому ее пониманию. Оказывается, что существует противоречие между риторикой и наукой о внушении людям справедливости и фактическим злоупотреблением риторикой для совершения несправедливости и дурных дел. Сократ запутывает Горгия своими вопросами так, что даже Пол указывает на «невежливость» такого обхождения.

Здесь Платон прерывает спор, шедший в довольно мирных и благодушных тонах, небольшой интермедией, в которую вступил Пол, занимающий теперь место Горгия, зашедшего, по мнению Сократа, в тупик.

Пол спрашивает Сократа, что он сам думает о красноречии, начиная тем самым вторую тему более оживленного и основного агона. Сократ, конечно, делает вид, что хочет излагать все покороче, но для этого опирается на геометрическую пропорцию, пользуясь примерами из врачевания, поварского дела, правосудия и т. п.

Пол, в свою очередь, то задает сразу по два вопроса, то высказывает собственные суждения, так что даже Сократ, по его словам, «спотыкается» от такой неразберихи.

Для Сократа риторика не есть искусство, а только сноровка, основанная на опыте человека и обычная в каждом деле. Более того, риторика потакает часто низменным страстям и переходит в разряд угодничества, как бы укрываясь за настоящим искусством. Риторическое угодничество укрывается за искусством вести судебные дела и тем самым становится как бы поваром, ублажающим душу.

Риторика часто приносит огромное зло и совершает несправедливость, борясь за видимую правду. Настоящая норма для риторики, по мнению Сократа, — лучше самому подвергнуться несправедливости, чем причинить ее другому. Но эта норма никогда не осуществляется.

Пол хотя и считает выводы Сократа «нелепыми», но видит, что у того все безупречно внутренне согласовано, и он готов признать себя побежденным.

Беседа опять прерывается уже второй интермедией, в которую вступает Калликл, не понимающий, серьезно или в шутку утверждает Сократ свою идею о том, что прекраснее самому претерпеть, чем обидеть другого. Для Калликла при утверждении такого тезиса жизнь переворачивается вверх дном.

Но для Сократа жить в ладу со своей совестью главное. Сократ образно представляет себя музыкантом и главой хора, у которого лира скверно настроена, участники же хора поют нестройно. Большинство людей, как говорит Сократ, с ним не соглашаются и спорят. Но зато философ не вступает в разногласие с самим собой.

Калликл все еще не верит серьезности Сократа, называет его озорником, как завзятого ритора, и даже упрекает его в трескучих и давно избитых фразах.

С этого момента в третий агон вступает уже сам Калликл, доказывающий несовместимость природы и закона, установленного людьми для прикрытия своего бессилия. Калликл рьяно берется за дело. Чтобы уязвить Сократа, он даже начинает укорять и бранить противника, как это делалось в комедии перед решающим агоном. Калликл изображает Сократа в виде смешного, слабого, жалкого болтуна, в старости занимающегося на смех всем философией и по которому плачет кнут. Жесткие слова Калликла о ничтожестве философа, которого можно безнаказанно бросить в тюрьму, обвинить и казнить, вызывают иронические замечания Сократа. Он заставляет признать Калликла, что если лучшее — это сила, то мораль, установленная многими, сильнее, а потому она лучше отдельного гордого индивидуалиста. Тогда Калликл понимает свою ошибку в грубом физическом понимании силы и увертливо выдвигает новый тезис: сильный тот, кто разумно и мужественно управляет другими в государственных делах. На это Сократ возражает: а нужно или нет управлять самим собою? Самоуверенность Калликла не знает пределов. Управлять самим собой не нужно. Рассудительность и мужество заключаются в свободе наслаждений и своеволии.

Сократ со смехом сравнивает такую жизнь по своей ненасытимости с дырявым сосудом. Калликл же предпочитает эту жизнь отсутствию наслаждений, на что Сократ тут же предлагает различать наслаждения дурные и хорошие. Но Калликл отвергает это различие, что дает повод Сократу на многих примерах доказать различие между удовольствием и благом, а также что первое надо всегда подчинять второму.

Из этого сложного лабиринта мыслей о законе, природе, силе, слабости, философии, разумности, наслаждении и благе Сократ незаметно выходит к главной теме, начатой еще в споре с Горгием. Оказывается, риторика должна быть сознательно проводимым искусством наслаждения благих чувств и для достижения высшего блага должна создавать в душе строй и порядок, придавая душе целостность и законность, что изгоняет из души стремление к дурным удовольствиям и несправедливости.

Последняя мысль Сократа многократно повторяется как музыкальный рефрен на разные лады. Учение об общественно-личной справедливости подтверждается великолепным в своих подробностях мифом о загробном суде с его наградами и наказаниями.

Наглость и беспринципность Калликла разбиваются об уверенность Сократа в своей духовной силе достойного человека, борющегося за истину, который не побоится ни доноса, ни клеветы, ни несправедливости суда, ни смертного приговора. Калликл замолкает, не побежденный логикой, но обезоруженный этой наивной и твердой верой философа в торжество Блага. Ему остается только терпеливо выслушать поучительный миф, рассказанный Сократом, и повторять «конечно», «пожалуй», «разумеет-

ся». Хотя Калликл остался тем же самым гордецом и «сильным» человеком, он уже внутренне боится за судьбу Сократа, она даже страшит его, и он, утеряв самоуверенность, смиренно выслушивает призыв старика «Давай и жить, и умирать, утверждаясь в справедливости и во всякой иной добродетели».

Структуру платоновских диалогов часто очень трудно установить, так как в них множество повторений, уточнений, возвращений к предыдущим тезисам, уклонений в сторону. Создается впечатление многоголосия музыкального произведения, а не точно формулированной логической последовательности. Благодаря драматизму мысли, слишком подвижному и страстному, который и создает диалог, законченность и систематичность как бы все время ускользают в сторону. Но именно эти бесконечные зигзаги и каскады мыслей, когда все кипит и бурлит от все нового и нового их напора, придают диалогу особое чувство непосредственного, живого, реального спора.

Глава десятая
САМООТРИЦАНИЕ ДРАМАТИЗМА

С годами, правда, пылкий драматизм Платона постепенно затухает, становится намного спокойнее. Но внешняя упорядоченность и приглушенность интеллектуальных страстей выдвигает уже иную сторону беседы — мудрую рассудительность, любовное созерцание идей, стремление к вдумчивости, к всестороннему, неторопливому рассмотрению поставленной задачи. Создается впечатление, что участники беседы стали старше не только внешне, но и внутренне, повзрослели в философ-

ских спорах и утеряли свой прежний боевой задор, хотя Сократ остается все тем же беспокойным и неуемным.

Действительно, если присмотреться к таким диалогам, как «Теэтет», «Софист», «Парменид», «Филеб», «Политик», то выясняется, что изменились и действующие лица диалогов, и обстановка, в которой диалоги происходят.

Теперь здесь нет драматических ситуаций из жизни Сократа. Время постепенно сгладило горе Платона, а Сократ лишился выразительного и острого биографизма. Он превращается в несколько абстрактного носителя истины, теперь уже воплощая в себе чисто платоновское учение о высших идеях, по образцу которых строится и живет мир. Да и собеседники его уже не задиристые софисты, а люди глубокой и серьезной науки, равные ему по своей приверженности к истине, несмотря на то, что одни из них даже старше Сократа, а другие зрелые, полные сил или совсем юные. И несмотря на то, что Сократ в одном из труднейших диалогов («Парменид») вдруг появляется перед нами совсем еще юным собеседником престарелого Парменида, он очень разумен, серьезен и внутренне уже совершенно взрослый человек. Здесь платоновский диалог теряет характер агона, собеседники не антагонисты, а союзники, заинтересованные в совместном выяснении поставленной проблемы. Да и сами эти проблемы уже не имеют ярко выраженной моральной сути прежних диалогов, которые часто задевали людей за живое, когда одни выдавали себя за прекрасных и знающих, не являясь таковыми, а другие прикидывались наивными и несмышлеными, чтобы вызвать первых на откровенность и в конце концов разоблачить их.

В «Теэтете», например, выясняется проблема знания и критикуется истинность чувственного восприятия мира. Участники диалога — старый Сократ, Феодор Киренский — известный математик, зрелый, солидный мужчина и Теэтет — совсем еще мальчик, но уже удивляющий Сократа своими способностями, будущий известный ученый, имя которого связывали с Платоновской академией.

В диалоге «Софист» исследуется диалектика бытия и небытия как условие возможности отличать истину от лжи. Заняты в беседе те же действующие лица, что и в «Теэтете», да еще не названный по имени философ из Элеи, которому принадлежит главная роль. По желанию Сократа элейский гость выбирает в собеседники молодого Теэтета, чтобы не произносить длинного монолога, а остальные спокойно внимают развитию беседы. Сложнейшее определение софиста как обладателя ложного знания, основанного на подражании истине, дается здесь с помощью логически построенных таблиц. И хотя здесь вырисовывается как будто иерархия понятий, похожая на ту, что когда-то Платон изобразил в «Пире», но по сути дела в них очень мало общего.

Если в «Пире» Платон, как по ступенькам уходящей ввысь лестницы, восходит к высшему идеалу прекрасного, пользуясь при этом чисто жизненными примерами и опираясь на замечательный образ вынашивания и порождения прекрасного, которым наполнено все живое, то в «Софисте» идут скрупулезное составление, соединение и сцепление отдельных перекладин схематической, чисто мысленной лестницы понятий, хотя собеседники оперируют такими житейскими примерами, как искусство, борьба, охота на птиц и рыб, торговля, судопроизводство, состязание, спор и т. д.

Все эти перекладины одной лестницы понятий, в результате которой софист определяется как рыболов, ловящий людей на крючок ложной мудрости, или как охотник или спорщик, являются как бы кусочками некоей абстрактной мозаики. Собеседники прилаживают то так, то этак отдельные кусочки, примеряя их, скрепляя, приколачивая до тех пор, пока не опустятся с вершины лестницы самого общего понятия творческого искусства к самому низу наиболее частного проявления этого искусства, а именно к софистике.

Софист — мнимый мудрец, подражатель истине, желающий показаться прекрасным невежественной толпе. Ученик Платона Аристотель впоследствии будет писать в своей знаменитой «Метафизике»: «Софист присваивает себе такой же вид, как у философа, ибо софистика — это не что иное, как мнимая мудрость».

В «Софисте» нет и следа того юношеского воодушевления, с которым старик Сократ представил участникам «Пира» мысленное восхождение ввысь с первой ступени до последней в поисках обладания высшим Благом. В «Пире» это восхождение к лучшему и прекрасному образу красочно пронизано положительными эмоциями и поэтому кажется каким-то ярким лучом, пронизавшим спутанную хаотичность первичных жизненных ощущений. В «Софисте» определение ложной мудрости уже заранее создает какую-то тягостную, нудную обстановку. Собеседники медленно и терпеливо, спотыкаясь и ощупывая перекладинки ступенек, спускаются с высоты творческого искусства, воплощаемого в искусстве божественном и человеческом, в глубину обыденности и мнимой софистической мудрости. В «Пире» все насыщено

просветленностью, в «Софисте» все окутано смутной неясной мглой.

В диалоге «Парменид», где рисуется сложнейшая диалектика «одного» и «иного» как условия существования высшего «образца» или «идеи», по которой строится бытие, есть свой пролог и трехчастное деление, а между второй и третьей частями даже помещается интермедия. Но все это разделение условно, чтобы выделить внутренний ход беседы и ее границы.

В центре диалога старец Парменид, его знаменитый ученик Зенон и двое юношей — Сократ и Аристотель (ничего общего не имеет с великим философом), жаждущие знания. Диалог начинается беседой Зенона и Сократа, пытливые вопросы которого и его пыл в рассуждениях восхищают Парменида. Юный Сократ представлен здесь достойным собеседником Парменида и каким-то очень взрослым и умудренным. Парменид, беседуя с ним во второй части как с равным, благожелательно разъясняет ему свое понимание «вещи» и «идеи», частного и общего. На проницательные замечания Сократа ни Парменид, ни Зенон не досадуют, а даже переглядываются с улыбками восхищения. Но когда начинается беседа Парменида с Аристотелем, то оказывается, что этот юный собеседник нужен только для того, чтобы служить Пармениду эхом его собственных раздумий. По сути дела, перед нами тонко продуманный диалог старика Парменида с самим собой об абсолютности и относительности единого. Аристотель — это голос, который вторит Пармениду. Но этот голос необходим, так как Парменид хочет сделать свои сложные рассуждения наиболее понятными и потому расчленяет их по возможности на все более и более мини-

мальные отрезки мыслей. Он продвигается вперед, повторяет, закрепляет, резюмирует свои мысли. Аристотель же подтверждает их словами: «Именно так», «непременно», «правда», «правильно», «безусловно», «как же иначе», «конечно», «да», «совершенно верно», «очевидно», «именно», «выходит так», «возможно», «так», «невозможно». Но если надо, любознательный Аристотель задает вопросы «как это?», «каким образом?», «как же иначе?», «почему?», «как же так?», заставляя Парменида повторять и разъяснять.

Иной раз Аристотель, как эхо, буквально вторит последним словам Парменида («Не будет ли оно неподобным?» — «Конечно, неподобным». — «Очевидно, неподобное будет неподобно неподобному?» — «Очевидно». — «Единое причастно к неравенству?» — «Причастно». — «Неравенству принадлежат великость и малость?» — «Принадлежат». — «Выходит, несуществующее единое и стоит на месте и движется?» — «Выходит, так»). И этот мерно повторяющийся отголосок развернутой мысли Парменида фиксирует всеобщее внимание, как бы еще раз закрепляя его именно на данном пункте. И когда Аристотель заканчивает диалог словами «Истинная правда», хочет или не хочет читатель, но он проникается каким-то благоговением перед почти священным ритуалом беседы мудреца с непосвященными, воспринимая всю эту неторопливость мысли как некое торжественное введение неофита в храм истины.

Такую же роль мудрого наставника, но уже в вопросе об общей диалектике идеи высшего Блага, порождающей удовольствие, играет Сократ в «Филебе». Теперь не Парменид беседует с двумя юношами, а старик Сократ с юными собеседниками

Протархом и Филебом. Причем Протарх, сын богача Каллия и, видимо, учившийся у софиста Горгия, повторяет партию Аристотеля из диалога «Парменид», а Филеб ограничивается лишь несколькими репликами. И это примечательно, так как Филеб, по имени которого назван диалог, не историческое лицо, а лишь символ, судя по его имени (греч. *philebos* — «любитель цветущей юности»), любителя наслаждений.

Если обратиться к диалогу «Политик», то и здесь Сократ ограничивается несколькими вводными репликами вначале, как и Феодор Киренский. Беседа ведется мудрым чужеземцем из Элеи (перед нами непосредственное продолжение «Софиста») и неким вымышленным лицом — Сократом Младшим, который в «Софисте» присутствовал в виде молчаливого персонажа.

Платон бегло упоминает, что Теэтет устал от предыдущей беседы и его место заступил юноша Сократ.

Все более заметно, как знаменитый Сократ, непременный участник бурных споров, постепенно отходит на задний план и его заменяют юноши-двойники, Теэтет и Сократ Младший, напоминающие собой его самого в молодые годы, а роль ведущего беседу выпадает на долю философов из элейской школы, занятых отвлеченной проблематикой бытия и его познания.

То здесь выступает сам Парменид вместе с Зеноном, а то безымянный их ученик, безупречно конструирующий схемы общих и частных понятий в определении софиста и политика. Недаром Платон сравнивает ход мысли, приводящий к обозначению царственного политика, с ткацким и шерстопрядильным искусством, когда мастерицы узелок за

узелком, петля за петлей из отдельных нитей создают прочную и надежную ткань.

Но вот даже и эта беседа, где почти уже нет места пытливой мысли Сократа, замирает.

В этом отношении особенно характерен такой же поздний платоновский диалог — «Тимей».

В «Тимее» ставится глубочайший вопрос о создании мира великим божеством, мастером-демиургом. Здесь, кроме Сократа, еще несколько действующих лиц, готовых к оживленной беседе. Но когда хозяин дома Критий увлекательно начинает рассказ об Атлантиде, буквально через несколько реплик диалог прерывается, и внимание слушающих сосредоточивается на приезжем философе-пифагорейце Тимее Локрском. Окружающие молчат, внимая теперь уже развернутому монологу Тимея, который рисует грандиозную картину построения Вселенной. Голоса Сократа здесь почти не слышно, и мудрое поучение находится целиком во власти Тимея.

Если пойти еще дальше и взглянуть на два самых больших сочинения Платона «Государство» и «Законы», каждое из которых занимает почти по целому толстому тому, то приходится признать такую деформацию диалога, которая уже трудно совместима с любимым жанром Платона.

В «Государстве» целых десять частей, или книг, множество действующих лиц. Но большею частью все это пассивные слушатели и молчаливые персонажи. Главное лицо этого сочинения Сократ. Рядом с ним родные братья Платона — Адимант и Главкон, к которым постоянно обращается Сократ и которые создают видимость беседы.

Еще ни в одном диалоге Платона не было столько молчаливых гостей, какие собрались в доме Кефала. Никакого участия в разговоре не принимают

сыновья Кефала — Лисий (будущий знаменитый оратор), Евтидем, Никерат, сын полководца Никия, софист Хармантид, другой софист — ученик Фрасимаха. Диалог превращается в размышление Сократа об идеальном государстве, и он только для видимости обращается к своим соседям, и те односложно ему поддакивают. Каким-то запоздалым напоминанием о давних бурных спорах с софистами является здесь фигура Фрасимаха из Халкедона, находчивого, умного, но упрямого и самоуверенного. Известно, что впоследствии он повесился, хотя проповедование житейской мудрости считал своей профессией. Фрасимах — единственный оппонент Сократа, который порывается вмешаться в разговор, и сидящие рядом его удерживают. Но тот, по словам Платона, как зверь, весь напрягшийся, набрасывается на Сократа и его собеседников, прекрасно замечая, что все они «играют в поддавки». Он давно раскусил иронию Сократа и его манеру прикидываться простачком. Этот напористый софист несколько оживляет беседу своей перебранкой с Сократом, вступая в нее в начале первой книги, где ставится вопрос о том, что такое справедливость.

Форма вопросов и ответов в «Государстве» удобна для Платона как проверка собственных мыслей и теории. И он то и дело заставляет робких собеседников подавать реплики, чтобы создать повод для дальнейшего развития идей Сократа.

Размышления в «Государстве» с трудом поддаются системе, и поскольку все сочинение есть как бы рассказ Сократа о бывшей давно встрече, то это очень хорошее основание для того, чтобы Сократ один пересказывал все реплики и один вел беседу за всех.

По сути дела, «Государство» — это как бы сценическое представление, где участвует один актер, разыгрывающий сразу все роли. Но только здесь не театр драматических ситуаций, а драматизм мысли, взятый в чистом виде и из-за сложности этого процесса трудно прослеживаемый, дифференцируемый и иной раз даже неуловимый.

«Законы» — произведение престарелого Платона, умудренного и разочарованного жизнью. Перед нами неторопливая беседа трех старцев, текущая медленно, с повторами, возвратами, углублением и оттачиванием мысли, строящей законодательство того общества, которое было теоретически создано Платоном в «Государстве».

Действие происходит не в любимых Афинах, а на Крите, родине мифического законодателя Миноса. Здесь встречаются гость из Афин (в котором соблазнительно видеть самого Платона), критянин Клитий и спартанец Мегилл, обсуждающие лучшее государственное устройство.

Два старца, гордые тем, что Зевс и Аполлон передали свои законы царю Миносу на Крите и Ликургу в Спарте, делятся своей мудростью с третьим, приехавшим из Афин. Беседа ведется в пути по жаркой дороге с передышками под тенью деревьев.

Впереди ждет беседующих святилище Зевса Идейского, и все трое ободряют друг друга речами. Но среди изобилия мудрых речей о жестких законах нового государства не хватает доброго смеха Сократа, его ласковой и хитроватой улыбки, его задорных вопросов. Сократ, непременный участник всех диалогов Платона, теперь слишком далеко. Сократ ушел, и с ним исчез пафос диалектического спора. Зато перед нами полное согласие собеседников, придумывающих все новые и новые тонкости, что-

бы регламентировать каждый шаг человека. Мысль их не движется от сталкивающихся противоречий, а вращается сама в себе, не выходя в бескрайние и опасные просторы духа. Она неподвижна, как день летнего солнцестояния, в который протекает беседа. Сократа впервые нет в последнем сочинении Платона, но зато здесь присутствует высший арбитр в виде некоего Ночного Совета, который уже мысленно придумывают для нового государства старцы. И этот совет старейшин (а в него, конечно, войдут и наши три спутника) состоит из десяти очень престарелых и очень беспощадных законодателей. Платон с тяжестью в сердце признается, что это «божественное собрание» держит в руках все государство и в предрассветном сумраке, еще до восхода солнца, решает судьбу каждого нового дня идеального общества.

Так заканчивается Платоном развитие его диалогов как драмы мысли, превращаясь постепенно в отрицание самой этой плодотворной формы, а значит, и упраздняя главного искателя истины и виновника страстных споров — самого Сократа.

Глава одиннадцатая

ИЛЛЮЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Какова бы ни была форма диалогов Платона, он чрезвычайно тщательно подготавливает протекание главной, находящейся в центре внимания автора беседы. Казалось бы, зачем нужно Платону так присматриваться к бесконечным мелочам и деталям, упоминать множество действующих лиц, объяснять подробности, поводы встречи героев, указывать на даты, числа, даже часы протекания

разговора. И когда все это обилие разбросанных очень непринужденно, а на самом деле заботливо распределенных фактов собрано воедино, то невольно рождается чувство удивительной правдоподобности событий, изображаемых в диалоге.

Мы приходим к выводу, что Платон был чрезвычайно озабочен тем, чтобы воспроизвести реально условия и основания для своих драматических сцен. В диалогах, где непременно фигурирует Сократ, Платон хочет казаться непредвзятым летописцем его славной жизни и представить ее как сцепление вполне реальных фактов, подтвердить которые готовы многие очевидцы. Здесь происходит явное стремление сконструировать иллюзию реального протекания действия во времени и пространстве. По закону компенсации Платон восполняет обилием приведенного материала полное отсутствие сведений, которые мог бы оставить, но не оставил потомству сам Сократ в своих так никогда и не написанных сочинениях.

Иллюзия реально становящегося бытия начинается у Платона с твердого установления времени, когда происходит то или иное событие. Если распределить диалоги Платона по шкале этого художественно-условного времени, то окажется, что они все связаны с фактами из жизни Сократа, начиная с юных лет и кончая его смертью. Причем группировка диалогов такова, что самые большие, сложные и даже громоздкие диалоги укладываются всего лишь в несколько дней. Биография Сократа предстает перед нами чрезвычайно сжатой во внешнем протяженно-временном отношении, но зато тем более поражают необъятность его духа и глубина его мысли.

Интересно и то, что в диалогах позднего перио-

да, написанных старым Платоном, Сократ рисуется или молодым, или очень условным, вне живых примет, или совсем отсутствует.

В диалогах раннего и зрелого времени перед нами тот Сократ, которого непосредственно знал и любил юноша Платон. Мы не думаем, что здесь происходит затемнение и стирание событий далекой юности в памяти Платона. Нет, просто Платон из области внешнего драматизма биографии Сократа, свойственного философу-художнику, переходит к области внутреннего драматизма, глубоких раздумий философа-теоретика, создающего свою систему, выходящую за пределы сократовского учения и требующую огромного напряжения логической мысли.

Сократ является перед нами пылким юношей то ли пятнадцати, то ли двадцати лет в диалоге «Парменид».

Платон никогда не знал такого Сократа, поэтому здесь меньше всего реальных примет, связанных с самим Сократом, но, чтобы оттенить его молодость, подчеркивается прекрасная, крепкая старость шестидесятилетнего Парменида и зрелое цветение сорокалетнего Зенона. Встреча происходит якобы около 449 года в Афинах, но Платон всячески отстраняется от того, чтобы его не упрекнули в неясностях или неточностях. Это так называемый пересказанный диалог, создающий перспективу во времени.

Свидетелей диалога, бывшего многие годы тому назад, уже почти не осталось, и примечательное событие излагается через третьи руки. В прологе некий Кефал из Клазомен (он не имеет ничего общего с Кефалом из «Государства», отцом оратора Лисия) рассказывает собеседникам о своем приезде вместе

с друзьями в Афины и о встрече с братьями Платона Адимантом и Главконом. Клазоменцы слышали, что Антифонт, сводный брат Платона по матери, был близок с другом философа Зенона Пифодором и от него знал о бывшей в давние годы встрече Парменида, Зенона и Сократа в Афинах. Клазоменцы и афиняне отправляются в дом к Антифонту, и тот пересказывает им со слов Пифодора и Зенона этот давнишний разговор.

Таким образом, Кефал излагает своим слушателям то, что он слышал от Антифонта, которому, в свою очередь, со слов Зенона передал Пифодор.

Всмотритесь в эту вереницу персонажей. Все это, главным образом, вполне реальные, исторические лица, и обстановка изображается непринужденно-естественная. Но временная перспектива столь удаляет от нас все подробности беседы, что она предстает перед нами в чистом виде и читатель даже не вспомнит ни непосредственного рассказчика, ни целого ряда его предшественников. Их голоса затихли где-то вдалеке, и беседа между элейцами и Сократом будто и не нуждается в посредниках. Иллюзия живого протекания разговора достигнута вполне. Но вместе с тем на всякий случай про запас всегда сохраняются не совсем достоверные свидетели этой беседы.

Действие «Протагора» будто бы происходит в 432 году, за год до начала Пелопоннесской войны. Место действия Афины, дом богача Каллия. Сократ — тридцатисемилетний цветущий человек, Критий, Агафон и Алкивиад — еще совсем юноши. Еще живы Перикл и его сыновья, умершие от чумы к началу войны. Все участники диалога исторические лица — софисту Протагору было 48 лет, Продику — 38. В диалоге множество деталей и мелочей,

уточняющих обстановку богатого дома, одежду и повадки гостей, суету слуг и слухи, ходящие по городу о приезде Протагора.

Эти подробности вполне естественны, так как диалог представляет собою рассказ Сократа некоему другу о только что бывшей встрече с Протагором.

В диалоге «Протагор» живой, молодой Сократ полон любопытства, задора, иронии и поэтому так насмешливо, точно и беспощадно рисует пышный ритуал явления Протагора собравшимся гостям и дает характеристики присутствующим. Однако в споре Сократ представлен чересчур умудренным и опытным, то есть таким, каким его знал хорошо Платон. Зато отдаленность времени создает видимость совершенно непредвзятой картины пока еще довольно благодушного спора между сторонами, не успевшими надоесть друг другу.

В «Государстве», «Тимее» и «Критии» тоже достаточно мелких подробностей, уточняющих время и место разговоров. Действие их происходит будто бы в 421 году, то есть когда Платону было всего шесть лет, а Сократ — полный сил сорокавосьмилетний мужчина. Уточняется и месяц беседы — таргелион (май—июнь), тот самый, в который родился Платон. Упоминается красочный праздник в честь Артемиды-Бендиды, почитаемой фракийцами и афинянами. Место беседы — Пирей, близ Афин, в доме оратора, сицилийца Кефала, приехавшего в Афины по приглашению Перикла и умершего в 404 году. Указаны даже часы, в которые протекает беседа. Она занимает время между дневным торжественным шествием в честь богини и вечерними лампадодромиями (бегом с факелами) тоже в ее честь.

Лица в доме Кефала — все реальные, исторические. Сыновья Кефала — Полемарх, Лисий и Евтидем, судьба которых была хорошо всем известна. В правление «тридцати тиранов» Полемарх без предъявления обвинения был приговорен к смерти и вынужден был выпить яд цикуты. Его брат Лисий бежал из Афин, а потом вернулся, чтобы стать знаменитым оратором. Здесь же родные братья Платона Адимант и Главкон. Свидетель разговора, Никерат, сын полководца Никия, погибшего в 415 году в Сицилийской экспедиции. Здесь же софист Фрасимах с учениками и поклонниками. Но примечательно, что все, кроме Фрасимаха, выполняют роль статистов, то ли молчаливых, то ли подающих необходимые реплики. Как уже было сказано выше, все «Государство» — пересказ Сократом беседы в доме Кефала, бывшей накануне, своим друзьям, с которыми он назавтра в доме Крития будет слушать рассуждения философа Тимея. Временной перспективы здесь совсем нет. Впечатления беседы совершенно свежи в памяти Сократа. Вот почему он так обстоятельно ее передает, со всеми мельчайшими оттенками и извилинами процесса мысли.

Нет ничего удивительного, что Сократ исполняет партии сразу за всех собеседников. Их голоса еще звучат в его памяти. И многочисленные гости в доме Кефала для Платона только предлог, чтобы раскрыть во всей полноте ход мыслей Сократа, а по сути дела говоря, свой собственный.

«Тимей» и «Критий» примыкают по времени их протекания к «Государству». Через два дня после Бендидий приносят жертвы Афине. Может быть, это праздник омовения Афины-Плинтерии. Участники беседы — Сократ, Тимей Локрский, пифагореец приблизительно семидесяти лет, Гермократ,

сицилийский полководец средних лет, и Критий, хозяин дома, родственник Платона. Пелопоннесская война в разгаре, но гости, видимо, приехали в момент затишья, возможно, в период Никиева мира (421 год до н. э.). Пройдет несколько лет, и Гермократ, беседующий с Сократом, станет вдохновителем победы над афинскими морскими силами в сицилийской кампании 415 года, которую потом драматически опишет Фукидид.

Здесь много мелких деталей, как будто необходимых для создания иллюзии действительности, но на самом деле вносящих путаницу в свидетельства отдаленных очевидцев и даже ставящих под сомнение фигуру Крития. А Платону, как писателю-художнику, как раз и нужно, с одной стороны, представить весь антураж «Тимея» и «Крития» как можно более реально и естественно, но вместе с тем сам рассказ хозяина дома о легендарной Атлантиде сделать настолько проблематичным, чтобы не нести за него никакой ответственности.

Автор устраняется от уточнения главных деталей, и вся тяжесть свидетельства перекладывается на рассказчика.

А ему, некогда десятилетнему мальчику, история об Атлантиде была рассказана его стодевяностолетним дедом, тоже Критием, который, в свою очередь, слышал ее от своего родича, знаменитого Солона. Что осталось в памяти десятилетнего ребенка, а теперь старика, который вспоминает те времена, когда стихи Солона были еще новостью, остается на совести рассказчика, а это как раз и нужно Платону.

Установив столь отдаленные временные взаимосвязи, Платон может со всей присущей ему богатейшей фантазией, не отвечая за истину древних

событий, живописно расписать мифическую войну атлантов и афинян, а затем и все устройство великой Атлантиды.

Временная перспектива столь отдалена, что автор может с ней никак не считаться, и она нужна ему только как повод или рамка для своего собственного повествования. Но иллюзия живой беседы и свежести воспоминания Крития сохраняется вполне.

В три дня месяца таргелиона 421 года Платон умещает три диалога, из которых одно только сочинение «Государство» занимает объем целого тома.

Сжатость фактического времени здесь предельная, но это никак не отражается на развитии излагаемых идей. Мысль сама по себе беспредельна, и никакие рамки реально ограниченного времени ей не помеха.

События «Федра» и «Пира» относятся Платоном к 416 году, когда Сократу было за пятьдесят, Федр был еще двадцатилетним юношей, а Алкивиад уже достаточно опытным в политике тридцатилетним мужчиной.

Мирный пейзаж на берегу реки Илиса, где под платанами на зеленой траве, среди тени прибрежных кустов и аромата летнего полдневного зноя пристроились Сократ и Федр, создает интимную обстановку доверчивых отношений старшего и младшего собеседников. Эта полная как будто достоверных подробностей и примет идиллическая обстановка в окрестностях Афин прекрасно гармонирует с темой диалога, посвященного определению любви. «Федр» логически объединен с диалогом «Пир» и его темой высшей красоты и высшего Блага. Однако связь эта ощущается не только в единстве логически-проблемном и временном, но

в самой атмосфере праздника. Сократ там и здесь в окружении молодежи, друзей, учеников. Знойная безмятежность летнего дня в «Федре» сменяется пиршественным торжеством в гостеприимном доме Агафона по случаю его победы в театре. И там и здесь настоящее духовное пиршество. И хотя в «Федре» редкостная для Платона картина непосредственной беседы, никем не пересказанной, а в «Пире» нас ожидает целое нагромождение посредников в рассказе, этот последний производит впечатление одной из острейших драматических сцен Платона.

В «Пире» рассказ ведется от лица ученика Платона Аполлодора Фалерского, идущего из дома в Афины и встретившего по дороге своего приятеля Главкона. Сам Аполлодор на пиру у Агафона не был, а слышал о нем от Аристодема, неотступно следующего за Сократом. Самое интересное, что все пиршественные речи об Эроте и подробности обстановки Аполлодор со слов Аристодема рассказывает своим друзьям 16 лет спустя (около 400 года), после пира у Агафона (около 421 года), воспроизводя полностью свою давнюю беседу с Главконом. Итак, перед нами открывается пересказ ведущего диалог лица собственной его беседы со вторым лицом о событии, услышанном от третьего лица.

Всю эту сложность отношений можно выразить так — Аристодем: Аполлодор — Аполлодор: Главкон — Аполлодор: друзья, то есть здесь тройная зависимость слушателей Аполлодора от исходного источника.

Метод передачи рассказа в рассказанном давно рассказе дает Платону полную свободу действий, одновременно создавая полную иллюзию реальных событий во времени и пространстве. В кон-

це концов читатель и вовсе забывает обо всех этих посредниках и упивается тонкостями застольных речей о боге любви и веселыми интермедиями. В финале «Пира» даже нет ни одного упоминания о рассказчике Аполлодоре. Он исчез бесследно. И только верный Аристодем, неожиданно появившийся в заключительной строке диалога, продолжает следовать, как тень, по пятам Сократа. Не для того ли, чтобы еще и еще раз поведать о своем учителе любопытным собеседникам, которые, в свою очередь, приукрасят увлекательным вымыслом очередное событие из жизни Сократа и разнесут его по свету?

Нарочито создаваемая Платоном иллюзия действительности опирается на столь отдаленную временную перспективу, что создает для Платона заманчивую возможность расцветить по своему желанию изображаемое, превращая сочинение философа в подлинно художественное произведение.

Диалоги триады «Теэтет», «Софист», «Политик» — очень сложные по типу развития внутренних перипетий мысли — примыкают один к другому не только в отношении постановки вопроса, но и происходят подряд в течение трех дней. В «Теэтете» тот же принцип, что и в «Пире», только временная перспектива уходит еще дальше. Перед читателем запись диалогов старика Сократа с его друзьями накануне судебного процесса. Запись эту сделал Евклид из Мегар со слов своего учителя Сократа, затем уточнял и восстанавливал давние страницы. В дни Коринфской войны (около 369 года) Евклид повстречался с тяжело раненным и больным Теэтетом, теперь уже человеком зрелых лет, которого везли из Коринфа через Мегару в Афины. Евклид делится впечатлениями об этой войне с Терпсио-

ном, старым другом, свидетелем кончины Сократа. Нахлынувшие воспоминания и просьба Терпсиона показать рукопись бесед Сократа и Теэтета приводят друзей в дом Евклида, где по их просьбе слуга читает друзьям почти буквальную запись, сделанную в чисто диалогической форме. Перспектива тридцатилетней давности при записи беседы Евклидом — превосходный прием Платона для того, чтобы оправдать отвлеченность мысли и тончайшее ее плетение в диалоге, а также постепенное отодвигание в тень Сократа, еще участвующего в первый день беседы, но во второй и третий день только наблюдателя и слушателя. Зато диалоги, построенные на поворотных моментах из жизни Сократа, переживания, которыми живет и мучается Платон в раннее время творчества, отличаются прямо болезненной остротой реальности. Здесь не требуется никакой нарочитой иллюзии достоверности. Трагическая фигура Сократа говорит сама за себя, и в ее неисчерпаемой колоритности залог притягательности тех произведений, где нет вообще никаких посредников и пересказчиков давно слышанных бесед.

В «Горгии», действие которого мыслится Платоном в 405 году, в «Меноне», беседе, которая относится автором приблизительно к 402 году, облик Сократа и его споры с настоящими идейными противниками получают наиболее драматическую окраску. Здесь тот Сократ, которого хорошо знал и помнил сам Платон. Писателю не требуется окружать героя вымышленными деталями и множеством якобы настоящих свидетелей. Теперь точная фиксация времени служит иной цели. Она не отстраняет события вдаль, откуда они кажутся в несколько сдвинутом плане — уче-

ние Сократа все больше приобретает черты учения самого Платона при том, что одновременно усиливается схематизм образа реального Сократа. Фиксация не прошлого, а только что бывшего, почти длящегося в настоящем времени, наоборот, укрупняет Сократа-человека, доводя до предела осязаемость его речей и поступков. Поэтому одиночество и покинутость Сократа, которые ощущаются в «Горгии» и «Меноне», обретают драматический исход в «Апологии» и «Критоне», где Сократ предстает перед судьями.

Но самое интересное — «Федон», — произведение зрелого самостоятельного Платона, формирующего свою концепцию идей, прощание с ученичеством у Сократа.

Здесь объединяются два художественных принципа — принцип биографического, реального драматизма личности Сократа и вместе с тем полная отстраненность от него автора, пересказ кончины Сократа Федоном пифагорейцу из Флиунта Эхекрату. Правда, Федон — непосредственный ближайший ученик и свидетель, а между гибелью Сократа и встречей во Флиунте, куда еще не дошли известия о печальном событии, прошло всего около месяца. Живость воспоминаний, прошлое как живое настоящее, и сам Платон, по болезни не присутствующий при кончине учителя, — замечательные предпосылки для создания максимально трагического эффекта прощания с Сократом.

Но по всему чувствуется — умирая, Сократ исцелен и еще вернется к жизни, только уже на страницах платоновских диалогов. И действительно, пройдет несколько лет, и в «Пире» Платон устами Алкивиада воздаст живому Сократу величайшую хвалу.

А когда Платон сам станет стариком и осуществит в «Законах» идеал сурового и жестокого законодательства, на страницах этого сочинения не найдется места Сократу, вся жизнь которого противоречила строгости и безликости закона. Как бы Платон ни расписывал приметы времени, когда состоялась беседа трех старцев вблизи критского Кносса (конец нового года, месяц скирофорион, июнь—июль, — с празднествами Афине и Зевсу, покровителям государства), все эти указания лишены реальности и имеют чисто символический характер. В «Законах» нет времени, и потому в них нет вечно спорящего и стремящегося вперед в поисках все новых и новых вопросов и ответов Сократа. Здесь время остановилось. Недаром действие происходит в канун Нового года, в самый долгий день, когда солнце в течение недели как бы стоит неподвижно, прежде чем день пойдет на убыль. Это день летнего солнцестояния и вместе с тем ожидаемого солнцеворота, канун нового аттического года, который начнется в первое полнолуние после солнцестояния, когда солнце войдет в тропик Козерога.

Сам Платон, как и три старца из «Законов», стоит на перепутье. Что получится из нового законодательства? Осуществится ли их идеально-суровое государство? Но на пороге ожидания перемен и на пороге смерти самого Платона («Законы» остались в черновиках) время остановилось и застыло. Исчезла не только сама действительность, но даже и иллюзия действительности.

Остались только символ и утопия, в которых не оказалось места для Сократа, живого, всегда действующего, остро чувствующего реальность бытия.

Глава двенадцатая

ПЛАТОН — МИФОТВОРЕЦ И УТОПИСТ

Платон был неисправимый мечтатель. Всю жизнь он стремился не только созерцать возвышенные идеи в стенах Академии, но отважно пускался в путь, часто с опасностью для жизни, чтобы претворить свои идеи в образец справедливого, просвещенного государства. Однако практические усилия Платона уже по одному тому, что они опирались на сиракузскую тиранию, так и остались бесплодными мечтаниями.

Зато для философского творчества Платона эти мечтания оказались чрезвычайно плодотворными. Они придали его сочинениям совершенно особый, изящный, тонкохудожественный оттенок, лишив их профессиональной сухости и узости.

Платон не только философствует строго научно и теоретически, пользуясь всем аппаратом логических категорий и неопровержимой устремленностью мыслей, но он с каким-то восторгом неожиданно погружается в самую замысловатую фантастику, вспоминая древние мифы, конструируя новые, наполняет их жгучей для его современности проблематикой, хочет вернуться в прекрасную поэтическую мечту и заставляет доверчиво следовать за собой читателя.

В сочинениях Платона настолько тесно переплетаются ученость и художественность, что разделить их невозможно так же, как немыслимо отделить Платона-философа и Платона-поэта. Можно сказать и так — ученое слово, или «логос» неразрывно связано у Платона с поэтическим словом — «мифом».

Если в логосе грек выражал свое умение в про-

цессе мысли расчленить, выделить, раздельно исследовать предмет, то в мифе с помощью небывалого воображения этот предмет представал как живая целостность, в которой обобщались опыт прошлого и мечты о будущем.

Миф и логос дополняют у Платона друг друга. Строжайший аналитизм, присущий рассуждающему логосу, слит у Платона с вымыслом мифа и его беспредельной изобретательностью*.

Платон был настоящим теоретиком и создателем философских идей, как это понимали именно греки. Их «теория» (*theoria*) означает не отвлеченное созерцание, а «вѝдение». Слово же «идея» (*idea*) есть предмет видения. И если герои Гомера «мыслят глазами», так как древний поэт не разделяет процессы умственной или психической и физиологической деятельности, то классический грек Платон все еще сохраняет непосредственность и свежесть поэтического мышления древних, занятый как бы умственным созерцанием или делая объектом ученого рассуждения не абстрактную, а «видимую» им предметность, то есть идею.

---

* Лингвистические данные подтверждают в слове «логос» (*logos*) его древний индоевропейский корень *leg-* — указывающий на вычленение, избирание, разделение. Отсюда греческое *legō* — «говорю», латинское *legō* — «читаю», то есть разделяю звуки или слоги, чтобы затем их объединить вместе, или латинское *elegans* («элегантный»), то есть буквально «избранный», или старорусское «лекарь», то есть буквально тот, кто произносит избранные слова для лечения, «заговаривания» болезни. Индоевропейский корень < **mūdh-*, < **meūdh-* объединяется с греческими *mythos* («миф»), <*ϝepos* («эпос»), латинскими *vox* («голос»), *voco* («зову») и наблюдается в славянском < **mūdslio* («мыслю»), готском *maudjan* («вспоминаю»), литовском *maūsti*, *maudžiū* («страстно желаю»), древнеирландском *smuainim* («думаю»).

Эта видимая, ощущаемая Платоном предметность наполнена жизнью и не боится никакого буйства воображения. Наоборот, мысль, обобщенная воображением — а это и есть миф, — чрезвычайно ценится. И совсем не страшно, если вымысел доходит до того, что недалекие люди могут счесть его ложью или выдумкой.

Недаром Платона укоряли иной раз в том, что он изображал реальных лиц, часто не сообразуясь с фактами. Но придирчивые критики были чересчур прозаичны и рациональны, не замечая того, как рядом с ними вырастает художественное произведение и что Платон как поэт и писатель имеет право на вымысел.

А что бы сказали эти критики, если бы обратились к Аристотелю, который считал главным в искусстве не изображение того, что есть, а того, что еще только может быть, находится в потенции, становлении?

Скорее правы были не критики Платона, а древние поэты, которые утверждали, что священная ложь ничуть не хуже, чем истина. Именно такая выдумка, или невероятный вымысел, роднит поэзию и миф. Ведь древний поэт Гесиод восхвалял муз, богинь искусства, дочерей Зевса, которые знают, что было, что есть и что будет. Это они — мастерицы говорить ложь и правду, соединяя в своих божественных песнях истину и вымысел, воображение и реальность. Музы обучили Гесиода, поэта и мифотворца, умению воспевать прошедшее и будущее. С тех пор истинная поэзия постоянно заряжена мифом, в котором это прошедшее и будущее сплетаются в одно неразрывное целое.

Таким образом, Платон, с юности тонко чув-

ствующий поэзию, неизбежно должен был обратиться к мифу. И миф этот не столько был у него беспредметной сказкой и воспоминанием о прошлом, сколько устремлением в будущее, ибо он был рожден вдохновенным воображением и раздумьем о судьбе человека и общества.

Здесь несомненно сказался характер Платона-мечтателя, пытавшегося воплотить в жизнь свой идеал высшего Блага и абсолютной истины. Но поскольку практические попытки Платона неизменно терпели крах, ему оставалось созерцать в мысли и свое наилучшее государство, и своего наилучшего правителя, и свои наилучшие законы.

Идеал философа и мудреца тоже оказался в области мечты, так как суровая действительность жестоко расправилась с тем живым Сократом, который учил афинян не казаться добрыми и справедливыми, а быть таковыми на деле.

Этот идеал был окрашен Платоном в тона восхищения и отличался такой изобретательностью, что сам Сократ однажды, слушая молодого Платона, воскликнул: «Клянусь Гераклом, сильно же навыдумал на меня этот юнец». Но «выдумка» увлекающегося Платона обладала такой поэтической магией слова, что околдовала целые поколения, которые уже не отделяли реального Сократа и созданный поэтом идеал философа.

Однако идеал справедливости и добра в человеческой жизни, оказавшись в области платоновских мечтаний, уходит от философа все дальше и дальше. Встает вопрос: а может быть, Платон отчаялся найти этот идеал в той действительности, которую собираются построить его герои? Если это так, то вполне закономерна попытка найти воплощение высшей справедливости и конечного торжества до-

бра пусть хотя бы в мире потустороннем или на другой земле, не нашей, а занебесной.

Одним из существенных, необходимых элементов диалогов Платона является миф, причем не просто заимствованный из богатейшего общегреческого наследия, а созданный самим философом как некое поэтическое слово, завораживающее человека.

Грекам издавна была известна небывалая сила слова, а значит, и мифа, и поэзии. Они были убеждены в отдаленные времена, что магия слова заклинает, околдовывает, заговаривает, исцеляет или напускает порчу. Слово, произнесенное с верой и убеждением, небезразлично. Если древние мифы почитались как священное слово, то поэт, наследник мифотворцев, да еще вдохновленный музами, тоже создавал возвышенные слова, исполненные глубочайшего убеждения.

Поэтому Платон пишет о мифах, что они очаровывают душу, что через них можно научить человека добродетели и возвестить божественную мудрость. Будучи предметом глубокой убежденности Платона, его мифы не нуждаются в логических доказательствах. Миф говорит сам за себя. В него поэт верит горячо и непосредственно, так как в мифе заключен тот идеал, который выношен и выстрадан Платоном.

Платон, философ и поэт, уверенно возводит здание своей мечты о совершенной красоте, в чем бы она ни воплощалась, — в науке, обществе, морали, законодательстве. Его миф устремлен в будущее вопреки всем стародавним традициям, которые всегда мифологизировали и идеализировали прошлое.

Миф Платона живописен, многокрасочен и «вылеплен» («пластичен», по выражению филосо-

фа в «Тимее»), как художественное произведение. Поэтому от него нельзя ждать логических доказательств и точной аргументации. В нем всегда есть недосказанность, эскизность, даже небрежность отделки, как при обтесывании глыбы мрамора. Некоторые мифы создают впечатление незавершенности, но в этом и состоит их прелесть. Они выписаны размашисто, яркими мазками, наложенными уверенной кистью мастера, которым руководит не логика, а вера в реальность своего мифотворчества, наполненного живыми многострадальными людьми в поисках вечной истины.

Именно жизненное ощущение мифа раскрывает перед Платоном множество художественных возможностей, когда переплетаются воедино трагическое и комическое, серьезное и ироническое, тяжеловесное великолепие и интимное изящество. Миф постоянно сопровождается у Платона размышлением, логосом, и от этого его поэтичность становится еще более удивительной.

Вот перед нами в «Пире» среди сугубо аналитической и логически аргументированной беседы о том, как достичь высшей красоты и высшего Блага, повествуется история рождения Эрота, бога любви. Наряду с установлением его характерных черт Платон с улыбкой рассказывает о пире богов в честь рождения богини Афродиты и о страсти Бедности-Пении к Богатству-Поросу.

Здесь веселые боги пьют нектар, потому что вина тогда еще не было. Нищая, жалкая Пения стоит у дверей, прося подаяние, а Порос засыпает опьяненный, в роскошном саду. Пения хитростью рождает от этого самодовольного красавца сына, Эрота, спутника Афродиты. Но в нем в поразительном единстве запечатлены все противоположные чер-

ты матери и отца. Как мать, Эрот всегда беден, некрасив, не нежен, но груб, неопрятен, не обут, бездомен, спит на земле под открытым небом, не выходит из нужды. Но он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному. Он храбр, смел, силен, жаждет разумности, достигает ее, всю жизнь занят философией, то есть любовью к мудрости. Он искусный чародей и колдун. Он ни бессмертен, ни смертен. Он то живет и расцветает, а то умирает и оживает опять. Все, что он приобретает, идет прахом, отчего он ни богат, ни беден. Эрот, как оказывается в конце концов, даже и не бог. Это сама любовь к прекрасному, вечное стремление к красоте, а значит, и вечные поиски мудрости, никогда не довольствующейся ее обладанием и постижением.

Если принять во внимание, что миф об Эроте вложен в уста Сократа, то можно прийти к любопытной догадке. Не является ли этот образ, созданный Платоном-мифотворцем, символом самого Сократа, бродящего по дорогам мудреца, некрасивого, бедного, босого и в жалком одеянии, но зато смелого и мужественного искателя истины и красоты?

А вот как забавно изображается здесь же в «Пире» якобы придуманная комиком Аристофаном мифологическая история о людях-половинках. Некогда на земле обитали чудовищные существа, с четырьмя руками и ногами, с двумя лицами, с глазами, смотрящими в противоположные стороны. Передвигаясь, такой чудовищный человек шел колесом, перекатываясь на восьми конечностях. И замыслы подобных людей были ужасны — взобраться на небо и покорить богов. Зевс не хочет убивать мерзких людей громами и молниями. Кто же тогда

будет приносить богам жертвы? Но он решает рассечь их на две половинки.

Зевс разрезал их так, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. Каждому из людей Аполлон поворачивал в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней. Стянув кожу со всех сторон, Аполлон завязывал ее, как завязывают мешок, и получился живот с пупком посредине. Груди же Аполлон придал четкое очертание с помощью орудия, каким сапожники сглаживают на колодке кожу. И даже на память о прежнем искусный бог оставил этим людям немного морщин возле пупка и на животе. Люди, ставшие наподобие камбалы половинками, страдали от одиночества и разыскивали друг друга, чтобы соединиться.

Так и каждый из нас, заключает уже серьезно рассказчик, ищет всегда по миру соответствующую ему половину, и Эрот есть не что иное, как стремление человека к изначальной целостности. И здесь веселая мифологическая история, вымышленная Платоном, обобщается им до возвышенного символа, который дошел вплоть до наших дней. Многие, никогда не читавшие Платона, знают об этом влечении двух человеческих половинок, не имея понятия о смешной ситуации, в которой родился этот глубочайший символ.

В диалоге «Федр» изображается великолепное шествие богов и человеческих душ по небесному своду. Каждая душа — соединенная сила коней крылатой колесницы и ее возничего.

Великий предводитель на небе Зевс на крылатой колеснице едет первым. За ним целое воинство богов и демонов, выстроенных в одиннадцать рядов, и каждый имеет своего предводителя. Боги, отправ-

ляясь на праздничный пир, поднимаются к вершине неба по краю поднебесного свода. Кони их идут легко, по крутой отвесной дороге, не теряя равновесия до тех пор, пока не выйдут наружу и не станут на хребте неба. И теперь уже сам небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба.

А что же души бедных смертных людей? Они то рвутся выше, достигая занебесной области, а то опускаются вниз, и кони рвут удила, не давая душам подняться на вершину. Кони несутся по кругу в глубине неба, храпят, топчут друг друга, напирают, уже возничие не могут с ними совладать. Уже ломаются безжалостно крылья. И души, отягченные дурным и безобразным, притягиваются к земле, ломают и теряют крылья, отдаляются от вершины неба и возвращаются на землю, чтобы воплотиться в материальное тело и начать новую жизнь до очищения души. И так целых десять тысяч лет не возвращается душа из земного плена в небесные сферы, пока вновь не вырастут у нее крылья. Только душа человека, искренне возлюбившего мудрость, окрыляется за три тысячи лет. Остальные же души отбывают наказание в подземных темницах, искупая свою причастность злу.

Этот миф с полной достоверностью рисует судьбу человека в бесконечной будущности, где блаженство обещано Платоном, не без умысла, только тому, кто искренне возлюбил мудрость. Мудрец чужд зла и безобразия. Он весь во власти добра и красоты, а значит, сопричастен богам и достигнет вершины небесного свода.

В «Государстве» рассказывается совсем уж поразительная история, или миф, о судьбе некоего отважного человека Эра из Памфилии, который был

опасно ранен в сражении, и на двенадцатый день, когда приступили к погребению погибших, ожил, лежа на костре. Душа его за этот промежуток успела побывать в ином мире. Сам же Эр удивил всех достоверным описанием своих загробных странствий.

Здесь, конечно, рисуется суд над умершими, которым предписывается идти или на небо, или в расселину под землей. Судьи привешивают душам на грудь знак своего приговора. Платон так увлекается рассказом, что изображает души умерших как настоящих живых людей. Одни из них в грязи и пыли, пройдя под землей долгий путь испытаний, другие чистые, спустившиеся с небес. И все располагаются на прекрасном лугу, как во время всенародных праздников. Они целуют друг друга, вспоминают знакомых, расспрашивают о земных и небесных делах. Одни со скорбью и слезами, натерпевшись на земле, другие с радостью повествуют о небесном блаженстве и поразительной красоте занебесных высей. Эр же стоит, по велению судей, рядом, наблюдая за всем, вслушиваясь и вглядываясь, чтобы стать вестником для живого мира.

А как страшен рассказ о наказании тиранов на том свете! За все злодейства тирана устье подземной расселины его не принимает, издавая глухой рев. Тогда какие-то дикие огненные существа хватают тирана, вяжут его по рукам и по ногам, накидывают петлю на шею, валят наземь, сдирают с него кожу и волокут по колючкам, чтобы сбросить в Тартар. Так протекают в справедливом суде семь дней.

На восьмой души идут так, чтобы за четыре дня добраться до места, откуда виден луч света, соединивший небо и землю. Он как радуга, только ярче и чище ее. С этого светового столпа свешиваются

концы небесных связей. Ведь этот столп — узел неба; им, как брусом на кораблях, крепится небесный свод. На концах связей висит веретено богини Ананки-Необходимости, или Судьбы.

Это веретено сияет разными оттенками цветов, в которые окрашены восемь его вдетых друг в друга полых сфер. Один из кругов пестрый, другой белый, иной — красноватый, некоторые желтые. Все веретено в целом вращается, но внутренние семь кругов медленно поворачиваются в противоположном направлении и неравномерно. Отсюда — переливчатость цветового сияния всех восьми сфер мирового веретена, которое на коленях, как настоящая пряха, держит Ананка.

На каждом круге веретена восседает по сирене, и каждая из них издает только один звук всегда определенной высоты, что создает стройное созвучие восьмичлена, или октавы, рождающей музыку небесных сфер.

Около сирен сидят три Мойры — богини Участи, дочери Ананки — Лахесис, Клото и Атропос. Они все в белом, с венками на головах. В лад с голосами сирен Лахесис — та, что дает выбрать человеку его жребий, — воспевает прошлое. Клото, прядущая нить жизни, воспевает настоящее. Атропос, та, которая не поворачивает назад, определяет направление нити и воспевает будущее. Втроем они помогают вращению веретена.

Души людей покорно ждут своей участи. Наконец некий прорицатель, взяв с колен Лахесис жребии и образчики жизней, всходит на высокий помост, чтобы бросить в толпу пригоршни жребиев. Каждый должен добровольно избрать себе жребий предстоящей жизни, не обвиняя ни в чем божество.

Эр становится свидетелем выбора жизней, часто случайного, непродуманного, без внимания к последствиям или, в память о прошлых страданиях, совсем удивительного. Кто-то выбирает по неразумению жребий тирана, а потом бьет себя в грудь и горюет, увидев свое страшное будущее — пожирание собственных детей и бесчисленные злодейства. И этот человек пришел с неба и был там очищен от зла предыдущей жизни. Но он не был закален в трудностях, и добродетель его была делом привычки, а не зрелого философского размышления. Тот же, кто пришел сразу после земных странствий, выбирал с осторожностью, не торопясь, сознавая свою ответственность за судьбу в новой жизни.

Иные даже выбрали жребий животных и птиц, разуверившись в людях. Орфей избрал жизнь лебедя, поэт Фамирид — соловья, а герой Аякс — льва. Насмешник, издевающийся над всеми — Ферсит, — облачился в обезьяну. Самой последней выбрала себе новую жизнь душа знаменитого Одиссея. Вспомнив страдания и тяготы, отбросив честолюбие, она долго разыскивала жизнь обыкновенного человека, далекого от дел. Все ею пренебрегли, и Одиссей насилу нашел ее. А затем вся вереница, готовая к новой жизни, направилась к Лахесис. Каждому по его выбору богиня давала в спутники гения жизни. Тот, в свою очередь, вел душу к Клото, чтобы она утвердила избранную участь. Прикоснувшись к руке богини, душа шла к третьей, Атропос, которая делает нити жизни неизменными. И вот души теперь уже могут идти к престолу самой Ананки, проходят сквозь него и в страшный зной отправляются на равнину реки забвения Леты. Уже под вечер проходят души к реке под названием Амелет, то есть «уносящий заботы», воду которой надо испить в меру,

чтобы совсем не утерять память. Все мирно ложатся спать, но в полночь среди грома и землетрясения души каким-то вихрем несутся в разные стороны, где им суждено родиться для нового круговорота жизни. Как звезды они рассыпаются по небу.

Самому же рассказчику Эру не дозволено было ни поднять с земли жребий, ни испить воды. Он не знал, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись, он увидел себя лежащим на костре.

В заключение Сократ говорит, что вера в этот благочестивый миф спасет человека, и он легко перейдет через Лету и не осквернит души своей. Здесь Платон наполняет глубоким смыслом мастерски вылепленный миф. Человек должен сам отвечать за избранную им жизнь, не обвиняя ни обстоятельства, ни богов. В какую бы пучину тысячелетних странствий ни бросала судьба человека, ему надо держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость и разумность.

Платон достиг необычайной яркости и рельефности в изображении той благодатной и счастливой жизни, о которой только может мечтать человек и которая остается за пределами его досягаемости.

С горечью пишет философ в «Федоне» о нашей несовершенной земле, изрезанной глубокими впадинами, куда стекают вода, туман, воздух и где обитаем мы, люди, среди ила и грязи, как рыбы на дне моря, смутно представляя себе солнце и небо и никогда не выбираясь на бескрайние просторы. О, если бы люди могли увидеть занебесные выси и ту истинную землю, что покоится в истинном небе, пеструю, как цветочный мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи, и излучающую истинный свет.

Краски там яркие и чистые. Они то пурпурные,

то золотистые, то белее снега. Деревья и цветы там прекрасные, а камни гладкие, прозрачные, не изъеденные гнилью и солью, те самые сердолики, яшмы и смарагды, жалкие кусочки которых мы так ценим в нашей бедной жизни.

Занебесная земля изобилует золотом и серебром, что лежат прямо на ее поверхности. А люди, обитающие там, счастливые, вдыхающие тончайший эфир. Они никогда не болеют, живут долго. У них острое зрение и слух. Они отличаются особенным разумом и пребывают в полном блаженстве, созерцая Солнце, Луну и звезды такими, каковы они на самом деле. Как отличается вся эта небывалая красота от нашей начальной жизни в расселинах земли и от тех странных глубин в чреве земли, где терпят мучения злодеи и святотатцы! Человек, говорит Платон, должен вырваться из серых будней своей приземленной жизни и, совершенствуясь морально и духовно, стремиться к занебесным высям, пусть даже недосягаемым, но вечно зовущим и сияющим своей идеальной красотой.

А ведь Вселенная, по мнению Платона, была создана мудрым строителем, мастером-демиургом (греч. *demioyrgos* — ремесленник) по его собственному подобию. Он, как мудрый и добрый отец, придумал все части космоса, придал ему сферическую, круглую форму и наделил его таким совершенством, что он, будучи живым, вместе с тем не нуждался ни в глазах, ни в слухе, ни в органах пищеварения, ни в ногах и руках. Он вращался сам в себе, созерцая самого себя и довольствуясь познанием самого себя.

Космос всегда молод и вечен, ибо он не знает бега времени, а значит, и старости. Таким в полноте блаженства создал великий мастер свое идеальное

детище. И люди были задуманы демиургом по подобию живого космоса. Однако у мастера-демиурга осталось в сосуде лишь немного прежней смеси, из которой он создавал космос, и от нового перемешивания она утеряла свою чистоту, поэтому те, кто населил Вселенную, оказались смертными, а значит, подверженными как добру, так и злу, как возвышенным чувствам, так и тягчайшим порокам. Отсюда — горестная судьба человечества.

Платон высоко оценивает заложенные в человечестве силы, но его мечта — чтобы они творили благо и красоту, проявляя хотя бы частицу своего бессмертного начала. Пока же вокруг себя Платон видел слишком много несправедливостей и преступлений общественных и частных. Он готов помочь человеку избавиться от своего несовершенства, но, как мы уже знаем, его готовность остается в пределах утопии и мифа.

В своем огромном сочинении «Государство» Платон строит модель вот такого исправленного и улучшенного человеческого общества.

Во главе идеального государства стоят философы, созерцатели чистых и вечных идей, которых защищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные земледельцы и ремесленники.

Философы и воины не имеют никакой частной собственности и беспощадно караются за хранение золота и серебра. Собственность — привилегия крестьян и мастеровых, ибо она не мешает работать, будучи губительной для тех, кто предан высоким размышлениям. В этом государстве нет замкнутой семьи, отягощенной бытом. Здесь совместные браки, и дети воспитываются на общественный счет, зная, что их общий родитель — само государство,

которому люди преданы с малых лет. Из идеального города изгнаны размягчающие душу мелодии и песни. Здесь допускается только бодрая, воинственная музыка, душу укрепляющая. И воспитание направлено на укрепление ума и прекрасного тела.

Сколько раз в новой Европе, каждый раз на свой манер, варьировалась эта вечная тема платоновского идеального государства!

Как не вспомнить Ямбула с его государством Солнца или философа Плотина, строившего счастливый город в честь Платона! А в эпоху Возрождения мечтают великие утописты Томазо Кампанелла («Город Солнца»), Томас Мор («Утопия»), Фрэнсис Бэкон («Новая Атлантида»). И начало XIX века все еще полно утопических мечтателей, таких, как Роберт Оуэн, Сен-Симон и Шарль Фурье.

Но все эти заманчивые конструкции со времен Платона оставались несбыточными, утопическими, буквально «не имеющими места на земле» (греч. *оу* — нет, *topos* — место), достоянием великих мечтателей. А сам родоначальник бесчисленных утопий, находясь на пороге смерти, все еще разрабатывал проекты лучшего в мире государства («Законы»), которым будут управлять десять мудрых старейшин, установивших суровое законодательство, чтобы человек полагался только на них, а не на свою волю и страсти. Да и какая может быть своя воля у человека, рассуждал старый Платон, если все мы куклы, нити которых приводит в движение божественная рука? Поэтому надо ограничить свои потребности, упразднить богатство и роскошь, думать о пользе общества, воспевая в хороводах мудрость законов. И это еще одна утопия Платона, жестко и насильно ограничивающая человека.

Платон, отчаявшись в практическом преобразо-

вании несправедливого тиранического государства, то зовет к далекой старине, где вся ответственность ложится на плечи мудрых старейшин, а то укрепляет мораль и устои государства насильственным путем, теми же самыми жестокостями, что были в обычае у тиранов.

Почтительный страх перед богами и законами, будто бы освещенными божественной волей, оказывается основой счастливого общества. Безвыходность такой утопии вполне очевидна. И сам Платон ее великолепно чувствует, когда называет и «Государство», и «Законы» не чем иным, как «мифами», осуществление которых он относит к неведомому будущему, сам не очень-то веря в то, что оно настанет.

Взгляды Платона в поисках идеала обращаются и к старинным преданиям о некоем золотом веке, предмете воздыхания современников и предшественников Платона. Как сожалеет поэт Гесиод о том, что ему приходится жить в железный век, когда господствует право кулака, не уважают старших и бедный дрожит в когтях богатого! За 400 лет до Платона Гесиод с тоской обращается к прошлому, когда люди золотого века не знали труда, а земля сама рождала им пропитание. Или как в серебряном веке до ста лет люди пребывали в детском возрасте. И даже смерти не было у праведных людей, а они погружались в подобие сна или наслаждались жизнью на островах Блаженных.

Прошлое для античного человека было притягательно и заманчиво. Платон первый обратил свои мысли к счастливому будущему. Но мы видим, как сурово строилось в государстве это предписанное законами счастье. Платон — плохой политик и прекрасный поэт — то с надеждой строит идеальный

город будущего, то ищет его образец в отдаленном прошлом, и там и здесь обращаясь к мифу как сплаву поэзии и мысли.

Одна легенда особенно волнует Платона, та, которая и поныне никого не оставляет равнодушным, — легенда об Атлантиде. Эта замечательная история была рассказана, по преданию, предку Платона, афинскому законодателю Солону египетскими жрецами, у которых он набирался мудрости.

Для египтян с их тысячелетним прошлым, записанным в загадочных иероглифах, греки всегда оставались детьми, юными умом, не сохранившими никакого учения, переходящего из рода в род.

В диалоге «Тимей» египетский жрец повествует Солону о древних Афинах, граждане которых мужеством были подобны основавшей их город богине. Некогда афинское государство положило предел дерзости несметных воинских сил, шедших со стороны Атлантического моря на завоевание Европы и Азии. В те далекие времена через это море еще можно было переправиться, так как перед проливом, образуемым Геракловыми столпами (Гибралтар), лежал громадный остров, превосходивший размерами Ливию и Азию, взятые вместе. Этот гигантский остров назывался Атлантидой, и с него можно было добраться до противоположного материка, охватившего настоящее, бескрайнее море, а не тот небольшой его кусочек в виде залива, что именуется Средиземным.

Заметим, что Платон вполне резонно именует здесь Атлантику морем, так как Океаном в мифах называлась река, которая омывала со всех сторон землю. Атлантида была во власти мощного союза царей, овладевшего частью материка и по эту сторону пролива, Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении (Этрурия в Средней Италии).

И вот эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство все страны по эту сторону пролива. Именно тогда Афины дали всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы. Афины стали во главе всех эллинов. Из-за измены союзников они остались в одиночестве, но все-таки одолели завоевателей. Одних Афины спасли от рабства, другим — дали свободу.

Невиданное землетрясение и наводнение погубило и победителей, и побежденных. Разверзлись земля и море, поглотив воинскую силу афинян и Атлантиду, погрузившуюся в пучину. Море снова сомкнулось, и только большие мели, мешающие судоходству, и громадные скопления ила и земли напоминают об осевшем на дно острове.

Легенда об Атлантиде*, кратко изложенная в «Тимее», дала Платону повод с гордостью вспоминать о славных подвигах предков и вместе с тем была поводом к подробному рассказу о некогда счастливом государстве, погубленном богами за его пороки. Платон как бы предупреждает и себя самого, и тех, кто мечтает о прекрасных законодательствах, чтобы законы соблюдались непреложно, а граждане были доблестными духом и добрыми душой.

В диалоге «Критий» повествование развивается с множеством подробностей. Оказывается, как рассказывает Критий, потомок Солона, что война между Афинами и атлантами была девять тысяч

* Со времен античности происходили споры о существовании Атлантиды. Ее существование признавали философ Посидоний, естествоиспытатель Плиний Старший, поздние философы неоплатоники, и особенно Прокл, опиравшийся на сведения некоего безвестного Маркелла и его сочинение об Атлантиде. Были в античности и скептики, как историк и географ Страбон. Иные видели в рассказе Платона символические образы противоположностей.

лет тому назад (беседа Сократа, Крития и их друзей происходит будто бы в 421 году до н. э.), а судьба Афин и Атлантиды была связана с тем, как боги поделили между собой земные владения.

Гефест и Афина, с их любовью к мудрости и художеству, получили в удел Аттику, где мужчины и женщины славились добродетелью и совместно совершали воинские подвиги. Особенно почитались в этой стране воины, ничего не имевшие в частном владении и совместно владевшие всем необходимым, совсем как в идеальном государстве, о котором мечтал Платон.

Воины обитали в столице Аттики на акрополе, вокруг святилища Афины и Гефеста, в то время как ремесленники и землепашцы — вне акрополя, по склонам холма. На северной стороне акрополя воины имели общие жилища, помещения для общих зимних трапез и домашнее хозяйство. Жили они в большой скромности, не владея ни золотом, ни серебром и после смерти передавая дома в неизменном виде своим преемникам.

На южной стороне холма были сады и гимнасии. Источник снабжал жителей в изобилии водой. Число мужчин и женщин сохраняли постоянным, и взяться за оружие могли около двадцати тысяч человек. Воины управляли справедливо всей Элладой, и во всей Европе и Азии не было людей более знаменитых и прославленных красотой тела и добродетелью души.

В описании Платона вполне определенно чувствуется его увлеченность государственным строем Спарты, или Лакедемона, где скромность и доблесть особенно ценились, где женщины занимались атлетикой и были неустрашимы в бою, где сохранились общие трапезы, так называемые сис-

ситии, где воспитывали детей на общественный счет и где старейшины эфоры ограничивали власть царей, правивших вдвоем во избежание злоупотребления властью.

Однако атланты, противники афинян, тоже были древнего рода и происходили от грозного морского бога Посейдона, сочетавшегося в любви со смертной девушкой Клейто.

Посейдон и Клейто имели пять пар сыновей-близнецов, между которыми был поделен весь остров. Родившийся первым из старшей пары близнецов стал впоследствии царем, а его братья — старейшинами-архонтами, владевшими своей частью земли и людей.

Старший Атлант передавал царский сан по наследству, и весь народ получил наименование атлантов.

Платон с воодушевлением рисует богатство острова. Здесь были редкие ископаемые, огромные леса, дикие животные и во множестве слоны. Земля выращивала плоды, злаки, овощи и деревья, приносящие яства, напитки или умащения.

Этот некогда священный остров поражал изобилием и красотой, рожденными действием солнца. На огромной равнине, в центре ее на холме был расположен главный город с акрополем, царским дворцом, храмом, окруженным двумя земляными и тремя водными кольцами.

Атланты провели от моря канал вплоть до крайнего водного кольца и создали этим доступ с моря, словно в гавань. Земляные кольца, разделявшие водные, были прорыты каналами, смыкавшимися с мостами такой ширины, что от одного водного кольца к другим могла пройти одна триера. Сверху каналов настлали перекрытия, под которыми про-

ходили корабли. Самое большое в окружности водяное кольцо имело в ширину три стадии, как и земляные кольца, следующие были в два стадия шириной и, наконец, в один стадий.

Холмистый остров в окружении этих колец имел пять стадий в диаметре. Его окружили каменными стенами, а на мостах у проходов к морю оставили башни и ворота. Камень черный, белый и красный добывали на острове и в недрах земляных колец, а перекрыв сверху углубления каменоломен, устраивали стоянки кораблей. Стены, украшенные медью и литьем из олова, испускали огнистое блистание.

В центре холма храм Клейто и Посейдона был обнесен золотой стеной. Здесь совершались жертвоприношения. Был храм, посвященный одному Посейдону, выложенный серебром, золотом и орихалком (сплав золота и меди). Золотые изваяния Посейдона и ста нереид на дельфинах украшали храм. Вокруг же него — статуи потомков Посейдона.

К услугам царей были два источника — холодной и горячей воды. Их обнесли стенами и сделали роскошные купальни для царей, знати, простых людей, женщин, коней и подъяремных животных.

В священной роще Посейдона росли деревья неимоверной красоты и величины, а на земляных кольцах были расположены святилища, гамнасии, сады, ипподром, помещения для копьеносцев, а рядом верфи, наполненные триерами.

Корабли из всех стран мира шли к причалам богатейшего города. И всё в этой стране было на удивление благоустроенно. Даже вся земля в виде прямоугольника была окопана громадным каналом, принимавшим в себя потоки с гор, бегущие к морю. Многочисленные каналы соединяли между собой

противоположные части равнины, и по ним сплавляли лес, а воду использовали для орошения.

У атлантов царили строго соблюдаемые законы, гражданские и военного времени. Каждый участок огромной равнины острова поставлял одного воина-предводителя (а таких участков было 60 тысяч), под начальством которого было несметное число воинов. Боевых колесниц на случай войны насчитывали 10 тысяч, кораблей — 1200. Начальник отряда поставлял, кроме $^1/_6$ части боевой колесницы, двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную упряжку, воина с малым щитом, чтобы, сойдя с коня, биться пешим, возницу для упряжки, двух гоплитов — тяжело вооруженных воинов, двух лучников и пращников, трех камнеметателей и копейщиков, четырех корабельщиков.

Если подсчитать отряды всех 60 тысяч предводителей, то все вооруженные силы атлантов насчитывали: 10 тысяч боевых колесниц, 1200 военных кораблей, 120 тысяч всадников на 120 тысяч лошадей, 60 тысяч упряжек с 60 тысячами возниц, 60 тысяч легковооруженных воинов, 120 тысяч гоплитов, 120 тысяч лучников, 120 тысяч пращников, 180 тысяч камнеметателей, 180 тысяч копейщиков, 240 тысяч корабельщиков. Итак: 60 тысяч предводителей на суше вели в бой 780 тысяч воинов и 10 тысяч колесниц, а на море они имели под своим началом 1200 кораблей с полной командой. Такого войска никто никогда не имел, и все трепетали перед мощью Атлантиды.

Десять царей острова правили согласно древним законам Посейдона, записанным на орихалковой стеле в храме великого бога. Именно там, через каждые пять-шесть лет, попеременно, совещались цари об общих заботах и творили суд, принеся присягу. Присяга скреплялась жертвоприношением

Посейдону. Быка из храмового стада закалывали в святилище, и его кровь омывала стелу с законами. Суд совершался ночью, когда, погасив все огни, при свете жертвенного костра, вокруг которого в роскошных иссиня-черных одеждах восседали цари, произносились приговоры.

Единство государства поддерживалось тесным союзом десяти царей. Они не имели права воевать друг с другом и при малейшей угрозе обязывались друг другу помогать.

Могла ли долго продолжаться такая блаженная жизнь на острове, где все как будто было предусмотрено мудростью богов?

Боги предусмотрели действительно все в своем законодательстве. Они забыли только, что законы соблюдаются людьми, а атланты давно утеряли ту божественность своей крови, которая связывала их с Посейдоном.

Долгие годы владетели острова презирали все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и груды сокровищ. Они не теряли власти над собой и хранили трезвость ума.

Но вот через много поколений божественная кровь в жилах царей иссякла, и возобладал человеческий нрав.

Теперь жизнь властителей и их народа представляла собою постыдное зрелище.

Атланты уже были не в силах переносить собственное богатство и изобилие. Правда, чужестранцам жизнь этого благословенного острова все еще казалась удивительно прекрасной и счастливой. А в глубине этой жизни кипели безудержная жадность и сила.

И боги вновь обратили взор на свой избранный народ, но взор этот был полон гнева.

Зевс, отец всех богов, требовательно следивший за соблюдением законов, возмутился развращенностью потомков Посейдона и решил наложить на них кару. Он созвал на совет всех богов в свой великолепный дворец в средоточии мира и обратился к собравшимся с такими словами...

Здесь, на самом интересном месте, Платон оборвал свое сочинение. Мы не узнаем никогда, что за речь держал Зевс перед олимпийцами. Однако, зная дальнейшую судьбу атлантов, их дерзкое нападение на афинян и победу афинян, можно вполне предположить содержание этой речи.

Если перебрать в памяти схожие ситуации среди людей и богов, известные из античной мифологии, то картина Зевсовой кары станет вполне понятной.

Зевс не впервые наказывал людей. Он наслал на род человеческий потоп, среди которого спаслись только двое — Девкалион и Пирра. Из камней, брошенных ими, на земле снова появились люди. Впоследствии Зевс снова пытался уничтожить жалкий и несовершенный человеческий род, чтобы «насадить» новый. Знаменитая Троянская война тоже есть следствие мольбы матери-Земли к Зевсу покарать людей за их нечестие. Хорошо известно, что Зевс по совету бога-насмешника Мома решил уничтожить людей в междуусобной войне, то есть их же собственными руками. В Троянской войне сначала погибла сожженная греками-ахейцами Троя, а потом уже, возвращаясь на родину, нашли смерть вожди-победители и их потомки.

Вполне естественно также представить себе гнев Зевса, созерцающего то нравственное падение, до которого дошли атланты.

Как не вспомнить здесь знаменитую речь отца богов, великого строителя мира в платоновском

«Тимее», когда он обратился к подвластным богам с речью о создании рода человеческого.

Тогда, когда мир был молод и только еще предстояло родиться первым людям, он сказал: «Боги богов! Я — ваш демиург и отец вещей. Выслушайте, чему наставит вас мое слово». А слово это заключалось в том, что мир окажется незавершенным, пока не будет населен людьми. Однако если эти существа возникнут и получат жизнь от самого демиурга, то они будут равными богам, чего никогда не должно произойти. Люди — не боги, они придут на землю смертными, так как их создадут потомки демиурга, объединяя смертные семена и начатки с бессмертными.

Посейдон, который вступил в брак со смертной девушкой Клейто, произвел потомство героев, в котором объединялись бессмертное и смертное начала. Но, как в «Тимее», чистота смеси в сосуде, из которой создавался видимый мир, была уже второго и третьего порядка, так и в «Критии» атланты утеряли постепенно свою божественную связь с Посейдоном и стали подвергаться всем жизненным соблазнам.

В «Тимее» торжественная речь строителя Вселенной возвещает о рождении тех, кто будет населять мир. В «Критии» Зевс готов объявить богам свое решение о предстоящей гибели атлантов.

Мы уже знаем по рассказу египетского жреца Солону, как обрушились атланты на эллинов и как двадцать тысяч афинян взялись за оружие, предводительствуя всей Элладой. Гордость завоевателей была сломлена, а боги завершили их поражение, наслав страшную бурю, когда морская пучина поглотила не только разбитое войско, но и всю некогда счастливую Атлантиду.

Когда мы читаем Платона, нам кажется, что он, находясь в плену своих утопических мечтаний и творя легенду о великом прошлом своего народа, не может тем не менее оторваться от сравнительно недавних его побед. Платон, род которого был тесно связан с историей Афин, как бы заново переживает то, о чем ему рассказали в детстве, и то, чем восхищались поколения греков — великой победой над персами при Марафоне (490 год до н. э.), Саламине (480 год) и Платеях (479 год).

Сколько раз воспевали греки эти победы маленького свободного народа над тысячами тысяч персидских завоевателей, над их бесчисленными войсками и кораблями, угрожавшими Элладе на суше и на море. Стоит почитать историю Геродота или трагедию Эсхила «Персы», чтобы понять, какой подвиг совершили греческие города во главе с демократическими Афинами, выйдя с честью из многолетней войны с деспотической державой царя Ксеркса

Легендарная победа афинян над атлантами, о которой пишет Платон, вся проникнута патриотической гордостью Платона за реальные деяния предков и уверенностью в том, что эллины, несмотря на все испытания, выйдут победителями и в будущем.

Так утопист, мечтатель и мифотворец Платон невольно оказывается втянутым и в историческое прошлое своего родного города, и в его историческую действительность, снова со всех сторон угрожавшую и Афинам, и всем греческим полисам уже в середине IV века до н. э.

Парадоксальное явление — Платон, который так активно восставал против подражательной сущности искусства и изгнал из идеального государства

поэтов с их воображением и вымыслом, сам оказался прекраснейшим поэтом, удивительным мечтателем и выдумщиком, завораживающим своих слушателей магией слова.

Глава тринадцатая

КОНЕЦ ЖИЗНИ

Пока Платон был занят мечтами о преобразовании сицилийской тирании в просвещенную монархию, пока он трижды с огромными трудами и опасностями ездил в Сиракузы, пока он собирал у себя учеников со всего известного тогда мира, писал знаменитые диалоги и создавал свою философскую систему, сидя в стенах любимой Академии, — проходила жизнь.

Жизнь эта, которая открылась Платону встречей с Сократом, обернулась для него горькой утратой учителя, странствиями в поисках мудрости и, наконец, обретением своей собственной, продуманной и выстраданной истины не в дальних странах, а у себя дома, в тихих садах Академии. И как бы ни уединялся Платон под сенью раскидистых платанов, отгоняя суету мира, тот неизменно втягивал философа в бурный водоворот событий, таких, что не придумает ни один мечтатель.

События же эти были тягостными не только для Платона и его друзей. Они задевали каждого любящего свою родину честного человека. Такому человеку, да еще если он, как Платон, прожил долгую жизнь, стоило задуматься над превратностями судьбы и Афин, и всей Греции.

Прошли те времена, когда Афины были первым полисом Греции, куда стекались деньги и бо-

гатства из всех городов и где вершилась судьба эллинских государств. Непримиримая старая вражда греческих городов-государств, соперников в экономической, политической и военной гегемонии, породившая почти тридцатилетнюю Пелопоннесскую войну, так и не затихала. С окончанием войны в 404 году до нашей эры все участники этой страшной междоусобицы оказались разоренными, истощенными и ослабленными. С тех пор никогда больше ни Афины, ни Спарта, ни их союзники не могли оправиться от многолетних потрясений.

Но на беду всем полисам, междоусобные войны то и дело вспыхивали в самом сердце Греции. В 490—480-х годах соперничали три крупнейших полиса: Афины, во многом утерявшие свои демократические традиции, аристократическая Спарта и Фивы, где постоянно шла борьба олигархов и демократии. Теперь Афины славились не победами и завоеваниями, а Платоновской академией. Спарта гордилась знаменитым полководцем, царем Агесилаем, а Фивы — борцами за демократию, Эпаминондом и Пелопидом.

Философствование Платона в садах Академии шло под грохот Коринфской войны (394—387 годы до н. э.) между враждующими Спартой и Фивами. Союзниками фиванцев были Коринф, Аргос и Афины, так что родной город Платона был втянут в изнурительные военные действия.

Но и Платон оказался причастным к последствиям этой войны, когда известный афинский полководец Хабрий был обвинен в потворстве Фивам и чуть ли не в измене. В это время союзы городов менялись с нестерпимой быстротой, так как в греческие дела вмешивались постоянно и персы, и македонцы, сталкивая одних и миря других.

В Коринфскую войну, когда Афины помогали Фивам, Хабрий заставил отступить непобедимого спартанца Агесилая, угрожавшего фиванцам. Но прошли годы, и когда в 366 году Афины и Фивы снова оказались во враждебных лагерях, Хабрия обвинили в измене, вспоминая его давнюю помощь фиванцам. Оратор Лаодамант (а ораторы в эти годы были главными политиками) требовал для Хабрия смерти, той самой «сократовской цикуты», которая когда-то потрясла афинян. И здесь Платон, памятуя о беззащитности своего старого учителя, поднял голос в защиту Хабрия, отстаивая долг дружбы.

Слава Платона была столь велика, что на сей раз его друга миновала чаша с цикутой. Хабрий погиб за Афины в морском сражении у Хиоса в Союзническую войну (357/56 г.), и его гробница находилась в ряду самых почетных по соседству с Академией, постоянно напоминая Платону и о его друге, и о его решительном заступничестве.

Бурные события за пределами Академии нет-нет да и давали о себе знать.

Платон был свидетелем борьбы фиванцев со Спартой. Фивы выдвинули в 480—460-е годы двух прославленных защитников демократии — Эпаминонда и Пелопида. Афины, затаив дыхание, наблюдали за тем, как мощные фаланги спартанцев были разбиты Эпаминондом в 371 году в битве при Левктрах, когда погибли спартанский царь Клеомброт и тысяча его лучших гоплитов. Если эта битва непосредственно не отразилась на Платоне, то зато она ощутимо задела другого ученика Сократа — Ксенофонта, который после своих военных походов в Малой Азии и Греции под предводительством царя Агесилая мирно жил с женой и двумя сыновьями в Скиллунте, имении, подаренном ему спартанцами.

Трудами самого Ксенофонта имение было благоустроено, старательно возделано и давало хороший доход от садов и пашен, радуя рачительного хозяина. Он, теперь уже старик, на покое сочинял книги о своей службе у Кира Младшего, о царе Кире Старшем, писал знаменитые воспоминания о Сократе и истории последних войн между греками. Дружба с царем Агесилаем стоила Ксенофонту лишения гражданства в Афинах. Когда же спартанцы были разбиты при Левктрах, Ксенофонт вынужден был спешно переселиться в Коринф, потеряв многолетний приют, бросив на разорение прекрасную усадьбу. Правда, в 369 году Афины вновь объединились со Спартой и Ксенофонта простили, забыв его спартанские симпатии. Но он, зная непостоянство афинян, уже не вернулся на родину.

Если старик Платон был в 362—361 годах занят сицилийскими делами и едва спас там свою жизнь, то Ксенофонт, старше его почти на двадцать лет, опять оказался свидетелем тяжелых событий на родине. В 362 году в битве при Мантинее между спартанцами и афинянами, с одной стороны, и фиванцами — с другой, был убит сын Ксенофонта Грилл. Когда об этом событии пришло известие отцу, тот совершал жертвоприношение богам и в горести снял с головы праздничный венок. Услышав, однако, от вестника о мужественной гибели сына, старик торжественно водрузил венок на голову и сказал знаменитые слова: «Я знал, что сын мой смертен».

Так то один, то другой из ближайших учеников Сократа, не встречаясь друг с другом десятки лет, невольно были свидетелями и даже участниками тягостных событий в греческих землях.

К этим событиям примешивались бесконечные

интриги персов, сталкивавших между собою греков. Разве могла забыть Персия тот разгром, который нанесли великой восточной державе предки нынешних ненадежных союзников-греков в знаменитой греко-персидской войне в начале V века до н. э.?

Но что самое страшное, на севере у границ Фессалии вырастало и крепло новое государство — Македония, эта некогда дикая страна, властители которой стремились набраться образованности и приглашали, не скупясь на милости, к своему двору выдающихся греков, в царствование Филиппа II (359—336 годы до н. э.) оказалась самым агрессивным и опасным соседом Греции. Филипп не только расширил македонские владения и пытался подчинить себе Персию, но претендовал на власть в самой Греции, где только что закончилась неудачей война фиванцев за гегемонию внутри страны.

Филипп славился дипломатическими интригами, прекрасно обученным войском и щедростью в оплате открытых союзников и тайных предателей. Там, где не пройдет солдат, там всегда пройдет осел, груженный золотом, — любил повторять Филипп, незаметно подкупая и прямо покупая целые города, лежавшие на его пути.

Филипп шаг за шагом двигался в сердце Греции, методично захватывая окраинные города. Сначала, в 358 году, это был Амфиполь в Восточной Македонии, бывший владением то Афин, то Спарты. Афины, занятые войной со своими союзниками (острова Родос, Кос, Хиос) и угрозой персидского вмешательства, не могли оказать помощи Амфиполю, тем более что Филипп заранее заключил с ними мир.

Вслед за этим Филипп умело использовал сложные отношения между Афинами и городами Хал-

кидики, тоже, в сущности, расположенными на старых македонских землях. Он не раз переманивал на свою сторону город Олинф, захватил Пидну и Потидею в 356 году, передав последние олинфянам. Прибрежная Метона тоже сдалась Филиппу, затем через Фессалию, куда его призвали на помощь Алевады, попутно захватив западную Фракию, Филипп проник в глубь Греции, где опять шла новая междоусобица под именем Священной войны (356 год до н. э.) против фокейцев, захвативших клочок земли во владениях дельфийского оракула, общегреческой святыни. Пока амфиктиония, то есть союз городов, охранявший неприкосновенность Дельф, подстрекаемый Фивами, воевал с провинившимися фокейцами, Филипп под предлогом помощи Фивам погрузился с головой в чисто греческие дела.

Оказывалось так, что Филиппа постоянно призывали недовольные и обиженные города, он вечно кому-то помогал, восстанавливая справедливость с помощью денег или военной силы, и все больше становился непременным участником и арбитром в спорах соперничавших греческих полисов.

Филипп неизменно угрожал Афинам, которые пока еще служили оплотом независимости эллинов. В 352 году он уже оказался под Фермопилами в разгар Священной войны. В 349 году он, изгнав фессалийских тиранов, против которых не раз его звали на помощь, овладел Фессалией. В 349—348 годах захватил окончательно Халкидику с Олинфом, беспощадно разорив богатый город. Одновременно он поднял восстание на Эвбее, и афиняне потеряли этот большой остров, простиравшийся у самых берегов Беотии и Аттики.

Платон, к счастью, не дожил до того, как в 346 году Филипп бессовестно подкупил афинских

послов, как он вторгся через знаменитые Фермопилы в сердце Греции и дотла уничтожил Фокиду под предлогом окончания Священной войны и как, наконец, он стал членом Священной амфиктионии, охранявшей Дельфы.

В год смерти Платона (347) известный оратор Эсхин, глава афинского посольства, предал интересы родного города. Несмотря на обвинения Демосфена, он не только оправдался, но и возглавил в дальнейшем промакедонскую партию.

Платон, к счастью, не дожил до того позора, когда крупнейшие деятели греческих городов открыто высказывали идеи добровольного подчинения Филиппу. Престарелый философ уже не узнал, что друг его молодости, знаменитый оратор Исократ, не желая терпеть македонское иго, покончил с собой и что его ученики до Академии Гиперид и Демосфен отчаянно боролись с царем Филиппом. Демосфен погиб от собственной руки, чтобы не попасть к врагам, а Гиперид был казнен приспешниками Филиппа.

На старости лет Платон мог судить о драматических поворотах Тюхэ, изменчивой случайности, правящей миром, только по слухам и рассказам. Он узнал, что его любимого друга и ученика Диона убили афиняне, братья Каллипп и Филострат (по другим сведениям — один Каллипп), в доме которых жил некогда в Афинах Дион и вместе с которыми был посвящен в мистерии богинь, причастных к смерти и возрождению, Деметры и Коры. Страшная смерть Диона (353 год до н. э.) в Сиракузах после многолетней борьбы, как будто увенчавшейся наконец победой, потрясла Платона. Ведь Каллипп поклялся в храме Деметры и Коры, богинь-законодательниц, в своей непричастности к

заговору против Диона, а сам зарезал его, как жертву, в праздник обеих богинь. Правда, Тюхэ повернулась спиной к убийце, и ему самому перерезали горло кинжалом, тем, что нанес смертельный удар Диону. Недаром, когда эти страшные новости дошли до Афин, многие вспоминали старую поговорку: «Доблестные люди в Афинах не знают себе равных в доблести, а порочные в пороке. И это так же верно, как то, что земля Аттики приносит лучший в Греции мед и сильнейший из ядов — цикуту».

Дошли до Платона смутные сведения и о судьбе надменного тирана Дионисия. Его также бросала из стороны в сторону богиня Случая. Изгнанный из Сиракуз Дионом, он жесточайшим образом правил в италийских Локрах и, видно по всему, забыл об уроках философии. В год смерти Платона Дионисий вернулся в Сиракузы, но Платон не узнал никогда, как через много лет этого тирана позорно выбросили из Сиракуз, и он влачил жалкое существование где-то в Коринфе, чуть ли не зарабатывая себе на жизнь обучением детей. Какая ирония судьбы! Бывший тиран, не имея подданных, испытывал свою злость деспотического учителя на обучаемых им детях. Дионисия люди недаром считали самым убедительным примером непрочности человеческого счастья, зависящего от прихотей все той же богини Тюхэ.

Волновала Платона судьба еще одного близкого ему человека, Аристотеля, одного из любимых учеников.

Аристотель был младше Платона более чем на сорок лет, и он явился из родного глубоко провинциального городка Стагиры на Халкидике семнадцатилетним юношей в Афины, в Академию, с жаждой овладеть философией.

Платон в это время отсутствовал, находясь на пути в Сицилию, и учитель познакомился с учеником только после возвращения в родные стены. С тех пор двадцать лет, до самой смерти Платона, Аристотель был, как его называл старый философ, «умом собеседования» (*noys diatribes*) и лучшим «чтецом» (лектором), который имел право вести в Академии самостоятельные занятия. Аристотель был глубоко предан Платону. И хотя в нем зрели начала его собственной теории, он как верный ученик не отважился покинуть Академию до 347 года, когда Платона не стало.

Платон умер, так и не узнав (и это, может быть, было и хорошо), что Аристотель сблизился с македонцами. Ведь его отец Никомах был давним другом македонских царей и придворным врачом отца и деда Александра Македонского. Аристотель даже использовал свое влияние, отправившись, в момент смерти Платона, с афинским посольством к царю Филиппу, защищая от жестокости занятые им города на Халкидике.

Много воды утекло с тех пор, как Платон крепким тридцатилетним мужчиной избрал Академию своим родным домом. Воспитанный в строгости и благородной сдержанности, он с юных лет был, как рассказывали, стыдлив, не смеялся громко, держался пристойно. Это не была робость, а именно сдержанность сильного и сосредоточенного в себе человека. Он старался не приобретать привычек, хотя бы и самых безобидных. «Привычка не мелочь», — говорил Платон. Поэтому он никогда не пил без меры и не спал излишне. Зато читать и писать разрешал себе, как желала душа. Работа стала не привычкой, а жизнью. Иной раз люди докучали ему, мешая думать, и он их сторонился. Пла-

тон не любил негодовать и громко выражать свои чувства. Даже когда он вспоминал убийц Диона, то ограничивался всего несколькими суровыми словами, оставляя подробности и переживания для летописцев. Гнев он считал недостатком для философа. И когда однажды разгневался на раба, то не стал его наказывать, боясь несправедливости, а просил своего ученика Ксенократа наказать его.

Но когда надо было поднять свой голос против тиранов, за обиженных, попранную справедливость, утверждение истины, Платон не страшился смерти. Пострадать за свое государство было для него вполне естественно и просто. «Слаще всего говорить истину», — не раз слышали от Платона его друзья. Оставить людям хорошую о себе память было ему небезразлично. Но память эту он воплощал в своих книгах. Ведь до последней минуты он читал и писал. В день смерти на его ложе нашли книги любимых им с юности комиков Аристофана-афинянина и сицилийца Софрона. Лежа в постели больной, он писал и поправлял «Государство» и «Законы». Ученики приняли из его рук экземпляр «Государства» с его собственными поправками и черновые таблички «Законов», которые потом выпустил в свет Филипп из Опунта, один из ближайших его друзей.

К людям Платон относился благожелательно и к старости стал мягче, привыкнув иметь дело с доверчивой молодежью. Ему была чужда пифагорейская надменность и преклонение перед авторитетом, когда глава философской школы «сам сказал» и никто не смеет ему противоречить. Однако, выслушивая и уважая непонимающего, он никогда не пускался, как Сократ, в беседу с любым встречным и не бродил по площадям и улицам. Зато обычно,

когда он шел в Олимпию, на встречу с Дионом, все эллины с восхищением смотрели только на него.

Этого знаменитого человека, ставшего легендой, многие любили, и многие ему были обязаны. Вокруг всегда были друзья, долг дружбы соблюдался твердо. Платон был неисправимый мечтатель с доверчивой душой. Может быть, поэтому знаменитый Тимон, проклявший род человеческий и уединенно живший за стенами Афин, с презрением и ненавистью бросая камни в прохожих, удостаивал разговором одного лишь Платона.

Умер Платон в 347 году, по преданию, в день своего рождения, а значит, в день рождения Аполлона.

Завещание Платона оказалось крайне скромным. Выполнить его последнюю волю надлежало племяннику философа Спевсиппу и еще шести душеприказчикам.

За долгую жизнь Платон приобрел два небольших имения, одно он оставил своему ближайшему родичу Адиманту, а другое — на усмотрение друзей. Денег было всего три мины, да еще две серебряные чаши — большая и малая, золотой перстень и золотая серьга. После смерти хозяина остались четыре раба, а рабыню Артемиду он отпустил на волю по завещанию. И еще есть приписка — «долга никому не имею». Зато каменотес Евклид так и остался Платону должен три мины.

Погребение Платона совершили в Академии. Роднее для него не было места.

Платон справедливо говорил, что страсть к славе — это последнее одеяние, которое мы сбрасываем с себя умирая. Но эта страсть проявляется в нашей последней воле, в похоронах и надгробиях. Недаром, по свидетельству древних писателей, на гробнице философа начертали три надписи.

Первая гласила:

Знанием меры и праведным нравом отличный меж смертных,
Оный божественный муж здесь погребен Аристокл.
Если кому из людей достижима великая мудрость,
Этому — более всех: зависть — ничто перед ним.

Вторая:

В лоне глубоком земля сокрыла останки Платона,
Дух же бессмертный его в сонме блаженных живет.
Сын Аристона, ты знал прозренье божественной жизни
И меж достойнейших чтим в ближней и дальней земле.

И третья, как говорят, позднейшая:

Кто ты, орел, восседящий на этой гробнице, и что ты
Пламенный взор устремил к звездным чертогам богов?
Образ Платона души я, к Олимпу полет устремивший,
Тело ж земное его в Аттике мирно лежит.

Почти через 800 лет после смерти Платона философ Олимпиодор вспоминал стихи, по преданию, выбитые на могиле Платона.

Двух Аполлон сыновей — Эскулапа родил и Платона,
Тот исцеляет тела, этот — целитель души.

В Академии перс, сатрап Митридат, воздвиг, как мы уже говорили, статую Платона с надписью: «Митридат персидский, сын Родобата, посвящает Музам этот образ Платона, работу Силаниона». Филипп Македонский глубоко чтил философа, афиняне, в свою очередь, поставили ему памятник недалеко от Академии.

Сам о себе Платон ничего не писал и упомянул себя лишь дважды — в «Апологии» и «Федоне». Но когда его спросили однажды, будут ли о нем писать,

он ответил: «Было бы доброе имя, а записчики найдутся».

Доброе имя Платона утвердилось на века, и римлянин Брут, последний республиканец, убийца Цезаря, оказался воспитанным на платоновском учении, полагавшем ненавистным любое проявление тирании.

Платон умер, а деревья в садах Академии разрастались, и еще долго шли туда в поисках высшей мудрости люди, памятуя, что главное не просто овладеть этой мудростью, но вечно стремиться к ней*.

Глава четырнадцатая
ВЕЧНОСТЬ ФИЛОСОФИИ

Перед нами прошла жизнь Платона, изложенная на основании фактов, собранных его почитателями и учениками, античными биографами и авторами жизнеописаний знаменитых философов или коллекционерами редкостей, для которых имели одинаковую ценность историческое событие, древняя легенда, афоризм великого человека или анекдот из его жизни.

Но мы не современники и не потомки Платона, жившие после него всего через каких-нибудь несколько столетий. Мы живем в XXI веке нашей эры. Почти два с половиной тысячелетия отделяют нас от эпохи греческой классики и от Платона. С этой вершины мы можем представить себе

---

* В 529 году византийский император Юстиниан закрыл Академию как рассадник языческих идей. Еще раньше, в 391 году император Феодосий издал указ о закрытии всех языческих храмов. Веротерпимость христианских государей к языческим традициям удивительна.

жизнь и учение великого человека далекого прошлого гораздо объективнее, более непредвзято, чем те, кто находился рядом и часто судил, движимый эмоциями, а не беспристрастным изучением фактов, не только биографических, но и фактов творческой жизни.

Знаменитый римский историк Тацит гордился тем, что он пишет *sine ira et studio* — «без гнева и пристрастия», хотя и ему это не всегда удавалось.

Попробуем и мы, изучив всесторонне все, что писал сам Платон, а не только то, что писали о нем, представить в целом жизнь и учение великого идеалиста.

Пусть это будет не похвальное слово, энкомий, или осудительная инвектива, которые так любили древние писатели. Истинно великий человек не боится ни «горьких осуждений, ни упоительных похвал». Он велик именно своей сложностью, противоречивостью, внутренним борением с самим собой, окружающей действительностью и часто даже — со своей эпохой.

Жизнь Платона, по крайней мере на главных этапах, оказалась весьма трагической. Одно разочарование неизменно следовало за другим. Уже осуждение и смерть Сократа по существу разрушили в нем веру в силу разумного убеждения, а между тем Платон всю жизнь только и делал, что старался убедить людей силой слова. Едва ли это было трагедией одного лишь Платона. Еще в большей степени это было трагедией Греции конца классического периода, когда греческие города-государства были накануне гибели, так что Платон всего только девяти лет не дожил до Херонейской битвы и до Панэллинского конгресса в Коринфе, означавших конец политической самостоятельности Греции.

Новой эпохой был эллинизм, период крупного рабовладения (мелкое рабовладение уже изжило себя) с его огромными военно-монархическими империями, поглотившими старый классический полис. Платон ничего не знал о наступающей огромной эпохе. Но как и все принципиальные люди его времени, он судорожно искал выход из окружавших его социально-политических отношений. Выходом для него оказалась утопия. Платону рисовалось идеальное государство во главе с философами, созерцателями чистых и вечных идей, которых защищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные земледельцы и ремесленники. Кого могла спасти в те катастрофические времена такая «идеальная» утопия? На примере сицилийских поездок Платона видно, что практически она имела нулевое значение даже при сочувствии к намерениям Платона со стороны некоторых государственных и общественных деятелей.

Платон был убежден, что существует абсолютная истина, и весь трагизм его положения заключается в том, что он верил в немедленное и всестороннее осуществление этой истины. Платон рассуждал приблизительно так: начертите на песке круг. Он несовершенен и полон всяких отклонений от идеального круга. Но ведь так легко, имея перед глазами этот несовершенный круг, представлять себе идеальный круг и строить точнейшую науку о нем. Почему же этот простой метод не применить к человеческому обществу? Давайте скажем преступнику, что он — преступник, и давайте усовестим его. Он тут же и перестанет быть преступником, и на первый план выступит его идеальное человеческое поведение. Это невозможно? Но почему же это возможно с кругом, столь несовершенно начерченным

на песке? Вот и попробуйте убедить Платона в том, что человеческая жизнь не есть геометрия. Он этого не понимает и не хочет понимать. В его утопии нет ни малейших сдвигов, ни малейшего развития и ровно никакого историзма. Все абсолютно, и все, что есть, уже осуществлено навеки.

Многие исследователи Платона ломали себе голову по поводу положения класса земледельцев и ремесленников в «идеальном» государстве Платона. Многие думали, что это просто рабы и что именно это означает у Платона увековечение рабовладельческого государства. Однако его ремесленники не рабы, они свободны, но, конечно, лишь в меру той свободы, которая допускается в «идеальном» государстве.

Земледельцы и ремесленники уже по одному тому не могут быть у Платона рабами, что два других его сословия — философы и воины — лишены всякой частной собственности. Кому же в таком случае могут принадлежать земледельцы или ремесленники? Более того, лишь одному этому сословию и предоставлена у Платона экономическая свобода. Члены его производят продукты потребления, они самостоятельно продают эти продукты, они входят в экономические отношения с иностранцами. Все это строжайше запрещено и философам, и воинам. Скорее можно было бы говорить не о рабском состоянии «третьего» сословия у Платона, но о каком-то своеобразном крепостничестве, и притом крепостничестве государственном, а не личном; такого крепостного нельзя ни продать, ни купить, нельзя даже вмешиваться в его экономическую жизнь. Недаром Платон не раз ссылается на социально-политический строй Спарты с ее илотами, государственными крепостными. Платон даже допускает переход из сословия земледельцев и ре-

месленников в сословие философов, если для этого найдутся природные данные у представителя «третьего» сословия. В сущности говоря, все сословия у Платона закабалены одним — служением вечному и абсолютному миру идей.

Разделение умственного и физического труда абсолютизировано и увековечено на все времена: одни только мыслят или воюют, другие только кормят. Разделение труда, преподносимое Платоном в виде абсолютной нормы, несомненно, заимствовано из практики рабовладельческой формации и доведено до степени египетского кастового строя. Созерцание же идей, которое является профессией сословия философов, обосновано у Платона недостаточно. Ибо что созерцают платоновские философы, кроме небесного свода с его вечно правильными, механически и геометрически размеренными движениями? В этой закабаленности небесным сводом, мы бы сказали, тоже отражается бесчеловечность и непрогрессивность рабовладельческой формации. Общественные отношения, возникающие по законам геометрии или астрономии, являются отношениями чертежника к его чертежу. Если одно сословие только чертит, а другое является только чертежом, то это очень близко к тому, что обыкновенно называется рабовладением. Следовательно, независимо от своего непосредственного содержания утопия платоновского «Государства» в конечном счете отражает рабовладельческую основу эпохи разложения греческих полисов.

Помимо общественно-политической и одновременно личной для Платона трагедии погибающего полиса он переживал еще одну трагедию, в которой сам едва ли отдавал себе отчет, но которая тоже заставляла его чувствовать отчаяние и полное бесси-

лие в итоге своего беспокойного жизненного пути. Это была трагедия всякого идеализма вообще, плохо понимающего невозможность преобразования жизни при помощи одних только идей. В практической деятельности это помешало ему пользоваться идеями как материальной силой и сводило его участие в политике к проповедям, увещеваниям, уговорам, к призывам следовать идеалам, к красноречию. Поэтому становится понятной мучительная необходимость, с которой идеалист превращается в утописта, в мечтателя, в бессильного, хотя, может быть, и очень яркого фантазера и реставратора старины. Это было для Платона не меньшей трагедией, чем все его сицилийские неудачи; подобного рода трагедию нужно признать явлением типическим. Платон здесь только один из самых ярких образцов.

Будучи именно реставратором погибшей старины, Платон хотел оставаться и фактически всегда оставался по преимуществу идеологом греческой классики давнего периода греко-персидских войн. Во всяком случае, никакой другой социально-политический строй не заслужил от Платона таких дифирамбов. Знаменитые победы при Марафоне, Саламине, Платее, всколыхнувшие волну эллинского патриотизма, не давали покоя Платону в течение всей его жизни. Необходимо отметить, что идея такой реставрации старинных доблестей имела и положительную сторону. А именно: она всегда заставляла Платона избегать всякой изысканности, изощренности и психологических зигзагов культуры эллинизма, канун которого уже был недалеко, когда жизнь Платона клонилась к закату. Все его суждения о жизни и философии, вся проповедуемая им мораль, его утопия, эстетика, мифология и религия всегда строились у него по строгим моделям наивных и суро-

вых классических идеалов. Это было реставрацией, поскольку в его времена уже никто не жил в таком стиле, и тем самым это было одно из последних проявлений все того же строгого классического идеала. Как Демосфен, действовавший исключительно в области политики, трагически погиб, борясь за независимость греческих городов, так и Платон в области чистой теоретической мысли остался до конца верен строгим и суровым идеалам старой Греции, прогрессивной и демократической или консервативной и аристократической, в спартанско-критском духе. Но это пристрастие к прошлому не мешало Платону чрезвычайно любить подлинную живую жизнь. Это видно в сотнях и тысячах его выражений, художественных образов, в его философских концепциях и биографических данных. В этом смысле он чужд всякого аскетизма. Он непрестанно любуется красотой небесного свода, морями и реками, платанами и цветущими вербами, красотой сильного и здорового мужского тела, нежным обликом ранней юности. В своем самом «аскетическом» диалоге, в «Федоне», он наделил потусторонний мир всеми жизненными красками обыкновенного чувственного мира. Он вечно спорит и горячится, вечно ищет и исследует; даже и писать-то он не мог иначе как только в форме диалога, в которой так сильно и красиво сказался драматизм его мысли. Платон завещал человечеству ненасытную жажду знания, влюбленность во все разумное и рациональное, восторг перед диалектикой, философскими концепциями и просто наукой.

Известно, как аскетически строит свое идеальное государство Платон и какие ограничения накладывает он на художественное творчество. Однако мало кто обращает внимание на слова Платона о том, что взрослый или ребенок, свободный или

раб, мужчина или женщина, словом, все целиком государство должно беспрестанно петь самому себе очаровывающие песни. Игра, пение, пляски, эстетическое наслаждение — это, по мысли Платона, реальное воплощение божественных законов, так что все государство, со всеми его мирными обычаями и со всеми его войнами, есть только бесконечное художественное самоутверждение: «Надо жить, играя», — говорит Платон. Цель жертвоприношений, песнопений и пляски — отразить и победить врагов в битвах. Здесь даже трудно отличить, где божественный и, в частности, государственный, непреклонный и аскетический закон и где тут пляска и вечная игра.

Однако в реставрации Платона есть и другая сторона. Ведь всякая реставрация является большим или меньшим насилием, так как реставрируется то, что уже безнадежно ушло и оказывается невозвратным прошлым. Если времена свободы ушли, то реставрация этой свободы все равно будет насилием. Это-то и произошло у Платона и, конечно, не могло не произойти.

Уже в «Государстве» Платон, исходя из самых добрых побуждений и намерений относительно идеальной жизни, построил государственную систему, которая настолько идеальна и настолько абсолютна, что в ней не мыслятся никакие сдвиги, никакое движение вперед, с ней несовместим никакой историзм. Но если здесь все принесено в жертву неподвижному и вечному царству идей и философ на этом основании еще до некоторой степени мог взывать к постоянству и неподвижности, то в «Законах» дело обстоит гораздо хуже. Здесь уже не проповедуется никакого царства идей, которому государство должно было бы служить; Платон сам заявляет, что

здесь он намерен строить государство «второе после наилучшего», обещая к тому же, что после этого он намерен построить еще одно государство — «третье после наилучшего». Это третье государство Платон так и не успел нарисовать, но второму государству после наилучшего он посвятил огромный многолетний труд, так как «Законы» писались все последние семь лет жизни Платона и так и остались незаконченными. Основная мысль его проектов заключалась в том, чтобы по возможности облегчить людям переход к идеальному государству. Ту утопию, которой посвящен диалог «Государство», Платон считает теперь уже слишком трудной и неосуществимой. Он хочет несколько приблизить свою новую утопию к действительности. Но как он это делает?

«Законы» поражают мелочной регламентацией всех без исключения проявлений человеческой жизни вплоть до брака и семейных отношений. Редко можно найти в истории человеческой мысли такую страшную утопию, какую предлагает здесь Платон. Здесь не только целиком отсутствует теория идей, которая раньше одухотворяла его утопию, но и социально-политические оценки Платона теперь далеко не так принципиальны, как это было раньше.

Хорошо зная из своего жизненного опыта, что такое тиран, он нарисовал нам в VIII книге «Государства» отвратительнейший образ тирана, настолько бесчеловечный и безобразный, что, казалось бы, создатель этого образа уже нигде в своих творениях не должен был бы допустить возможности тиранической формы правления. Но вот в «Законах» опять появляется этот зловещий образ, однако на этот раз Платон стремится его одухотворить. Рань-

ше Платон остро критиковал спартанскую и критскую формы правления под именем проклинаемой им тимократии. Теперь опять делаются ссылки на Спарту и Крит с тем, чтобы похвалить консерватизм тамошних государственных форм и их тысячелетнюю неподвижность. В «Законах» на первый план выступают не идеи, а некая внешняя сила, которая сдерживает государство от распадения. Авторитет принадлежит каким-то людям, в распоряжении которых находятся огромные карательные возможности вплоть до смертной казни. Изображается некий полумифический законодатель, который вместе с тираном осуществляет все законодательные и исполнительные функции при полном невнимании к потребностям личности и даже общества.

Религия и мораль должны теперь играть роль не потому, что существуют боги, но потому, что это предписывает закон. Если есть возможность убеждать, законодатель может убеждать людей в существовании богов. Но убеждение — это только временное средство. Необходимо, если кто-либо выкажет себя непослушным законам, одного присудить к смертной казни, другого — к побоям и тюрьме, третьего — к лишению гражданских прав, прочих же наказать отобранием имущества в казну и изгнанием. Война, которая раньше исключалась Платоном как величайшее зло, теперь выдвигается у него на первый план и неотделима от функционирования законов. Ничего не говорится о внутреннем преобразовании человеческого сознания, разве только о художественном творчестве, да и это последнее кропотливейшим образом регламентируется законом и должно оставаться неподвижным на все времена. Образец здесь Египет, конечно, мнимый, поскольку в настоящем Египете была своя на-

стоящая история. Платон восторженно говорит об египетской регламентации художественного творчества, что произведения живописи или ваяния, созданные там десять тысяч лет назад — «десять тысяч» не для красного словца, а в действительности, — ничуть не прекраснее и не безобразнее нынешних творений, потому что и те и другие выполнены при помощи одного и того же искусства. И это пишет тот самый автор, который в «Пире» создал теорию Эроса как вечного потока любви, постоянно устремленного к новому и порождающего все большую и большую красоту! В «Пире» — вечное творчество, в «Законах» — вечное повиновение законам, требующим от поэтов и художников всегда только одних и тех же форм, одних и тех же настроений.

В этом диалоге Платон, несомненно, построил образец жесточайшего государства с насильственным земельным уравнением, со всеобщим шпионажем и с узаконенным рабовладением. В «Государстве» почти не упоминались рабы; земледельцы же и ремесленники там экономически были свободны. Зато в «Законах» у Платона рабство пронизывает все. Правда, идеалом раба признается спартанский илот, однако илот — это государственный крепостной, чье социальное положение по существу мало чем отличалось от положения раба. Кроме того, Платон и в «Законах» все еще продолжает уговаривать господ и рабов жить согласно между собой и не нарушать общих моральных правил. Но при всех оговорках самый факт рабства признается в «Законах» открыто, и без рабства Платон вообще не мыслит здесь своего идеального государства. О небывало жестоких наказаниях как свободных, так в особенности и рабов трактует вся IX книга «Законов».

Спрашивается: могли ли такие суровые представления не повлиять и на теоретическую мысль Платона? Конечно, они оказали свое губительное влияние. Ведь реставратор принужден с помощью физической силы бороться с обществом, которое представляется ему сплошной стихией зла, причем зла отнюдь не случайного. Платон вдруг начинает проповедовать, что война всех против всех относится к самой природе общества, для которой характерны обнаженный и озлобленный инстинкт жизни и коренные противоречия как в отношении одного человека к другому, так и в отношении к самому себе. Та же вечная война существует и между отдельными людьми в доме. Все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каждый находится в войне с самим собой. Вместо идеальных основ жизни здесь проповедуется звериная борьба всех против всех.

Невозможно себе представить, чтобы такой умный человек, как Платон, не понимал трагедии своей жизни и мысли, когда он совершал насилие над историей в надежде вернуть ее на путь истинный.

Это смешение прекрасного и трагического Платон еще лучше выразил в том месте своих «Законов», где в ответ на предложение иностранных актеров поставить трагедию он считает нужным сказать, что его государство и без того есть трагедия и что граждане государства — творцы трагедии прекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей.

Но чтобы еще яснее показать, что Платон сам сознавал обреченность всей своей философско-теоретической и общественно-политической реставрации истории, кажется, лучше всего привести его рассуждения о людях-куклах. Оказывается, лю-

ди в большей своей части куклы и лишь чуть-чуть причастны истине. Но как же быть в таком случае с богами? А очень просто: мы как раз те самые куклы, которые созданы богами неизвестно для чего. Дернешь за одну нитку, получится одно, дернешь за другую — другое. Конечно, Платон и здесь, как утопающий, хватается за соломинку: самая-де важная нитка — это нитка закона или нитка добродетели. Но ведь кто, когда, как и за какую нитку дернет данную куклу-человека — совершенно никому не известно, потому что находящиеся внутри нас нити тянут и влекут нас каждая в свою сторону, и так как они противоположны между собою, то увлекают нас к противоположным действиям. У Платона здесь получается нечто прямо-таки удивительное: свое государство и свою мораль он хочет построить на этой кукольной трагедии, словно большой дом, который бы он захотел построить на трясине.

Есть еще одно обстоятельство, с виду внешнее, которое глубочайшим образом рисует новую тенденцию Платона в «Законах». Именно «Законы» — это единственное произведение Платона, не содержащее в себе образ Сократа. Разговаривают здесь какие-то афинянин, спартанец и критянин, а о Сократе нет даже упоминания. И разговор-то происходит где-то на Крите, между тремя безвестными старцами во время их прогулки от Кносса до святилища Идейского Зевса. Да и спор здесь совсем не спор, а какое-то взаимное слабое поддакивание собеседников друг другу. Но самое главное — о чем они говорят. Все их утверждения прямо противоположны тому, чему учил Сократ. Сократ вечно все подвергал критике и часто двумя-тремя вопросами ниспровергал общепризнанные авторитеты, если они того заслуживали. В «Законах» же всякая критика

запрещена, выдвигается требование беспрекословного подчинения законам и казни для всех неверующих. Если бы в таком государстве, какое изображено в «Законах», появился вечно вопрошающий и критикующий Сократ, то, несомненно, эти трое старцев присудили бы его уже не просто к цикуте, а к какой-нибудь сверхужасной казни для устрашения всех потрясателей общественных основ, представляющихся им идеальными.

Миф о людях-куклах и характерное отсутствие Сократа в «Законах» — это у Платона, конечно, не только акт разочарования, но и несомненный акт отчаяния. И только его всегдашняя привычка находить во всем рациональный смысл заставила его противоестественно связать миф о куклах с богами. На самом же деле это обстоятельство, как и отсутствие Сократа в «Законах», было у Платона только результатом потери его веры в смысл жизни вообще. И если в «Законах» разум все еще формально ставится выше законодательства, то по своему содержанию этот разум может вызвать с нашей стороны только недоумение: хорош же он, если в своем идеальном осуществлении он превращается во всеобщую тюрьму и прославляемое насилие.

Трагический конец платоновской философии подчеркивается еще тем, что и сам Платон, и его позднейшие почитатели сравнивали его с Аполлоном, богом света, порядка, гармонии, уравновешенности как в моральном и художественном, так и в государственном и даже космическом планах. Согласно позднейшим легендам Платон перед смертью видел себя превращенным в лебедя, эту знаменитую птицу Аполлона Сократ, как мы помним, перед приходом к нему Платона тоже видел во сне. Кто-то, чуть ли не племянник Платона Спев-

сипп, объявил его даже сыном Аполлона и братом бога врачевания Асклепия: таким образом подчеркивалось, что Платон был врачевателем душ. Казалось бы, если помнить его «Законы», это смешно, но на самом деле это не смешно, а трагично.

Платон всю жизнь проповедовал всеобщую гармонию, то есть был натурой, так сказать, аполлоновского типа. Но гармония может быть разная. Одна — живая, трепещущая, она активно борется с беспорядком, с уродством, с разнузданными аффектами. Это гармония «Пира» и «Федра». Другая гармония — застойная, малосильная, она основана на принуждении, насилии, не воплощает в себе живых противоречий жизни и требует принуждения. Платон, тонко чувствующая натура, не мог не понимать своего принципиального отказа от классической гармонии в жертву гармонии насилия. И так как тут содержалось противоречие всей его жизни и философии, то это превратилось для него в своего рода философское самоубийство. Если Демосфен, убедившись в окончательном крахе классической Греции, которую он всеми силами старался защитить, прибег к физическому самоубийству, то Платон прибег к философскому самоубийству путем написания своих «Законов». Вся жизнь, личность и творчество Платона — это напряженная, неминуемая и неодолимая трагедия. Не такова ли и вообще всякая попытка восстановить невозвратное прошлое?

Платон — это одна из самых сложных и мучительно противоречивых проблем в истории философии, одно из наиболее трудно понимаемых историко-философских самопротиворечий.

Вопрос о тысячелетней значимости Платона возникает у каждого, кто соприкоснулся с его ми-

ровоззрением и с художественным стилем его произведений. В самом деле, что за причина этого сильнейшего влияния философа и почему проблема Платона волнует умы вот уже третье тысячелетие?

Платон — первый в Европе последовательный и непоколебимый представитель объективного идеализма, основатель этой философии. Как таковой он оказал и все еще продолжает оказывать огромное влияние в истории философии. Сильной стороной философии Платона, его положительным вкладом в историю философии менее всего является его объективный идеализм как мировоззрение. Объективный идеализм Платона глубокими корнями связан с мифологией, и уже по одному этому он вместе с ней несет на себе печать некой музейности, печать исторической и архивной значимости. Но тогда спрашивается: что же было сильной стороной философии Платона, обусловившей ее тысячелетнее влияние?

Объективный идеализм Платона есть учение о самостоятельном существовании идей как общих и родовых понятий. Но, как мы уже видели, общее не остается у Платона лишь противостоящим единичному, оно осмысляет всякую единичность и трактуется как принцип единичного, как закон проявления этого единичного, как модель его построения в статическом и динамическом плане. Не эта ли платоновская теория общего привлекала к себе философские и научно мыслящие умы? Не это ли закономерное построение спутанной чувственной действительности заставляло вновь и вновь обратиться к Платону? История философии показывает, что именно эта сторона платонизма имела особенно большое значение для последующих веков:

ведь последующие философы имели свое собственное мировоззрение, и платонизм, как языческая философия, интересовал их меньше всего.

Платон создал теорию общего как закона для единичного, теорию необходимых и вечных закономерностей природы и общества, противостоящую их фактическому смешению и слепой нерасчлененности, противостоящую всякому донаучному их пониманию. Кажется, можно с полным правом утверждать, что именно эта сторона учения Платона об идеях в значительной мере обусловила его тысячелетнюю значимость в истории человеческой мысли, что именно она привлекала к себе мыслящие умы. Можно было не верить в небесное и занебесное бытие платоновских идей в виде самостоятельного и обособленного царства действительности; можно было подсмеиваться над платоновским круговоротом душ, над этим космосом, настроенным на пифагорейский лад в виде огромного музыкального инструмента, над наивностями математических исчислений у Платона. Однако всякий непредубежденный и здравомыслящий философ всегда усматривал нечто положительное в платоновской идее как законе упорядочения единичного.

В философии Платона была еще и другая, не менее важная сторона. Она тоже очень прочно связана с его идеализмом и его мифологией, хотя отличается не столько научно-теоретическим, сколько жизненно-практическим характером. Как мы видели выше, Платон жил и действовал в ту роковую эпоху античного мира, когда погибал старый, свободолюбивый классический полис. Вместо него нарождались огромные империи, абсолютно подчинявшие себе отдельную личность в политическом отношении, но предоставлявшие ей широкое поле

для разнузданной интимно-субъективной жизни. Утопия, к которой обратился Платон, недовольный разложением современных ему общественных и частных устоев жизни, была реакционной.

Однако это то, что сейчас мы называем просто идейностью и необходимостью во имя убеждений переделывать окружающую нас действительность. В этом смысле Платон всегда был врагом только самодовольных обывателей, которые уже всего достигли и которым не нужно ничего, кроме бытового благополучия; ведь и всякий другой человек, недовольный окружающей его действительностью и хотевший хоть как-нибудь ее изменить, так или иначе должен был иметь какую-нибудь идеологию, какие-то принципы и идеи, что-то высшее, во имя чего необходимо переделывать настоящее и ради чего только и стоит жить. Идейный порыв, принципиальная настроенность, самоотверженное служение идеалу — все это на целые тысячелетия сделало философию Платона необходимой, хотя конкретная оценка ее всегда была разной и хотя в своем конкретном виде, безусловно, она заслуживает критики и осуждения. Конкретная мораль Платона ушла в глубины истории, стала музейным экспонатом и сдана в архив. Однако идейность, необходимость которой отстаивал Платон, никогда не умирала.

Еще в одном отношении Платон сыграл в истории огромную роль. Это касается форм преобразования жизни, которые он рекомендовал на основании своего учения об идеях. Вечный и неизменный мир идей, воплощаясь в текучей и тусклой земной действительности, должен был, с точки зрения Платона, и человеческую жизнь сделать такой же вечной и неизменной. Как мы видели, Платон отрицал в своем идеальном государстве всякое исто-

рическое развитие. Три сословия идеального государства Платона стоят перед нами как мраморная группа фигур, обращенных одна к другой всегда в одном и том же неизменном ракурсе.

Это было то, что умерло вместе с Платоном. Однако и здесь была одна идея, которая всегда привлекала к себе самые несхожие умы и которая тоже доставила Платону тысячелетнюю славу.

Идея эта заключалась в борьбе против излишеств психологизма и субъективизма, в борьбе против сугубой изысканности и изощренности, в борьбе против философского декаданса. Платон проповедовал идеал сильного, но обязательно простого человека, в котором душевные способности не дифференцированы настолько, чтобы противоречить одна другой, и не настолько изолированы от внешнего мира, чтобы противостоять ему эгоистически. Платон безусловный проповедник всевозможной гармонии — внутри человека, в обществе и в космосе. Гармония человеческой личности, человеческого общества и всей окружающей человека природы — вот постоянный и неизменный идеал Платона в течение всего его творческого пути.

В этой связи следует напомнить о платоновской идее подчинения искусства интересам государства. Не только искусство не существует у Платона как изолированная и самостоятельная область, но такая изоляция невозможна, по Платону, также ни для философии, ни для религии, ни для науки, ни для государства, ни для ремесла, ни, наконец, для личной или семейной жизни. Отсутствие подобной изоляции и создает, по Платону, ту всеобщую гармонию, которая хотя так и оставалась мечтой, но мечтой, с которой человечеству трудно было расстаться.

Наконец, следует сказать об объективизме фи-

лософии Платона. Чувство реальности неотступно владело Платоном, когда он заговаривал об общих закономерностях бытия. Нужно сохранять большую культуру ума, чтобы не понимать науку изолированно от действительности, но понимать ее как отражение последней. Пусть Платон с точки зрения нашей современности неправильно понимал место общих закономерностей реально существующего мира. Но, повторяем, как бы он это ни понимал, он всегда был охвачен восторгом перед реальностью утверждаемых им общих закономерностей и, понимая эти общие закономерности числовым образом, то есть максимально точно, всегда неистово восторгался реализмом арифметики и геометрии, воспевал астрономию, и небесный свод всегда был для него наивысшей красотой действительности.

Когда Платон захотел очертить предмет своей эстетики, он назвал ее ни больше ни меньше, как любовью. Платон считал, что только любовь к прекрасному открывает глаза на это прекрасное и что только понимаемое как любовь знание есть знание подлинное. В своем знании знающий как бы вступает в брак с тем, что он знает, и от этого брака возникает прекраснейшее потомство, которое именуется у людей науками и искусствами. Любящий всегда гениален, так как он открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего. Обыватель над ним смеется. Но это свидетельствует только о бездарности обывателя. Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, искусстве, в общественно-политической деятельности, всегда есть любящий, только ему открыты новые идеи, которые он хочет воплотить в жизни и которые чужды нелюбящему. Повернется ли у кого-нибудь язык осудить Платона за такого рода теорию? Можно его

термины заменить другими, но против энтузиазма, носителем и проповедником которого был Платон, никто никогда не возражал, за исключением опять-таки самодовольных обывателей.

К этой же области неизменного энтузиазма относится и самый стиль философских произведений Платона. Платон не мог выразить свою мысль в спокойной, законченной и систематической форме. Сократ и Платон все время ищут новых и новых истин, так что им некогда останавливаться на систематическом изложении. Они ставят все новые и новые вопросы и, получая на них те или иные ответы, опять-таки не удовлетворяются этими ответами и идут все дальше и дальше. Их постоянное и беспокойное искание истины исключало всякую замкнутую, застывшую систему. Недаром свой основной философский метод Платон назвал диалектическим, то есть вопросо-ответным. А для такого неизменного драматизма мысли требовалась, как мы уже указывали, соответствующая литературная форма, которой и служил с большим успехом диалог. Диалог был литературной формой у Платона даже там, где он имел строго выработанную концепцию. Пусть на вопросы Сократа, который у Платона обычно руководит разговором, его собеседники иной раз ограничиваются ответами «да» или «нет». Даже и здесь, где форма диалога уже необязательна, она все же налицо. Диалогическая форма у Платона в конечном счете была не чем иным, как его внутренним разговором с самим собой.

Те тысячи и, вероятно, сотни тысяч читателей Платона, которые были у него за две с половиной тысячи лет, всегда находили в его диалоге поддержку своих философских исканий, всегда питались этим драматизмом мысли. То, что является предметом досады

для педантичного систематика, для подлинного искателя истины всегда было именно поддержкой, потому что всякий находил здесь нечто для себя близкое. Всякий думал, что не только он один путается в своей мысли, перескакивает с одного на другое, часто уклоняется в сторону, не может дойти до окончательного результата, но что все это свойственно и «божественному» Платону; значит, все это допустимо, возможно и даже необходимо для искателя истины. Эта вечная и неугомонная лаборатория мысли неизменно импонировала читателям Платона.

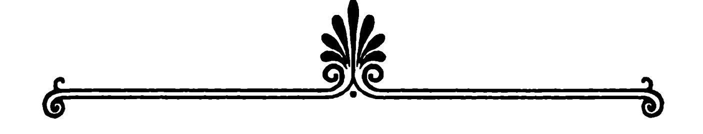
Почти все крупнейшие философы нового времени дают изложение своей философской мысли в уже готовом и продуманном виде. Часто бывает не видно, как они дошли до своей системы и какие сомнения обуревали их перед ее открытием. Такую систему остается только усвоить, и вы уже знаете концепцию данного философа. Совсем другое — Платон. Свои концепции он заставляет читателя продумывать так же, как их продумывал он сам. Он не скрывает своих сомнений и неуверенности, своей слабости во многих вопросах, своих тяжелых усилий понять предмет, часто беспомощных и безрезультатных. Разве это не демократизм мысли, и разве могло это не быть привлекательным для многих тысяч читателей разных стран, эпох и народов?

Язык Платона тоже все время держит нас в напряжении. Вот-вот он скажет что-то решающее и окончательное, — и он этого все не говорит. А иной раз он одной лишь фразой сразу извлекает нас из области сомнений и смутных домыслов. Излагать философию Платона как систему — это истинное мучение, ибо философскую систему Платона приходится реконструировать из его отдельных, разрозненных и часто противоречивых суждений.

Прибавьте к этому, что у Платона термины, как правило, многозначны, и даже знаменитый термин «идея» имеет несколько разных значений. Платон менее всего догматичен. Его философский метод — это метод острейшего критицизма и никогда не кончающейся диалектики.

Правда, в истории философии Платон часто привлекался весьма реакционно настроенными философами, мыслившими догматически, а не критически. Как это могло произойти? Да очень просто. Идеи Платона трактовались односторонне, бралось то, что было пригодно для обоснования догматической метафизики, и отбрасывалось остальное. Представители ислама, иудаизма, византийского и западного средневекового христианства, а также протестантизма имели отнюдь не платоновскую, но свою собственную догматическую метафизику и были в прямом антагонизме к метафизике Платона, связанной с языческой мифологией. Не идеалистической мифологией прежде всего влиял Платон. Он влиял, как мы сказали, по преимуществу своими конструктивно-логическими методами. А такие конструктивно-логические методы были необходимы для обоснования самых разных мировоззрений.

Секрет тысячелетней значимости Платона заключается не в буквальном содержании его философии и проповедуемой им морали и не в буквальной направленности его научных, религиозных, эстетических или социологических теорий. Конструктивно-логические принципы мысли, проповедь самоотверженного служения идее, пафос мировой гармонии, принципиальный антисистематизм и антидогматизм, беспокойный драматический диалог и язык — вот в чем разгадка тайны тысячелетней значимости Платона.



ПРИЛОЖЕНИЕ



ПИСЬМА ФИЛОСОФОВ

Письмо и его история — еще не написанная страница и истории, и истории литературы. К письмам вообще относились презрительно, считая их выдумкой, хламом. Еще письма римской эпохи, особенно Цицерона, в глазах историков имели значение, но письма греческие и ранней эпохи (Платон, Филипп, даже Аристотель, не говоря уже о Демосфене и Эсхине), а особенно более поздней, явно ставшие «литературной формой», обычно отвергались, несмотря на предостерегающее замечание Виламовица, что «в куче хлама можно легко найти жемчужины». Это замечание нигде не имеет так много правды, как в вопросе о письмах Платона и других учеников Сократа, так называемых сократиков.

Не один десяток лет перед наукой стоял «Платоновский вопрос» о подлинности и последовательности диалогов Платона. В этих «разысканиях» «Письма» играли очень маленькую роль, маленькую настолько, что при издании «полных» переводов Платона они вообще игнорировались. В нашей русской литературе нет их ни при переводе Карпова, ни у Жебелева, а при проспекте переводов Соловьева и Трубецкого они совсем не упоминались. Эта причина заставила меня при моей работе над «греческими письмами» обратить на них особое внимание*.

«Письма Сократа и сократиков» представляют большие затруднения. Этому вопросу за последнее время были посвящены две работы: *Köhler L.* Die Briefe des Sokrates, 1928** и *Sykutris J.* Die Briefe des

---

* С. П. Кондратьев пользовался при переводе известными изданиями текстов писем: Epistolographi graeci, ed. R. Hercher. Paris, 1873 и упомянутой ниже книгой L. Köhler.

** Полное наименование: *Köhler L.* Die Briefe des Sokrates

Sokrates und der Sokratiker, Paderborn, 1933*. Можно сожалеть, что смерть последнего ученого помешала его изданию текста этих писем, уже объявленных у Вейдмана. Первая работа — довольно слабая, хотя ее издательница, по-видимому, постоянно консультировалась с Сикутрисом. Зато вторая дает очень четкие пути дальнейших исследований. Ее выводы таковы: за исключением двух писем — 28-го Спевсиппа (подлинного) и 35-го (пифагорейского, вероятно, подлинного), остальные делятся на две группы: 1—7— письма Сократа и 8—27, 29—34 — его учеников. *Terminus ante quem* для первой группы — папирус III века н. э. (*Mitteis L., Wilcken U.* Chrestomathie der Papyruskunde. 12, 183)**. Судя по языку, довольно красивому стилю, их можно отнести к эпохе раньше I века. Вторая группа дает ряд привлекательных образов со стремлением к биографическим данным учеников Сократа. Хороший риторский стиль с неудачными стремлениями писать просто; автор хорошо знал Платона, особенно его письма, равно ряд диалогов сотоварищей Платона, например, диалог Федона «Симон». Время написания — I—III века. Источником для этого очень образованного автора служил, вероятно, какой-либо философско-исторический словарь, более полный, чем изложение Диогена Лаэрция. Все вместе дает интересную картину, как древность рисовала себе взаимоотношения меж-

und der Sokratiker // Philologus Supplementum. Bd. XX, 2. Leipzig, 1928. — *Прим. А. А. Тахо-Годи.*

* Переиздание этой книги: New York, 1968. — *Прим. А. А. Тахо-Годи.*

** Полное наименование: *Mitteis L., Wilcken U.* Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde: V. 1—4. Leipzig; Berlin, 1912. — *Прим. А. А. Тахо-Годи.*

ду философскими школами и положение Платона при дворе Дионисия II наряду с другими философами.

С. П. Кондратьев

ПИСЬМА АРХИТА

1

Архит Платону желает здоровья.

Хорошо, что ты выздоровел; об этом ты и сам мне прислал письмо, и бывшие с Ламиском сообщили мне. Мы приложили старание относительно записей, пошли к луканам и там встретили детей (учеников? произведения?) Окелла. То, что им написано [о законе, о царстве] о справедливости и о происхождении всего [сущего], мы это и сами имеем, и тебе послали. Всего остального теперь, по крайней мере, нельзя было найти; если они будут найдены, они будут у тебя [придут к тебе?].

2

Архит Дионисию желает здоровья.

Мы все друзья Платона послали к тебе Ламиска и Фотида с тем, чтобы взять его [нами чтимого мужа] на основании данного тобою согласия. Ты хорошо бы сделал, вспоминая, с каким старанием мы действовали, когда ты просил всех нас [содействовать], чтобы Платон приехал к тебе, требуя от нас, чтобы мы побуждали его к этому и приняли на себя ручательство как во всем остальном, так и в его

полной безопасности, захочет ли он оставаться или отплыть обратно. Вспомни и то, что ты очень высоко оценивал его прибытие к тебе и в то время ты его любил больше, чем кого бы то ни было из бывших при тебе. Если [между вами] возникли какие-либо шероховатости отношений, следует тебе поступить как [порядочному] человеку и отпустить его к нам без всякой обиды. Поступив так, ты поступишь правильно и сделаешь нам приятное.

ПИСЬМА СОКРАТА

1

(1) Мне кажется, ты не хорошо понял мою точку зрения, — ведь ты не стал бы мне писать вторично и обещать дать еще больше, — но ты считаешь Сократа, как других софистов, каким-то перепродавцом мудрости и что на твои первые предложения он не просто ответил отказом, но с целью получить больше того, что было тобою ему обещано. Теперь ты обещаешь мне золотые горы и множеством даров думаешь заставить меня согласиться покинуть мои занятия в Афинах и прийти к тебе, меня, который вообще считает делом не очень хорошим, занимаясь продажей бесед по философии, наживать деньги, а для меня лично это было бы совсем непривычно. (2) Ведь с того времени, как я, получив веление божества заниматься философией, приступил к ней, никого не найдется, кто бы сказал, что я что-нибудь от кого-нибудь за это взял; но я веду свои беседы открыто, одинаково позволяя слушать себя и тому, кто [много] имеет, и если он не имеет

ничего. И я веду свои рассуждения, не запершись в четырех стенах, как, передают, делал это Пифагор, или, приходя, где много народу, я не требую денег с тех, которые хотят меня слушать, что раньше делали иные прочие и что и сейчас в наше время делают некоторые. Ведь я вижу, что то, что мне нужно, у меня есть заработанное мною самим, а то, что является излишним, прежде всего, получив это, я не нахожу, кому бы я мог поручить его на сохранение надежнее тех, которые, возможно, сами дадут. (3) Если я буду считать их дурными, то если я отдам им на сохранение, то и сам я покажусь человеком не вполне разумным; а от людей хороших мне вполне возможно, даже если я ничего им не дам, получать что нужно. Ведь не окажутся же они верными хранителями денег, а охранителями дружбы и расположения неверными; и если они считают неправильным отнять у нас доверенные им деньги, неужели они поставят ни во что, если мы будем находиться в затруднительном положении, тогда как раньше они от нас получили даром то, за что они даже давали [другим] деньги. Одним словом, для них естественно, будучи друзьями, дать нам уже вперед многое из своего имущества; если же они не являются нам друзьями, они постараются отнять кое-что из нашего. Сам же я не имею времени, чтобы хранить (стеречь) деньги; (4) я удивляюсь на других, которые говорят, что ради самих себя они приобретают себе богатства, а в действительности оказывается, что они из-за выгоды сами себя продают и, поставив ни во что мудрость, заботятся о стяжательстве. Поэтому, конечно, на их богатство дивятся, но за их невоспитанность смеются над ними и считают их счастливыми по многим другим основаниям, кроме лично их самих. И в самом деле, разве не ужас-

но считать себя опозоренным, если кажется, что ты живешь на счет друга, и считать, что не стоит жить привеском у других, нахлебником чужого добра, а по отношению к деньгам не стыдиться, если относишься к ним таким же образом? И разве мы не знаем, что эти люди почитаются только за их богатство, а если судьба к ним переменится, они живут во всяком бесчестии? (5) Таким образом, во время благополучия они не испытывают радости (ведь их почитают не из-за них самих), а находясь в бесчестии, они страдают еще более, так как причиной того, из-за чего на них пали бесчестие и презрение, являются они сами.

Итак, прежде всего ты неправильно понял, если думаешь, что Сократ за деньги сделает что-либо, если он не считает хорошим сделать это бесплатно. Сверх того ты не принял во внимание, что многое меня здесь держит, и самое главное — польза для родины. И не удивляйся, если я говорю, что приношу какую-то пользу родине, хотя меня нельзя найти ни в числе военачальников, ни в числе ораторов. (6) Прежде всего надо поставить вопрос, в чем каждый может оказать пользу. Совершать более крупные или более мелкие дела — не во власти человека; но, с одной стороны, тут играют роль разные причины, а прежде всего он сам. Затем, в столь великом городе нужны не только те, которые будут подавать ему советы, и не только те, которые будут водить его войска по морю и по суше, но и те, которые будут руководить теми, кто идет трудиться на пользу городу. И нет ничего удивительного, что некоторые под влиянием огромности возложенных обязанностей как будто засыпают и для них нужен будет как бы овод, будящий их. (7) К такому-то делу и поставил меня бог. И, конечно, случилось, что за это я и

вызвал к себе ненависть. Но отказаться мне от этого дела не позволяет тот, кому надо более всех повиноваться. Конечно, он лучше меня знает, что мне более полезно; ведь когда я спросил его совета относительно твоего первого письма, он сказал мне, чтобы я не ездил, и когда ты второй раз написал мне, он мне отсоветовал. Поэтому я боюсь оказать ему непослушание и думаю, что в этом Пиндар является мудрым, говоря:

Если начало бог указал, в каждом деле
прямой тогда путь, чтоб доблесть постигнуть.
И будет прекрасной кончина.

Приблизительно так звучит это место в его гипорхеме. Много и многим, и из других поэтов сказано о богах и о том, что все, что делается по их указанию, приводит к лучшему, а все, что совершается против воли божества, является для сделавших бесполезным [и даже вредным]. Я вижу, что из их эллинских городов самые разумные пользуются советами дельфийского бога и все, что они делают, повинуясь ему, выходит им же самим на пользу, а те, которые не слушают его, по большей части получают ущерб. И я не удивлюсь, если моим словам относительно даймониона ты бы не поверил. Ведь много и других так же относятся ко мне [по этому вопросу]. (9) Очень многие не поверили мне в битве при Делии. Я участвовал тогда в походе и сражался вместе с другими, когда наш город всенародно выступил против врага; и вот во время бегства многие уходили все вместе, и когда мы оказались около какого-то [горного] прохода, явилось мне обычное знамение. И вот я остановился и сказал: Граждане! Мне кажется нехорошим идти этой дорогой: дело в том, что мне был [внутренний] голос, мой дай-

монион. И вот большинство набросилось на меня в гневе, как будто я шучу в неподходящее время, и они пошли прямой дорогой; а немногие, не помню кто, поверив мне, повернули вместе со мной по противоположной дороге, и мы спаслись и пришли домой. Другие же, как сказал один из них, пришедший в город, все погибли, они наткнулись на неприятельских всадников, возвращавшихся после преследования; сначала они стали сражаться, но затем, так как врагов было больше, они были окружены и когда хотели отступить, будучи со всех сторон охвачены врагами, все погибли. Тот, кто об этом рассказал, пришел раненым и спас один только щит. (10) И частным образом я многих предупредил о том, что случится по указанию [своего] бога.

Ты сказал, что даешь мне часть своего царства и приглашаешь меня прийти к тебе не с тем, чтобы быть подданным, но с тем, чтобы, наоборот, управлять и другими, и самим тобой. Но я лично не могу сказать, что умею управлять, а не умея я бы не взялся царствовать, так же как и управлять кораблем, не научившись этому. Но я знаю, что если бы и другие люди так же относились к себе, в жизни было бы меньше зла. Теперь же смелость незнающих, заставляющая их браться, если даже они и не знают того, приводит их до такой степени замешательства; а вследствие этого она увеличивает и влияние случайности, делая ее еще большей вследствие их безумия. (11) Конечно, я хорошо знаю, что, будучи царем, естественно, ты будешь более славным и будешь привлекать к себе взоры всех больше, чем простой человек. Но подобно тому, как я не решился бы сесть верхом на лошадь, не имея опыта в верховой езде, и для меня было бы полезнее идти пешим, даже если бы я был много

ниже всадника, так я мыслю и относительно положения царя и простого человека; и воспламененный жаждой более высокого положения я не устремился бы к более заметным несчастиям. И мне кажется, что первые создавшие миф о Беллерофонте представили его приблизительно, мысля так же, и дали нам его как загадку. (12) Не потому, думаю, что он пожелал достигнуть более высокого места, но потому, что он стремился вершить дела, превышающие его силы, вот и постигли его несчастья. Обманувшись в своих надеждах, он остальную жизнь провел в стыде и поношениях, уйдя в пустыню из-за злых насмешек людей, живущих в городах; он потерял все основы жизни, не те, которые мы обычно называем, но свободу слова, на которой зиждется жизнь каждого. Вот как нужно понимать то, что хотели сказать поэты. От меня же ты второй уже раз слышишь, что я не переменю на жизнь у тебя здешней, считая ее лучшей. Да и богу это не угодно, который доныне был для меня и советником, и руководителем.

2. СОКРАТ — КСЕНОФОНТУ

Ты хорошо знаешь, с каким уважением я отношусь к Херефонту. Избранный городом в качестве посла в Пелопоннес, он, весьма возможно, зайдет к вам. Философу легко получить дружественный прием, когда он приходит как гость; но что касается дороги, то она опасна, и особенно теперь, вследствие происходящих на ней беспорядков. Позаботившись об этом, ты сохранишь человека, близкого мне друга и заслужишь от меня большую благодарность.

3. СОКРАТ — ?

Гражданин города Амфиполиса Мнесон был со мной в Потидее. Теперь он приходит в Афины к народу, изгнанный своими согражданами. Дела там уже в брожении, но положение еще не прояснилось. Думаю, пройдет немного времени и все станет ясным. Ты сделаешь хорошо, если окажешь ему помощь, так как сам он достоин этого, и поможешь обоим городам. Амфиполису — чтобы, отпав, он не принужден был испытать неисчислимые бедствия, нашему — чтобы и из-за него не иметь таких неприятностей, как теперь из-за Потидеи, от которой мы почти что отказались.

4. СОКРАТ — КРИТОНУ (?)

Встретившись с Критобулом, я стал приглашать его заниматься философией; но мне кажется, у него уже решено устремиться более к занятиям политикой. В таком случае, он может получить соответственное для этого воспитание и как руководителя может выбрать для себя самого лучшего из существующих; как раз теперь живут в Афинах самые знаменитые и многие из них и ко мне относятся дружественно. Вот что относительно Критобула; что касается моих дел, то Ксантиппа и ребятки здоровы; сам же я живу так, как тогда, когда ты был здесь.

5. СОКРАТ — КСЕНОФОНТУ

(1) Мне рассказывали, что ты был в Фивах и застал там Проксена, отправляющегося в Азию к Киру. В счастливом ли [для тебя] деле ты страшишься

принять участие, бог знает, так как уже некоторые из здешних пытаются это порицать: они говорят, что непристойно афинянам помогать Киру, благодаря которому афиняне потеряли власть, или им самим воевать за него, из-за которого они проиграли войну. Я не удивлюсь, если в случае перемены государственного строя (политического положения) некоторые не попытаются за это выступить против тебя с доносами, и я полагаю, чем лучше пойдет там дело, тем, думаю, сильнее насядут на тебя эти субъекты: ведь я очень хорошо знаю природные качества некоторых из них. (2) Мы же [с тобой], если уж раз отдали себя на такое дело, будем хорошими людьми, вспоминая о многом, что раньше мы говорили [с тобой] о доблести, и выражение поэта: «и рода отцов своих стыдом не покроем» мы поставим в числе лучших, им сказанных. Знай же, что война требует главным образом двух качеств: выдержки и нестяжательности; благодаря последней мы становимся друзьями нам близкими, а благодаря выдержке — страшными для противников. Примеры того и другого у тебя перед глазами.

6. СОКРАТ — ?

(1) Относительно двух иноземцев я позаботился, как ты меня просил, и нашел одного из наших приятелей, который выступит перед народом в их защиту, по его словам, он еще охотнее готов служить им, так как и тебе хочет сделать приятное. Относительно же денег и относительно того, о чем ты в шутку писал, то тут, конечно, нет ничего удивительного, если иные хотят узнать, почему прежде всего я предпочитаю жить бедняком, тогда как все

другие с таким рвением добиваются богатства, а затем, хотя мог бы от многих получить многое, я не только ничего не беру в подарок от живых еще друзей, но и от того, что умершие оставляют мне в наследство, добровольно отказываюсь; нет никакого чуда, что человек с таким настроением в глазах других является сумасшедшим. (2) Но нужно смотреть не только на это, но подвергнуть обозрению и всю остальную мою жизнь, и если окажется, что относительно нужд тела мы поступаем отлично от других, то не удивляться, что так же поступаем мы и в вопросе о приобретении богатства. С меня довольно самой простой пищи и летом и зимой одной и той же одежды, а обувью я вообще не пользуюсь; и я не стремлюсь ни к какой общественной славе, кроме того, чтобы быть мудрым и справедливым. Те же, которые ни от чего не отказываются в своем образе жизни в смысле роскоши, которые стараются надевать различные одежды соответственно каждому времени года и каждому дню и предаются многим запрещенным удовольствиям, (3) и так же, как те, что потеряли природный цвет кожи, украшаются искусственно наведенными красками, так и эти, потеряв истинную славу, заслуженную достоинствами, — а ведь каждому следует добиваться именно этого, — заслоняются славой, основанной на лести, вызывая хвалу толпы раздачами и всенародными угощениями. Вследствие этого, думаю, вполне естественно, что им нужно много; ни они сами не могут довольствоваться малыми средствами, ни окружающие не пожелают прославлять их, если не получат плату за свои восхваления. Лично для меня в обоих этих случаях моя жизнь в хорошем положении. Если в том или другом пункте я уклоняюсь от истины, я не стану настаивать на своем;

что такой образ действия лучшие считают за более ценное, а обратный свойствен толпе, я знаю хорошо. (4) Часто, когда я сам с собой рассуждаю относительно божества, почему бог счастлив и блажен, я вижу, что он превосходит нас тем, что ни в чем не нуждается. Ведь признак блестящего природного совершенства — отсутствие нужды во многом и готовность наслаждаться [тем, что есть]. Таким образом, естественно быть более мудрым тому, кто уподобляет себя мудрейшему, и быть более блаженным тому, кто наиболее похож на блаженного. Если это может дать богатство, нужно выбрать богатство; если же ясно, что это может дать одно лишь достоинство, глупо, отвергнув сущее благо, устремляться за кажущимся.

(5) А вот что мое отношение к этому вопросу не является лучшим, убедить меня в этом было бы не так легко. Что же до моих детей, о которых, как ты сказал, я должен вперед позаботиться, люди должны знать, как я ко всему этому отношусь. Единственным началом счастья я считаю — иметь разум; того же, кто не имеет разума, а полагается лишь на золото и серебро, того блага, которое он думает, что приобрел, он не имеет, к тому же он настолько более несчастен, чем другие, насколько верно то, что теснимый бедностью, если не теперь, то когда-нибудь придет в разум; тот же, кто вследствие обманчивого мнения о своей праведности пренебрегает истинно полезным, погибая от роскоши и трат, сверх того, в чем является несчастным, — не обладая истинным для людей благом, — лишается и на будущее время надежды на лучший образ мыслей. (6) И невозможно, чтобы такой человек как он есть достиг достойной жизни: опутанный лестью людей он сжился с недостойным поведением, плененный

чарами удовольствий, которые всеми путями проникают в душу, изгоняя оттуда все, что есть прекрасного и разумного. Какая же нужда оставлять нашим детям пример скорее неразумия, чем хорошего воспитания, не на словах только, но и на деле показав, что они у самих себя должны иметь надежды в своих делах и что, если они не будут хорошими людьми, они не смогут и жить и, погибнув от голода, позорно умрут, получив надлежащее наказание за свою леность?

(7) Обрати внимание вот еще на что: закон приказывает кормить сына до совершеннолетия. И конечно, какой-либо человек, видный в политической жизни, негодуя на своих сыновей, мечтающих о наследстве, может им сказать: «Неужели вы не хотите отстать и оставить меня в покое, когда я умру, но от меня, покойника, вы, живые, будете требовать прокорма и вы не постыдитесь самой смерти, ведя бездельную жизнь? Вы ведь уверены, что моего достояния хватит и после смерти для других, а вашего вам не хватит и на прожитие». (8) Может быть, он будет говорить со своими детьми так грубо, пользуясь, наряду с правами отца, государственным правом свободы речи. Мое же достояние, если говорить о нем просто, кажется много скромнее, но на самом деле оно, похоже, недалеко отстоит от достояния богачей. Это видно из того, что хотя я своим детям не оставлю золота, но зато оставлю достояние более дорогое, чем золото, — хороших друзей; сохраняя их, они не будут нуждаться ни в чем необходимом, если же они будут относиться плохо к друзьям, то ясно, что и с деньгами они будут обращаться еще хуже. (9) Если ты, видя, как некоторые относятся небрежно [к своим дружеским обязанностям], подумаешь, что я принял неудачное ре-

шение, то прежде всего посмотри на то, что не все люди одинаково относятся к своим друзьям [есть даже и такие, которые заботятся о них даже после смерти], а затем, что нашим друзьям свойственно быть из числа таких, которые пришли в общение со мной не из навязчивости, и не только теперь, но и давно уже в большой мере наслаждаясь получаемой от меня пользой. Ведь за кратковременное удовольствие естественно получать в обмен и кратковременную дружбу, а долговременные добрые отношения рождают и такой же обмен, равный [получаемой] пользе. (10) Что касается моих поступков, то я предсказываю, что они моим товарищам, пережившим меня, будут казаться все лучше и лучше; поэтому-то я и платы с них не беру, так как за воспитание мудрости я не нахожу никакого другого приличного обмена, кроме дружбы, и потому, что я не боюсь, как софисты, за свою собственность: став старше, они станут еще более почтенными и вследствие их древности будет приятно их исследовать; вследствие этого особенно любят тогда изучающие их и тот, кто их породил, как отец, вызывает к себе нежные чувства; будучи живым он получает почет, а когда умрет, заслуживает вечную память; и если у него остался кто-нибудь из родственников, они со всяким доброжелательством заботятся о нем, как о сыне или брате, оказывая ему расположение, связанные с ним каким-то иным, не чисто физическим родством. (11) Они никак не могут, если бы даже желали, оставить без внимания его, если он попадет в плохое положение, подобно тому, как мы не можем оставить без внимания лиц, близких нам по родству. Такое родство по душе, все равно как если бы он был ему братом по отцу, заставляет их помогать сыну умершего, напоминая им об отце и при-

нуждая их невнимание считать своим бесчестием. Смотри же, кажется ли тебе еще и теперь, что я или свои дела устроил плохо, или оставил в небрежении положение моих детей, чтобы они не нуждались ни в чем после моей смерти: я оставляю им не деньги, но устроил так, что будут люди, которые будут заботиться и о деньгах для них, и о них самих. (12) Ведь до сих пор ни о ком не рассказывают, что благодаря деньгам он стал лучше. И настоящий друг уже и тем предпочтительнее золота, что он помогает не всем, кто к нему обращается, но лучшим из друзей, и заботится не только о жизненных его нуждах, но печется и о душе самого получающего и больше всего прилагает старания к достойному образу мыслей, без которого нет пользы ни в каких человеческих делах. По поводу этого подробно мы побеседуем друг с другом, встретившись лично, а относительно того, о чем ты меня спрашиваешь, достаточно в коротких словах ответить так, как мною сказано.

7. СОКРАТ — ХЕРЕФОНТУ (?)

(1) Я не удивляюсь, что ты мне поручаешь то, о чем пишешь: ты думаешь, что то мнение, которое тридцать имели обо мне, когда ты был здесь, они сохранили и теперь, после твоего отъезда. Но случилось, что вскоре после твоего удаления я вызвал их подозрение и среди них пошел разговор, что случилось все это не без участия Сократа. Немного дней спустя они велели позвать меня, привели в Толос и стали упрекать за все это; когда я оправдывался, они велели мне идти в Пирей и арестовать Льва [Леонта]. У них было намерение его казнить, а его деньги присвоить, меня же сделать участником это-

го беззакония. (2) Когда я стал от этого отказываться и говорил вроде того, что добровольно никогда не подписался бы под несправедливым делом, присутствующий тут Харикл, бывший сердит на меня, сказал: «А что, Сократ, не думаешь ли ты, что с тобой не может случиться чего-либо плохого, когда ты разговариваешь так резко?» В ответ на это я ему сказал: «Со мной, о, Харикл, может случиться бесконечно много злого, но и этого будет недостаточно, если я поступлю несправедливо». На это никто из них ничего не ответил, и думаю, что с того времени они переменили обо мне свое мнение.

(2) Относительно вас приходящие сообщали, что ваши дела до сих пор идут по вашему желанию. Они говорили, что фивяне вас, беглецов, приняли приветливо и, если вы захотите вернуться, они готовы со всей охотой помочь вам. Такие речи привели в смущение некоторых из здешних и, кроме того, и то, что из Лакедемона сообщают сведения, внушающие мало надежд. Говорили пришедшие оттуда с послами, что против лакедемонян готовятся большие военные действия и что эфоры, слыша о здешних непорядках, негодуют, говоря, что лакедемоняне передали им город не для истребления (это можно было бы сделать им самим, одержав над нами победу, если бы они захотели побудить к этому бывших с ними в союзе коринфян и фивян), но для того, чтобы они сами управлялись как следует, установив олигархический строй, и общественные дела организовали лучше, чем это было при демократии. (4) Если они передают все это верно и ваше положение таково, как об этом говорят, то большая надежда, когда вы придете сюда с фивянами, и если лакедемоняне им не помогут, легко здесь все придет в порядок. Вместе с тем и многие из местных жите-

лей теперь пока из страха держатся спокойно; если же что-либо из ваших ожиданий на иноземную помощь окажется основательным, они охотно покинут здешних правителей. (5) Ведь эти до такой степени привыкли обманывать себя относительно общей пользы, что, даже видя, как рушится все положение, они не хотят прекратить своего образа действий, но теми способами, которыми раньше привели все в беспорядок, теми же самыми они думают все хорошо устроить, продолжая производить изгнания, конфискации имуществ и казни без суда. И они не видят, что плохим был бы тот врач, который производил бы лечение тем же способом, от которого произошла и сама болезнь. Положение здешних неизлечимо, ты хорошо сделаешь, если позаботишься о своих делах. У здешних одно только желание — может, и вы думаете это сделать, — избавиться от страшно тяжелой и невыносимой деспотии.

ПИСЬМА СОКРАТИКОВ

8. АНТИСФЕН — АРИСТИППУ

Неприлично для философа жить при дворе тиранов и свои надежды строить на сицилийские пиры; ему скорее следует жить в своей стране и на свои собственные средства. Ты же думаешь, что в этом заключается счастье разумного человека — иметь возможность приобрести большие деньги и приобрести могущественных друзей. Нет, ведь не деньги нужны, да и если бы они были нужны, то не хороши они, так приобретенные, да и множество необразо-

ванных, к тому же тиранов, не могут быть друзьями. Поэтому я бы тебе посоветовал уехать из Сиракуз и Сицилии. Если же, как говорят некоторые, ты гонишься за удовольствиями и пользуешься такими, которые непристойны для разумных людей, ступай в Атикиру и тебе будет полезно попить чемерицы; ведь она куда лучше, чем вино за столом Дионисия. Последнее повергает в великое безумие, а она это безумие прекращает. Насколько здоровье и светлый разум отличается от болезни и неразумия, настолько бы ты тогда отличался от того, в каком ты сейчас находишься положении. Будь здоров.

9. АРИСТИПП — АНТИСФЕНУ

(1) Плохо, очень плохо, Антисфен, живется мне: да как нам не считать, что мы попали в плохое положение, живя при дворе тирана, когда каждый день едим и пьем великолепно, умащаемся самыми благовонными мазями и носим спускающиеся до полу длинные тарентинские одеяния. И никто не освободит от свирепости Дионисия, который смотрит на меня не как на какого-то невежественного заложника, но как на глубоко проникшего в учение Сократа, как я сказал, питая меня, умащая и одевая так, и при этом ни богов не боится, ни людей не стыдится за то, что так относится ко мне. Теперь же мои бедствия дошли до высшей степени, потому что он подарил мне трех выдающихся по красоте сицилийских женщин и очень много денег. (2) И когда этот человек перестанет так поступать, сказать тебе не могу. Ты хорошо делаешь, что беспокоишься о несчастиях других; и я со своей стороны радуюсь на твое благополучие, чтобы

казалось, что и я по отношению к тебе поступаю так же и отплачиваю тебе за твое доброе расположение. Будь здоров!

Отложи себе сушеных фиг на зиму и критской ячменной муки: это кажется лучше золота; мойся в источнике Эннеакрупоса и оттуда же пей воду и носи летом и зимою один и тот же грязный плащ, как это и подобает свободному человеку, живущему (в Афинах) при демократическом образе правления. (3) Я лично, с того времени, как прибыл в этот город и на этот остров, находящийся под властью тирана, знал, что буду претерпевать бедствия, испытывая все это, как ты мне пишешь. Теперь же жалеющие меня сиракузяне, местные жители из Акраганта и Гелы, и другие сикелиоты приходят, чтобы с почтением посмотреть на меня. Что же касается моего безумия, в которое я впал, дойдя необдуманно до такого печального положения, я сам на себя произнесу заклятие, которое заслужил, чтобы мне никогда не избавиться от этих зол, так как, будучи столь преклонных лет и по-видимому имея разум, не хочу ни голодать, ни холодать, ни быть в презрении, ни отращивать длинной бороды. (4) Я пошлю тебе крупных белых бобов, чтобы у тебя было что погрызть после того, как ты перед юношами произнесешь речь о [воспитании] Геракла: ведь говорят, что тебе не зазорно говорить Дионисию о бобах, это было бы неприлично из-за обычаев у тиранов. Что касается всего остального, иди разговаривать к сапожнику Симону, который в твоих глазах в деле философии выше всего, что только есть или может быть. Ведь мне запрещено иметь общение с ремесленниками, так как по своему положению я нахожусь в распоряжении других.

10. ЭСХИН — АРИСТИППУ

Я написал и Платону, прося, чтобы вы постарались спасти Локрийских юношей; и к тебе, посылая с той же просьбой; думаю, я не ошибаюсь: ты сделаешь это с удовольствием. Ты знаешь мою дружбу с ними и представляешь себе, что Дионисий обманут, составив уже о них мнение, будто они хотели поступить несправедливо по отношению к нему. Так постарайся сделать это поскорее. Будь здоров!

11. АРИСТИПП — ЭСХИНУ

Локрийские юноши, о которых ты мне пишешь, будут освобождены из-под стражи и не умрут, и не потеряют ничего из своего состояния, а в сущности они были близки к гибели. Этого ты не говори Антисфену, что спас твоих друзей. Он не любит, если кто имеет друзьями тиранов, но он гоняется за торговцами мукой и лавочниками, которые честно продают муку и вино в Афинах, которые торгуют широкими грубыми фуфайками, когда начинает дуть от Скироповых скал северо-западный ветер, сам же он ухаживает за Симоном. Ведь тут, конечно, нет никакого достояния.

12. СИМОН — АРИСТИППУ

Я слышу, ты издеваешься надо мной у Дионисия за мои занятия философией. Я открыто говорю, что я сапожник и занимаюсь этой работой и равным образом, если нужно, вырезаю ремни, опять-таки для вразумления неразумных людей и при этом еще ду-

мающих, что живя в такой роскоши, они живут согласно указаниям Сократа. Антисфен будет тот, кто вправит ваши мозги за ваши глупые шутки: ведь ты пишешь ему, издеваясь над моими беседами. Но довольно тебе, о мудрая голова, смеяться насчет этого надо мною. Подумай-ка лучше о голоде и жажде: ведь они очень могут проявить свою силу над теми, кто гонится за умственной работой.

13. АРИСТИПП — СИМОНУ

(1) Не я смеюсь над тобой, но Федон, говоря, что ты сильнее и мудрее Продика из Кеоса; он сказал, что ты выступил с обличением против него за написанное им прославление Геракла. Однако я и удивляюсь тебе и хвалю, что ты, будучи сапожником и исполнившись мудрости, уже давно поучал Сократа и заставил сидеть около тебя самых красивых и знатных юношей, например Алкивиада, сына Клиния, Федра из Миррины, Эвтидема [сына Диокла и Хармида], сына Главкона и из занятых общественными делами Эпикрата-Бородача, Эвриптолема и многих других; и если бы Перикл, сын Ксантиппа, не командовал войском, и если бы не было войны, думаю, что и этот был бы около тебя. И я теперь знаю, каков ты; ведь Антисфен постоянно бывает у тебя. Ты можешь философствовать и в Сиракузах, тем более что ремни и кожи здесь в цене. (2) И ты не знаешь, что я, нося обувь каждый день, делаю твое искусство завидным; а вот Антисфен, ходя босым, что делает иное, как не причиняет тебе безработицу и безденежье, убеждая молодежь и всех афинян ходить босыми? Смотри же, насколько большим другом являюсь тебе я, избравший жизнь в счастье

и удовольствии. И ты, говоря, что хитрыми вопросами привел в замешательство Продика, не понял, какое последствие вышло из этого для тебя самого. Так что ты бы стал восхищаться мною, а над теми, которые носят огромные бороды и палки, ты должен был бы смеяться за их наглость, над ними, грязными и вшивыми, с ногтями длинными, как когти диких зверей, и выставляющими такие положения, которые идут вразрез с твоим мастерством.

14. ЭСХИН — КСЕНОФОНТУ

(1) Окружающие сына твоего Грилла послали к тебе Гету, который передаст тебе все относительно Сократа, что происходило на суде и как он умер. Нужно было, чтобы и здесь судьба устроила некоторое препятствие так, чтобы ты не был в Афинах, а был в Лакедемоне. Как я могу, Ксенофонт, описать эту грязную душу кожевника Анита и дерзость Мелета, и наглость их обоих? Оба эти грязных человека до самого конца дела оставались негодяями, и в то время, как мы думали, что они, устыдившись своих махинаций, прекратят свое дело, они еще больше устремились делать нам зло. (2) И хотя Мелет на суде не выступил ни с каким личным обвинением... был он просто одержим злым духом. Корнем же всего этого обвинения был Анит, [сердитый] за то, что Сократ среди молодежи говорил о нем, что скверное дело быть кожевником, когда он беседовал с ними и советовал, чтобы они шли к тем, кто имеет знание в том, чем они хотят заниматься... Таким образом, заявляющие, что они что-либо делают ... (приводит) Акумена, изучившего врачебное дело, и музыканта Дамона и Конна, сына Метробия. Он ведь не знал,

думаю, что, не сделав этого, когда его сыновья слушали Сократа... до сих пор ни кафедра [оратора] не кормит его... не осмелился ... он принялся за другую специальность... И пусть он сколько угодно старается скрываться, надев шапку Аида или кольцо Гигеса, и пишет доносы на живущих в городе: он все-таки живет кожевенным делом... Так вот, имя [на заявлении стояло], как я сказал, Мелета, его ученика и служителя вместе; ведь он как бы в трагедии играл роль Менекея — патриона, по примеру которого он негодовал, будто бы весь этот город претерпевает несправедливости со стороны подобных людей. Его жалкая речь требовала твоего присутствия здесь и даже, несмотря на всё несчастие, ты бы рассмеялся: она была написана Поликратом, составителем речей; эту-то речь он, встав на кафедру, когда начал свое обвинение, стал говорить, как мальчики в школе у учителя говорят заученные фразы; он был в испуге, поворачивался к стоящим позади (вертелся) и все перезабывал и другие ему подсказывали, подобно тому, как подсказывали актеру Каллипиду, и он, кое-как промямлив свою скверную шпаргалку, полную скверны, сошел с кафедры. (4) Сократ же в своих мыслях имел все что угодно, больше, чем тот судебный процесс — столь важный, — которому подвергался. И вот — каков он, ты ведь знаешь, — улыбаясь, глядя исподлобья и подсмеиваясь, сказал то, что, записав, послали тебе твои сыновья. Судья же, находясь под властью всей стоящей вокруг суда толпы ремесленников, все-таки предложил ему самому назначить себе наказание. Он же очень смело заявил: «Я назначаю себе по этому делу как приговор общественное питание в Пританее». Тогда они еще больше взъерепенились (?), так как когда он защищался, у них был страх, как бы он не был оправ-

дан. И Сократ мог быть оправдан; но он и не думал, что должен прибегать к лести или просьбам, но что нужно говорить правду; ведь, защищаясь так и будучи осужден, он считает, что не он будет несправедлив, а те, которые осудили его, если же, сделав или сказав что-либо недостойное его и философии, он будет освобожден, ему придется, как он говорит, прожить жизнь как какому-нибудь проклятому богом рабу; тем более, сказал он, что уже на его плечах лежит старость и ему жить будет потом не лучше, а хуже, даже если его оправдают; ведь он все равно не смог бы лучше видеть и слышать, так что ему кажется, что смерть предназначена ему теперь с соизволения бога. И присужденный к смерти, он выходил смеясь, и в то время, которое провел в тюрьме, он разговаривал с нами еще более веселый, чем когда еще не был обвинен Мелетом и не попал в тюрьму. Он говорил, что это потому, что само помещение и оковы заставляют его философствовать: «Ведь всегда, — говорил он, — на площади меня кто-нибудь отвлекал». (6) Такие речи и так вел он себя с нами, что часто забывали, куда он попал, и мы говорили так и о таких вещах, как и о которых не говорят при несчастии; затем, опамятовавшись, мы сами на себя сердились, упрекая один другого в забвении настоящего положения. Он же, угадывая наше настроение, огляделся кругом и сказал, что нас не огорчило бы, если бы он сейчас умер, так как мы так смеемся. Тут, опять взяв Критона, он сказал: «О неразумный! Прощай теперь Олимпийские игры и всякие торжественные собрания, так как, взятые смертью, мы собираемся переселиться в места лучшие, чем эти, как мыслю я, к самой истине». (7) И много других речей, прекрасных, он вел с Кебетом и Симмием, двумя фиванцами, что душа бессмерт-

на и что те, которые заботились об умственных запросах, уходят в число спутников богов, и что они ничего ужасного не испытывают при так называемой смерти; так что и нам незачем плакать о Сократе, что ему предстоит умереть, а скорее завидовать ему и плакать о себе, что мы живем, лишенные поистине столь великого блага. Он говорил, что это все — только переселение, и через нас он приглашал поэта Эвена, если он чувствует какие-либо знания, прийти к нему поскорее, так как ведь Эвен по своей поэзии является философом. (8) Ведь философ ничего другого не делает, как умирает, так как он презирает все требования тела, не желая быть рабом физических удовольствий; а ведь это не что другое, как удаление души от тела; а смерть опять-таки не является чем-либо другим, как удалением души из тела. В этом кто-либо, может быть, и шел у него на поводу; а ведь он обманывал нас этими речами, думаю, для того, чтобы мы не плакали, что он попал в такое несчастие; а может быть, в чем-нибудь его речи и были правильны. А затем он умер, прожив еще тридцать дней из-за корабля, который ежедневно отправлялся в Делос, он не возвращался много дней, и, как ты знаешь, за это время нельзя было никого казнить по приказу государства; эти дни считались священными.

(9) Из его друзей при его смерти присутствовали я и Терпсион, Аполлодор, Федон, Антисфен, Гермоген, Ктесипп; Платон же, Клеомброт и Аристипп опоздали. Платон хворал, а двое других находились в Мегаре, когда он выпил яд, он поручил нам принести в жертву Асклепию петуха: он говорил, что остался ему должным во исполнение какого-то обета, когда он хворал, вернувшись домой после сражения при Делии. И вот, обливаясь слезами, вместе

с чувством какого-то удивления мы похоронили его и опустили в могилу, как позволяли условия времени и как он сам хотел: (10) он велел нам не проявлять никакой заботы относительно тела; оно не заслуживает уже никакой чести и является совершенно бесполезным для покинувшей его души. Но мы, насколько было возможно, попытались стать выше несчастия и не послушались его последних слов, но, насколько было возможно, мы украсили его, омывши и надев плащ, и, прилично похоронив, разошлись. Вот какие были дела относительно Сократа и нас, Ксенофонт. И для тебя этот поход был огромной помехой, так как ты мог бы вместе с нами и дружески общаться с Сократом при его жизни и быть тут при его смерти.

15. КСЕНОФОНТ — ДРУЗЬЯМ СОКРАТА (ЭВКЛИДУ И ТЕРПСИОНУ)

(1) И окружающие моего сына Грилла сделали, что им полагалось сделать, и вы поступили хорошо, написав мне относительно Сократа. Во всяком случае, нам надо быть хорошими людьми и восхвалять его за то, что он прожил разумно и благочестиво и богобоязненно, не винить и не упрекать судьбу и тех, которые совместно восстали на него, недолго ждать, и они понесут наказание за его обвинение. Страшно недовольны и лакедемоняне: раздражение проникло и сюда; они бранят наш народ, говоря, что он опять сошел с ума, раз дал убедить себя казнить мудрейшего человека и, по отзыву самой Пифии, наиболее разумного. (2) Если друзья Сократа нуждаются в чем-либо из того, что я послал, пусть мне дадут знать. Я это доставлю, так как это

и хорошо, и необходимо делать. Вы хорошо делаете, имея Эсхина в своей среде, так чтобы он мне писал. Мне по крайней мере кажется необходимым записывать, что когда-нибудь сделал или сказал Сократ. И это было бы лучшей защитой его памяти и теперь, и впоследствии: не на суде выступая, но так на веки веков передавая память о [великом] достоинстве этого человека. И я утверждаю, что поступит несправедливо весь кружок друзей и, как он говорил, сама справедливость, если бы мы охотно не стали писать об этом. Мне уже попала в руки подобная запись Платона, где стояло имя Сократа и его беседа, очень хорошо описанная, с какими-то людьми. Мне кажется, что [Платон] в Мегаре сообщил, как говорят, подобное одному из мегарцев. Я же утверждаю [не то], что я подобного не слыхал, но что о подобных вещах мы не можем писать в воспоминаниях. Ведь мы не поэты, как он, хотя бы он и утверждал, что далек от поэзии. Он говорит и кокетничает с красивыми юношами, что это творчество не его, но Сократа, когда тот был молод и красив. Будьте вы оба здоровы, люди самые близкие моей душе.

16. АРИСТИПП — ?

Относительно последних дней Сократа я и Клеомброт получили уже известие, а также и о том, что хотя одиннадцать давали ему возможность бежать, он остался, говоря, что и теперь не собирается поступить несправедливо, если он и раньше не поступил несправедливо, попытавшись, не спасется ли против закона.

Ведь таким образом родина его была бы, на-

сколько это зависит от него, предана. Мне же кажется, что, противозаконно попав в тюрьму, он мог бы [попытаться] спастись каким бы то ни было способом. Однако я считаю, что все сделанное им, и дурное [для него], и неразумное является справедливым, так что опять-таки я не стал бы упрекать, что это произошло сверх [обычной] меры. Ты сообщил мне, что все поклонники Сократа и философы ушли из Афин, боясь, как бы и с вами не произошло что-либо подобное. И вы сделали неплохо. Так вот и я, спасшись, до сего дня живу в Эгине; в дальнейшем я приду к вам, и если мы сумеем сделать что-либо лучшее, сделаем.

17. ЭВТИДЕМ — ГИППОКРАТУ (?)

(1) Зная, как ты относился к Сократу при его жизни и к нам, его друзьям, и что, естественно, ты удивился и пришел в негодование, если тот, кто спорил и с тобой, и с Продиком Кеосским, и с Протагором из Абдеры относительно нравственного совершенства, что оно такое и как оно может быть, и следует ли всем к нему стремиться, что этот, как самый негодный и самый непонимающий, что есть прекрасное и справедливое, как по отношению к богам, так и по отношению к людям, был казнен по усмотрению одиннадцати, я тебе и написал, узнав, что ты находишься дома в Хиосе, относительно того, что произошло потом, чтобы ты мог этому порадоваться. (2) Ведь афиняне уже проснулись от своего сна. Анита и Мелета, как безбожников, они, вызвав на суд, казнили за то, что те оказались виновными в таком несчастии для города. Такой повод был найден против них для обвинения; да и правильны

[были эти обвинения, потому что] афиняне после смерти его со всех сторон подвергались обвинениям за содеянное, что не следовало его, не виновного ни в чем, вызывать на суд, не то что казнить. Что тут такого, если он клялся платаном или собакой? Что такого, если задавал вопросы и отдельным лицам, и вместе всем людям, [доказывая им] что они не знают ничего. Что хорошо и что справедливо? Ведь после [его смерти] все юноши в городе предались безудержной и беспорядочной жизни; а при нем они в известной мере чувствовали стыд. (3) На них произвел большое впечатление случай с лакедемонским юношей: он пришел сюда вследствие любви к Сократу, чтобы общаться и слушать его; раньше он не знал Сократа, но только слышал о нем. Когда, радостный, что прибыл сюда, он был уже в воротах города, кто-то сказал ему, что Сократ, к которому он пришел, умер. Тогда он не вошел в ворота города, но, дознавшись, где могила Сократа, пошел туда, стал разговаривать с надгробным памятником и проливал слезы, и, так как его захватила ночь, лег спать около могилы; рано утром, поцеловав землю и выказав все знаки нежности этому месту, он ушел в Мегару. (4) Афиняне заметили и это, и что со стороны лакедемонян они подвергнутся серьезному осуждению, если их сыновья проникаются любовью к нашим философам, а мы их убиваем, и что они проходят такое расстояние, чтобы увидать Сократа, а мы, имея его у себя, не сумели его сохранить. Под влиянием такого тяжелого чувства они готовы были съесть этих двух негодных людей, чтобы оправдать город, что сам он ничего подобного не делает, а виновных в этом наказывает смертью. Изверженные как некое общее поношение всех греков, даже, правильнее сказать, всех людей, они,

понеся это наказание, оказали пользу нам, оказали пользу и другим: мы вновь, как прежде, соберемся в Афинах, мы, так недостойно пораженные страхом.

18. КСЕНОФОНТ — ДРУЗЬЯМ СОКРАТА

(1) Собираясь провести ежегодный праздник в честь Артемиды, устраиваемый нами в Лаконике, я написал вам, приглашая прибыть сюда, хорошо бы, если бы вы прибыли все, если же этого нельзя, то прислали бы кого-нибудь для участия в жертвоприношении; это было бы для меня очень приятно. Тут был Аристипп, а раньше его Федон. Они были очарованы и местоположением, и архитектурой построек, и растениями, которые я посадил собственными руками. В этих местах есть и дикие звери, так что нам можно будет поохотиться для того, чтобы, явив храбрость, что, конечно, приятно богине, мы радостно провели наш праздник, а кстати, принесли бы ей благодарность, что она спасла меня из рук царя варваров и от дальнейших бед у Понта и во Фракии, больших, чем можно себе вообще представить, когда подумаешь, что ты уже спасен из такой огромной, враждебной земли. (2) Если вы не сможете быть у меня, то следует мне вам написать мне: я написал некоторые воспоминания о Сократе. Так вот, когда решу, что там все в порядке, перешлю их и вам; Аристиппу и Федону показалось, что кое-что там есть хорошего. Передайте от моего имени привет сапожнику Симону и похвалите его, что продолжает хранить наставления Сократа и что он под предлогом своей бедности или [занятости] своим ремеслом не отказывается от философии, как некоторые другие, которые не хотят слушать поучений мудрости и в речах чему-либо учиться или с почтением к чему-либо отнестись.

19. КСЕНОФОНТ — ?

Прости нас, самый дорогой для меня друг: у меня построено святилище Артемиды, очень красивое. Место засажено деревьями и является священным, как посвященное [богине]. Всего, что у нас есть, вполне достаточно для нашего питания. Как говорит Сократ: если нам не хватит этого, то нас самих хватит для этого. Я написал сыну Гриллу и его ([моему] другому) товарищу, если тебе что нужно, доставить тебе. Я написал именно Гриллу, так как еще с юных лет ты всю заботу обратил на него и говорил, что его любишь.

Будь здоров!

20. СИММИЙ ИЛИ КЕБЕТ — АНТИСФЕНУ (?)

Твою выдержку я давно уже знал и очень ей дивлюсь, так как ты живешь, держа себя выше всякого богатства и славы, и то, как ты живешь, являет тебя в Афинах как бы отображением Сократа. И я сам занимался с юношами в Фивах, передавая им речи, которые слышал от Сократа. И это было приятно и для меня, и тем, кто был со мною.

21. КСЕНОФОНТ (ЭСХИН) — КСАНТИППЕ

(1) Мегарцу Эврону я дал шесть мерок ячменя, двадцать оболов и новую тунику, чтобы ты пережила зиму. Возьми их и знай, что Эвклид и Терпсион оба очень хорошие люди и преданные тебе и Сократу. Когда дети захотят прийти к нам, не мешай им: ведь недалеко дойти до Мегары. Довольно, дорогая, тех слез, которых много ты пролила: пользы от них нет,

скорее они принесут вред. Вспоминай, что говорил Сократ, и пытайся следовать и его образу мыслей, и его словам, так как, скорбя обо всех обстоятельствах [его смерти], ты повредишь очень сильно и себе, и детям. (2) Ведь они — как бы птенцы Сократа, которых нам нужно не только кормить, но для них стараться сохранить самих себя, если бы умерла ты, или я, или кто-либо другой, кто после смерти Сократа заботится о его детях, они были бы обижены, оставшись без тех, которые согласно собирались и помогать, и кормить их. Поэтому старайся жить для них. А это может произойти не иначе, как если то, что поддерживает жизнь, ты не употребишь сама для себя. А печаль, по-видимому, является одним из тех состояний, которые враждебны жизни, а поэтому живые получают от нее вред. (3) Аполлодор, так называемый неженка (безумный), и Дион хвалят тебя за то, что ты ни от кого ничего не берешь и говоришь, что у тебя всего вдосталь. И ты хорошо делаешь: поскольку я и другие [твои] друзья в силах тебя поддерживать, ты ни в чем не будешь нуждаться. Будь спокойна, Ксантиппа, и ничего не продавай из сократовского добра, зная, как много значил он дли нас, и думай о нем, как он прожил жизнь, а не о том, как он умер. Я по крайней мере думаю, что и смерть является великой и прекрасной, если кто посмотрит на нее так, как надо смотреть.

22. КСЕНОФОНТ — КЕБЕТУ И СИММИЮ

(1) Есть поговорка, что нет ничего богаче бедного. И вот, как вижу, и мне грозит мнение, что, хотя ничего не имею, я все приобрел благодаря вам, своим друзьям, которые заботитесь обо мне. Вы сделали

бы для меня благодеяние, если бы прислали мне то, о чем я вам напишу сейчас. У меня не было из моих воспоминаний ничего такого, что бы я решился показать и другим без себя, подобно тому, как в вашем присутствии в доме, где возлежал больной и Эвклид, я так приятно беседовал с вами. Ведь вы, друзья, должны знать, что нельзя вернуть назад написанного, раз оно пошло по рукам многих. (2) Правда, Платон даже и в свое отсутствие своими произведениями оказывает большое влияние, вызывая удивление и в Италии, и во всей Сицилии; я же с трудом, думаю, могу себя убедить, что мои произведения заслуживают какого-либо серьезного внимания.

Дело тут не в том, что я забочусь, как бы не потерпеть неудачу в мнении о моей мудрости, но я считаю нужным заботиться о Сократе, как бы по моей вине, если плохо поведаю о нем в своих воспоминаниях, не подверглось нареканиям его высокое нравственное достоинство. Мне кажется, нет разницы в том, клевещешь ли ты на кого или пишешь не вполне достойное высоких качеств того, о ком ты пишешь. Таков страх, о Кебет и Симмий, который теперь охватывает меня, если вы опять-таки не будете держаться другого (покажется что-либо другое) мнения об этом.

Будьте здоровы!

23. ЭСХИН — ФЕДОНУ (СИММИЮ И КЕБЕТУ ИЛИ ЭВКЛИДУ И ТЕРПСИТУ)

(1) Когда оказался в Сиракузах, тотчас на площади я встретился с Аристиппом, который, взяв за руку, тотчас же безо всякого промедления ведет ме-

ня к Дионисию и говорит ему: «О Дионисий! Если кто приходит к тебе, чтобы сделать тебя безумным, разве этот не делает тебе зла?» Дионисий тотчас соглашается с ним. «И что бы ты, — сказал Аристипп, — сделал с таким?» — «Что-нибудь очень скверное», — сказал Дионисий. «А что, — сказал Аристипп, — если бы кто пришел, чтобы сделать тебя разумным, разве этот не сделал бы тебе добра?» Тогда Дионисий опять согласился с ним. «Так вот, — сказал Аристипп, — вот этот Эсхин, один из близких людей к Сократу пришел, чтобы сделать тебя разумным, так что и ты мог бы сделать ему что-либо хорошее. И если ты считаешь справедливым то, о чем ты согласился [сейчас] в разговоре, то ты сделаешь что-либо хорошее Эсхину». (2) Тут я, подхватив, сказал: «О Дионисий! вот этот Аристипп поступает по-дружески, заслуживая восхищения. Как он хочет мне содействовать; но у меня нет такой мудрости, [как он говорит], но лишь та — не обижать никого из имеющих общение со мной». Восхищенный тем, что я сказал, Дионисий заявил, что хвалит Аристиппа [за его слова] и что отнесется ко мне со вниманием, на что он согласился в беседе с Аристиппом. Когда он услыхал моего «Алкивиада», он пришел в видимое восхищение и предложил, если у меня есть еще какие диалоги, прислать ему. Я обещал ему это и поэтому, о вы, оба, мои дорогие и близкие друзья, я быстро прибуду [к вам]. Когда я читал [своего Алкивиада], присутствовал и Платон (я чуть было не забыл написать вам об этом), и он решил поговорить обо мне частным образом [с Дионисием ?] из-за Аристиппа. (3) Когда вышел от Дионисия, он сказал мне: «О Эсхин! в присутствии этого человека (он говорил об Аристиппе) я лично ничего и нигде не могу свободно говорить; Диони-

сий же сам будет свидетелем тому, что я ему сказал о тебе». И на другой день в саду Дионисий подробно своим свидетельством подтвердил все то, что сказал обо мне Платон. И вотя предложил им, Аристиппу и Платону, прекратить эти взаимные шутки (ведь их только и надо считать шутками) вследствие их известности среди всего народа: ведь ничего более смешного мы не могли бы сделать, выказывая себя такими и поступая подобным образом.

24. ПЛАТОН — ?

(1) У меня ничего не было из того, что я мог бы послать в Сиракузы и что, как ты сказал, Архит хотел получить от тебя. Но я скоро и без задержек пошлю тебе. Со мной же не знаю, что только сделала философия, может быть, плохое, а может быть, и хорошее. Я по крайней мере так думаю, что мое отношение правильное, так как безумствуют особым безумием те, которые трудятся и частным образом, и ведут государственные дела. Даже если я чувствую так безосновательно, то знай, что при таком только настроении с трудом я мог бы жить, иначе же мне невозможно найти в себе душу живую. (2) Потому-то я удалился из города, как из клетки для зверя; живу я недалеко от Пфистиад и в этих местах понял, что Тимон не был ненавистником людей, но, не находя людей, не мог любить и диких животных, поэтому проводил жизнь сам по себе, в одиночестве. Но, может быть, хоть это и так, я думаю, что не очень хорошо устроился со своими делами. Прими это, как хочешь; а у меня вот какое решение: быть подальше от города, как теперь, так и на все остальное время, которое бог назначает мне прожить.

25. ? — ПЛАТОНУ

Кринис, который имеет от меня письмо, уже издавна является и тебе другом, так как начало вашего знакомства пошло от меня, поэтому я считаю хорошим и теперь, как бы создавая второе начало вашего общения, предложить тебе оказать ему внимание. Случилось так, что ему хочется поступить на военную службу и исполнять ее соответствовало бы его достоинству. Вообще же разговор об этом короток: ведь ты сам хорошо знаешь, как я отношусь к Парамону и Кринису, знаешь ты и юношу, что он разумен и умерен и для всякого общения, если так можно сказать, и для всякого использования он безупречен. Ведь говорят, что нужно брать доказательства для будущего из прошлого и главным образом на основании его собственных природных качеств и умственного дарования, а его все единогласно хвалят. Раз он таков и является моим и твоим другом, попытайся проявить по отношению к нему поручаемую тебе от меня заботу: такие, как он, заслуживают расположения.

26. ПЛАТОН — ?

Так как Афинодор часто сообщает мне о ваших настроениях и планах, я решился написать вам, приветствовать и сказать несколько слов как вследствие нашего знакомства с вами, о котором, по-видимому, вы помните, так и потому, что в отношении Дионисия вы всегда в одинаковой степени сохраняете расположение. Я считаю, что никогда нельзя составить более точного представления о чьем-либо характере, как только из постоянства

в дружбе, а ее, как я замечаю, вы сохраняете даже не по своему возрасту. Так вот, как вследствие всего этого, так и вследствие другой вашей скромности, к которой, как я слышу, вы стремитесь теперь еще в большей степени, чем прежде, когда я уезжал от вас, старайтесь и в дальнейшем быть такими же, считая, что самым лучшим плодом такого отношения является добрая слава у людей, ведущих хорошую жизнь.

27. (К 25) ФЕДР — ПЛАТОНУ

(1) Ты пишешь, что, не желая меня огорчать, скрыл, что уже сейчас собираешься переселиться подальше. Я, клянусь Зевсом Олимпийским, начинаю скучать без тебя. Но, Платон, ради Зевса, покровителя друзей и товарищей, ради Сократа, находится ли он под землей в сонме блаженных или среди звезд, на что я более надеюсь, не оставь без внимания, что мы оказались совершенно без руководства и что те успехи в развитии, которые мы имеем от этого божественного мужа, ты должен спасти и довести до какого-либо конца. (2) Для меня нет ничего приятнее философии и речей, касающихся философии; с юности давно я, так сказать, выпестован сократовскими колыбельными песнями во всех подходящих для этого священных местах, то в Академии, то в Ликее, то у берегов Илиса под священным платаном в самый полдень, где Лисий, сын Кефала, выправлял свои речи о любви. В этих, нам известных местах, где я сам водил вас и вы водили меня, я исполнялся вашей высокой мудростью и был предметом зависти для Александра, сына Клиния, и для некоторых других из юношей,

которые скорее, чем я, могли занять первое место у вас, мудрых, и никогда вы меня не оставляли на произвол судьбы, поистине исполнив меня философией, которой я вечно жаждал.

28. (К 26) КРИТОН (?) — ПЛАТОНУ

(1) Те, что прибыли из Египта, люди добрые, сообщили нам, что ты, осмотрев весь Египет, теперь находишься в так называемом Саисском номе, чтобы узнать от находящихся там мудрецов, как они мыслят о строении всей Вселенной, как все это произошло и по какому закону она находится в теперешнем движении как вообще, так и в отдельных своих частях. Говорят, они неохотно беседуют с эллинами, не знаю, на основании каких причин, за исключением только того, что [жрецы] Гелиополиса сообщили Пифагору свое учение о природе, о геометрии и о числе. И думаю, что тут он состроил им военную хитрость, как вспоминают об этих сказаниях про Пифагора Тимей и Феодор из Кирены, когда рассказывают о Египте, или потому, что он по каким-либо другим причинам так стал им близок, что мог иметь с ними общение.

(2) Если они и тебе сообщили, это хорошо; [все дела как у меня лично теперь, так и у твоей семьи в Афинах идут хорошо, с божьей помощью. Сообщи нам также и о себе, как ты чувствуешь себя физически, так как о твоей душе нам известно, что она здорова как по разуму, так и по доблести. И если что-либо нужно тебе, Платон, напиши мне: все, что у меня есть, я утверждаю, все твое по полному праву, как было у Сократа. Ты мог бы нам рассказать о видах местностей, и об их великолепии, как от-

дельные камни складываются в огромной величины сооружения и высекаются и выдалбливаются из них человекоподобные фигуры и фигуры, на старинный лад изображающие других животных, не так, как это обыкновенно делается у греков, и что в числе других произведений искусства они обнаруживают природу различных мелких животных и многостороннее искусство резчика. (3) Я бы и сам охотно посмотрел громаду пирамид и Мемфис и сам своими ушами послушал бы священное их учение, посмотрел прекрасный Нил, протекающий через Египет, как в иное время года он разливается в половодье и как вновь возвращается в свои берега. Я полагаю, что, поскольку обо всем этом говорится как о невероятном, многим особенно желанным кажется на это посмотреть.

29. (К 27) АРИСТИПП — СВОЕЙ ДОЧЕРИ АРЕТЕ

(1) Я получил от тебя письма, посланные через Телета одно за другим, в которых ты просила меня прибыть возможно скорее в Кирену, что у тебя нехорошо сложились отношения с надзирателями, а с другой стороны, и муж не может вести хозяйственные дела, так как он скромен и привык жить далеко от политического шума. Я даже просил Дионисия, чтобы он отпустил меня, чтобы плыть к тебе, но, естественно, столкнулся с трудностями и захворал на Липарах. И вот теперь-то я увидал, как Соник и его семья очень хорошо относятся ко мне, ибо они заботились обо мне как подобает... так что я, который чуть не оказался в царстве Аида, жив еще благодаря их дружескому уходу... (2) Относительно тех, о ком ты спрашиваешь, какую цену придавать тем,

которые были мной освобождены, которые всегда говорили, что не покинут Аристиппа, пока у них будет возможность быть полезными ему или тебе, во всем доверяй им: вследствие моего образа воспитания и жизни ни теперь, ни впредь не могут оказаться плохими. Я советую тебе отношения с начальством устроить так, чтобы мой совет оказался полезен. Он заключается в том, чтобы не стремиться к большему. Лучше всего будет, если ты станешь вести свои дела, стоя выше всякого стремления к большему. Ведь они не смогут быть столь несправедливыми, чтобы ты оказалась неимущей. Ведь у тебя остаются два сада, достаточные даже для богатой жизни. Если одно имение в Беронике останется у тебя, этого будет достаточно для прекрасной жизни. (3) Я не зову вас презирать малые дела, но не давай малым делам приводить тебя в беспокойство, так как даже при больших делах гнев не является чем-то прекрасным. Если, когда я расстанусь со своей природой, ты захочешь исполнить мое желание, то, возможно лучше воспитав Аристиппа, отправляйся в Афины, выше всего ставя Ксантиппу и Мирто, которые часто умоляли позволить отвести тебя на [Элевсинские] мистерии. Ведя с ними приятную жизнь, оставь надсмотрщикам в Кирене обижать тебя, как они хотят (ведь не обидят они тебя так, чтобы наступил твой физический конец), и попытайся жить с Ксантиппой и Мирто так, как мне было приятно жить с Сократом, ради дружбы с ними отказавшись от своей чопорности: там нет места высокомерию. (4) Если бы вместе с тем на этих днях в Кирену прибыл Лампрокл, сын Сократа, который был со мной в Мегаре, ты сделаешь хорошо, соединив с ним свою жизнь и любя его так же нежно, как своего сына. Если ты не хочешь больше ухаживать

за девочкой, так как очень мучаешься при ее воспитании, [найми] себе для этого дочку гражданки с Эвбеи, к которой можешь относиться как к свободной, и если ты хочешь сделать мне приятное, называй ее именем моей матери, Микой; я часто называл ее этим именем. Больше же всего поставь себе за правило заботиться о маленьком Аристиппе, чтобы он был достоин нас и философии: ее я оставляю как настоящее наследство, так как все остальное в жизни и начальников в Кирене он имеет своими врагами. (5) Ведь о философии ты мне ничего не пишешь, что ее кто-то отнимает у тебя. Так радуйся же, славная женщина, что ты богата этим богатством, находящимся в твоем распоряжении, и сделай владельцем его твоего сына, ведь я очень хотел, чтобы он был и моим сыном. Коли я умру и не наполню его (насладившись им) [своей мудростью ?], я доверяю его тебе, что ты поведешь его тем обычным путем, который свойствен хорошим людям. Будь здорова и не беспокойся обо мне.

30. (К 28) ? — ФИЛИППУ

(1) Податель этого письма Антипатр родом из Магнесии, в Афинах он давно описывает деяния эллинов; он говорит, что кто-то обидел его в Магнесии. Выслушай его дело и помоги, как можешь, возможно охотнее. По многим причинам было бы справедливо тебе помочь ему, а особенно потому, что когда у нас на одном собрании была прочитана речь, посланная Исократом, вступление ее он похвалил, а то, что опущены твои благодеяния по отношению к Элладе, он подверг упрекам. Постараюсь из них назвать немногие. (2) Исократ не вы-

яснил ни твоих благодеяний по отношению к Элладе, ни благодеяний твоих предков, не разрушил и той клеветы, которая распускается некоторыми по отношению к тебе, он не пощадил и Платона в посланной тебе речи. А ведь следовало бы, чтобы он не скрыл существующую у вас близость с нашим городом, но сделал бы ее ясной и твоим потомкам. Так как издревле был у нас закон никакому иноземцу не давать права быть посвященным [в Элевсинские мистерии], Геракл, желая получить это посвящение, стал приемным сыном Пилия. (3) Раз это так, то Исократу следовало обратить к тебе свою речь, как к нашему гражданину, так как род ваш идет от Геракла, а затем оповестить о благодеянии по отношению к Элладе со стороны твоего предка Александра и других. Он же теперь умолчал о них, как о каких-то несказанных бедствиях. Когда Ксеркс отправил в Элладу послов с тем, чтобы требовать земли и воды, Александр убил послов. Позднее, когда варвары двинулись целыми толпами, эллины собрались в нашем святилище Геракла; и когда Александр открыл эллинам предательство Алевадов и фессалийцев, эллины, вновь двинувшись в поход, были спасены Александром. (4) А ведь об этих благодеяниях должны напоминать не только Геродот или Дамаст, но также тот, который в своих [трактатах] об искусстве риторики заявляет, что вследствие похвалы, воздаваемой предкам, слушатели должны стать более благосклонными. Следовало показать те благодеяния твоих предков, которые были совершены в битве при Платеях при Мардонии, а затем и последующие. Таким образом, написанная о тебе речь заслужила бы со стороны эллинов большее расположение к тебе, чем если ничего хорошего не говорить о вашем

царстве. Нужно было рассказать и о прежних событиях, совпадающих с цветущим возрастом Исократа, когда, как он сам говорит, полным цветом цвело его дарование. Но, конечно, ему следовало разоблачить и клевету, главным образом идущую от олинфян. (5) Ведь кто счел бы тебя таким легкомысленным, чтобы в то время, как с тобой вели войну иллирийцы, фракийцы, а кроме того, афиняне, лакедемоняне и другие эллины и варвары, ты бы начал войну против олинфян. Но об этом нельзя распространяться в письме. То, о чем нелегко сказать первому встречному и что долгое время всеми замалчивалось, тебе полезно узнать, говорить об этом я считаю справедливым и думаю, что за такое известие ты должен воздать Дитипатру вполне заслуженную благодарность. Относительно области олинфян, что издревле она принадлежала Гераклидам [а не халкидянам], податель этого письма об этом рассказывает, как единственный и основывающийся на самых достоверных историях свидетель.

(6) Он говорит, что подобным же образом Нелей в Мессении, Силей в Алифере были убиты Гераклом как насильники и гордецы и что Мессения была дана в качестве залога для охраны Нестору, сыну Нелея, а брату Нелея Дикею — область Филлиды; Мессения много поколений спустя была отдана Кресфонту, а область Амфилолиса, принадлежавшую Гераклидам, взяли афиняне и халкидяне; равным образом Гераклом были убиты как злодеи и беззаконники Гиппокоонт, тиран в Спарте, Алкионей в Паллене, и Спарта была отдана во временное пользование Тиндарею, а Потидея и остальная Паллентская область — Сифону, сыну Посейдона, а Лаконику заняли сыновья Аристо-

дема во время возвращения Гераклидов, Паллену заняли эретрийцы, коринфяне и ахейцы по своем возвращении из-под Трои, а раньше она принадлежала Гераклидам. (7) То же самое он рассказывает и относительно Торонеи, что Геракл убил сыновей Прота, бывших тиранами, Тмола и Телегона, а относительно Амбракии, что он, убив Клейда и сыновей Клейда, поручил хранить Торонею Аристомаху, сыну Сифона, которую, бывшую вашей, заселили халкидяне, а Лаодике и Харатте он поручил Амбракийскую область, потребовав, чтобы порученную область они передали тем, кто от них родится. А что касается недавних завоеваний Александра в земле эдонян, то об этом знают все македоняне. (8) И это не кажущиеся основания [Исократа], не сотрясение воздуха звучными словами, но речи, которые могут пойти на пользу твоей власти. Так как, очевидно, ты заинтересован в делах амфиктионов, я хотел, чтобы Антипатр передал тебе сказание, каким образом в первый раз собрались амфиктионы и как, хотя они были членами Амфиктионий, флеши были лишены этого здания Аполлоном, дриопы — Гераклом, криссейпы — самими амфиктионами; все они, будучи амфиктионами, были лишены права голоса, а другие, взяв их голоса, стали участниками собрания амфиктионов; он говорит, что ты, подражая некоторым из них, во время Пифийских празднеств получил от амфиктионов как награду за поход к Дельфам два голоса фокейцев; (9) и вот тот, кто утверждает, что сообщает древние события на новый лад, а новые истолковывает на основании древних установлений, не передает ни о древних деяниях, ни о совершенных тобою недавно, ни о тех, которые совершились в промежутке времен. И кажется, что

об одних он ничего не слыхал, о других не ведает, а о третьих забыл. К тому же, призывая тебя к справедливым деяниям, этот софист в качестве примера восхваляет богатство и возвращение Алкивиада, а гораздо более великие и славные деяния, совершенные твоим отцом, оставляет без внимания. (10) Ведь Алкивиад был изгнан за безбожие и, причинив много зла своей родине, вернулся туда; а Аминта, уступив при каком-то восстании царскую власть, удалившись ненадолго, после этого вновь продолжал царствовать в Македонии. А Алкивиад затем опять был изгнан и позорно закончил свою жизнь, а твой отец так и состарился, царствуя. Он поставил тебе в пример и монархию Дионисия, как будто тебе следует подражать самым беззаконным, а не самым достойным и ты должен сравниться с самыми плохими, а не с самыми справедливыми. А в своей книге [об искусстве риторики] он сам говорит, что нужно приводить примеры из жизни близких и родных; и вот, забыв о своих наставлениях, он пользуется примерами чужими, позорнейшими и совершенно противоположными своим же речам.

(11) И что самое смешное, он говорит, что, когда все это писал, он очень искусно противостоял нападкам упрекавших его за это писание учеников; они, побежденные силою риторики и не имея ничего возразить против этого, осыпали похвалами эту речь, и ей дали первую награду из всех речей. Но ты сразу поймешь способность Исократа точно рассказывать события и его образование из того, что жителей Кирены, поселенцев Батта, он сделал лакедемонянами, а на понтийского ученика указал как на преемника своей мудрости, из всех софистов, а ты видел многих, самого воню-

чего. (12) Я слышу, что у вас находится Феопомп, человек совсем закоченевший, что он кощунствует на Платона, и притом на того Платона, который положил начало начал при Пердикке и до конца своих дней страдал, если между вами происходило что-либо враждебное и не соответствующее братской дружбе. Чтобы Феопомп прекратил свои резкие выходки, прикажи Антипатру прочитать для сравнения ему из Эллинских событий и тогда Феопомп поймет, что правильно всеми отвергнут и несправедливо он осыпан твоими благодеяниями. (13) А равным образом и Исократ, когда он был юным, вместе с Тимофеем писал народу позорные письма о вас, а теперь, став стариком, из ненависти или зависти оставил в стороне большинство из совершенных вами благородных дел; он послал тебе речь, которую сначала написал Агесилаю, а потом, немного изменив, продал сицилийскому тирану Дионисию; в третий раз, одно отбросив, прибавив другое, он сосватал ее Александру Фессалийскому; и в конце концов, сильно размахнувшись, поразил ею тебя. Я хотел бы, чтобы у меня хватило бумаги напомнить обо всех лживых вещах из той речи, которую он послал тебе. (14) Относительно некоторых мест речи он просит снисхождения, так как сам признает, что вследствие старости написал их более вяло и что он не удивится, если и Понтиец, читая ее, не обнаружит, что она более обычного тягучая и вялая, а когда ты пойдешь походом на Персию, он говорит, ты сам это знаешь. А чтобы мне написать и об остальных его утверждениях, мне не хватает бумаги: такой недостаток бумаги нам устроил царь, захватив Египет.

Будь здоров и, проявив свою заботу об Антипатре, поскорее посылай его назад.

31. (К 29) ? — ФИЛИППУ

Мне кажется, что Пердикка ясно показывает, что он, по словам Гесиода, выше всего ценит владение половиной всего, полагая, что обрести, пользуясь случаем, много денег — не дело для прекрасных людей. Для тебя достойно проявить братские чувства, так же как он действует по отношению к тебе, чтобы было ясно, что и по характеру ты брат тому, кто так [хорошо] относится к тебе. Считай, что все внимательно следят и смотрят, как ты относишься к своему брату, и что лучшие люди в страхе и хотят, чтобы ты не только сравнялся с порядочностью брата, но и превзошел ее, а люди скверные охотно и с завистью смотрят, ожидая, не произойдет ли между вами что-либо плохое. Считая, что это твои враги, ты должен вместе с прекрасными бороться [против них], сам будучи одним из них. Мне кажется, что тебе надо соревноваться с точки зрения тех дел твоего брата, которые им совершены для общего блага, но и с точки зрения твоих собственных благодеяний, чтобы совершенное тобою не было ниже того, что сделано с его стороны. Больше же всего надо тебе быть мудрым и прислушиваться к желаниям брата, пока он относится к тебе так, как теперь. Будь здоров!

32. (К 30) СПЕВСИПП (?) — КСЕНОКРАТУ (?)

(1) Я считал, что мне свойственно ничего не пропускать, если дела идут хорошо, как вследствие воли Платона, так и вследствие существующей между мной и тобой дружбы. И я думал, что нужно написать тебе, как я себя чувствую физически и так как

я думаю, что ты, явившись в Академию, подтянешь всю школу. Что это справедливо и правильно, я попытаюсь тебе показать. Платон, как ты знаешь сам, пребывание в Академии ставил очень высоко и полагал, что это будет иметь значение для доброй славы, для собственной жизни и для будущей оценки у людей. (2) Исходя из этого, так как тебя он очень высоко ставил, он засвидетельствовал это в конце своей жизни. Он поручил всем нам, своим близким, если с тобой что-либо случится, положить тебя с ним, считая, что ты никогда не уйдешь из Академии. Поэтому-то мне кажется, что тебе очень следует чтить Платона, живого и мертвого. Хорошему человеку следует заботиться о богах, родителях и благодетелях. Самым близким к сказанному я бы нашел отношение Платона к тем, кто был ему близок. Об одних он заботился как отец, о других — как благодетель, а в отношении остальных он занял место бога. (3) Советую тебе, считая это прекрасным и справедливым, чтобы ты воздал благодарность Платону, из всех самую большую и наиболее подходящую для него; а это ты бы сделал, если бы, прибыв в Академию [ты взял бы в руки школу]: твердость и верность по справедливости можно было бы назвать истинной мудростью. Нам следует в этом отношении очень отличаться от других людей. А ты, как кажется, больше, чем это обычно бывает, заботишься о своих обязанностях.

33. (К 31) ?

Я решил написать тебе письмо о том, что случилось со мной относительно моего тела. Все силы покинули мои члены совершенно, так что ни одним из

них я не мог действовать; по некоторой счастливой случайности язык и умственные способности остались целыми, то ли потому, что были самыми дорогими для меня, то ли потому, что они наиболее божественны. Я уже давно хотел, чтобы ты пришел ко мне; но если ты придешь даже и теперь, ты сделаешь хорошо. Ведь, как я знаю, ты станешь во главе моих дел и как следует позаботишься о делах школы.

34. (К 32) (?)

(1) Думаю, что в течение всего времени было ясно мое расположение и что я всегда проявлял большую заботу по отношению к вам не из-за чего другого, чем как из стремления ко всепрекрасному. Я думаю, что справедливо, чтобы те поистине хорошие и делающие такие дела люди получили соответствующую славу; то, что у больного сохранились главнейшие части тела, голова и все, что к ней принадлежит, это хорошо, а об остальных приложи соответствующую заботу вместе с врачами, да и сам смотри, что им нужно. Казалось бы, что человеку приятному следовало бы отличаться силой, решительностью и быстротой.

(2) Ведь я, как ты знаешь, предан Платону, из-за него я предпочел и ваш город, и пребывание в Академии и все время вел себя безупречно, насколько мог, приспособляясь к его характеру. Когда он в силу случившегося (судьбы) удалился от общения с нами в здешнем мире, мы, чтя его, совершили все полагающееся и публично, и в нашем кругу, и мы разошлись в разные стороны по собственному выбору, как каждому было угодно. (3) Я лично всегда по своей природе в высшей степени был склонен к спокойствию и

безделью, и вот я решил, насколько возможно, провести жизнь, не подчиняясь никому. И я философствовал, стараясь, насколько возможно, быть полезным себе и другим. Следует об этом открыто заявить, так как я таков, как говорю, особенно при том, что, если бог поможет, это легко. Будь здоров!

НЕПОНЯТНЫЕ

35. (33 5 к) СПЕВСИПП — ДИОНУ (?)

(1) Я решил написать письма, одно более серьезное, другое — чтобы читать его в обычной домашней обстановке; ведь я подумал, что, по-видимому, бывают неподходящие времена для получения написанного; порой иной из нас бывает серьезным, а бывает склонным к шуткам и веселости, а порой попросту радуется возможности говорить свободно. Прежде всего я радуюсь за сиракузян, что они перестали боровка называть Вакхом, быка — землепашцем, кошелек — копьем, а месяц — рождающим плоды, потому что в течение его рождается плод. А на дарах, предназначенных в Дельфы, надписано было мудрое слово, к которому, услыхав, по-видимому, Аполлон отнесся как отец, и, увидев колесницу на ипподроме, двигавшуюся сама собой, но, как мне кажется, явившись, сам пожелал, чтобы он прекратил появляться сюда с такими зрелищами. Итак, правильно считать боголюбивыми любителей прекрасного. Я лично не указываю тебе на письмо, которое ты написал мне, говоря, что я обязан был позаботиться обо всем этом деле и не оставлять без внимания, и сказал, что я хорошо делаю,

если и сам не отказываюсь от трудностей и хлопот. Конечно, другой, вспомнив тотчас об этом теперь, послал к тебе письмо, предлагая выполнить, и я, выбрав момент, пошлю тебе. Я очень дорого бы дал за возможность посмотреть, сохранил ли ты свой прежний облик или мы лицезрели бы теперь тебя исполненным важности и гордости, потому что о тебе ведут разговоры все мальчишки на дорогах и Поликсен, сидя у себя на перевозах, и все пастухи в горах. Что это — мальчишество, вызывающее удивление? Конечно, нет. Но теперь ты покажешь... удерживая несправедливость, откуда действительно происходит все прекрасное. Ты украсишь и Академию, так что слава ее была...

У меня вырастут руки и ноги больше, чем у Гериона. Пришлите оттуда Филистиана и другого кого, чтобы как только возможно увеличить мою силу. Пошли мне одну... ...узнав от Марида и Эхекрата об окружающих Дионисия: очень интересно было бы услыхать о них, о свите мужа, рожденного от ложа Аполлона. Напиши о ком-нибудь из тамошних, частным образом или по государственной линии или также пришедших откуда-то и собирающихся вместе. Знай, что много окажется готовых вместе хлопотать при нынешних условиях, если тебе кажется все с моей стороны выполненным как следует. У нас дела идут приблизительно так же, как и у вас, живущих там. Будь здоров!

36. (34 К к) ДИОНИСИЙ — СПЕВСИППУ

Хочу и я тебе шутливо сказать откровенно несколько слов, так как и ты по отношению ко мне так поступил. Говорю тебе «...», если это лучше вы-

ражения «радоваться», хотя это и не так: ведь это не те радость и наслаждение, какими пользуются Ластения с Хрисиппом, который является виновником похода в Сицилию и собирается иметь рук и ног больше Гериона, даже больше Бриарея; если к тебе приедет врач Филистион и все остальное относительно «хлебопашца», в отношении которого ты, хоть и мудрый, печально ошибся, будто это я так его назвал, хотя от тебя, живущего в самой печени Эллады, думаю, ничего не должно было бы укрыться. Я буду рад за афинян, если им не придется простого софиста называть мудрецом, а тех, кто враждебен богам и друзьям покойников, почитать и не удивляться обману, ожидая услышать учение о прекрасном, и не смотреть на ту повозку, в которой ты выезжаешь. И то, что ты не уезжаешь, так чтобы повергнуть в гнев соседей, и не показываешь мудрости сатиров, которую некогда в Италии на симпосионах у меня ты любил представлять, ни того, что все является деревом, но нечто другое — смоковница, мирра и лавр, чем так гордятся эти трижды несчастные. Я уже прихожу от этого в восхищение и вижу, как хорошо, справедливо и прекрасно сделало божество. Вы же, Поликсен со товарищи, старые бабы и пастухи, пишите мне о ваших сборищах. Я думаю, они крайне интересны. Особенно в отношении мужа, рожденного от ложа Кекропса, которому ты (лишенный ног ?) доставил удовольствие не как отцу, но чтобы ты не мог посещать священные места, и из-за болезней... чтобы ты воздерживался с легкостью дома писать послания из-за столь любезно тобой презираемого серебра, из-за которого и вы все, льстя, станете за ним ухаживать. Относительно же (собрания) пословиц и сравнений, которыми вы так восхищаетесь, вот что я хочу сказать.

Говорят, что какие-то ионяне, прибыв в Лакедемон, совершили что-то несогласное с местными законами; эфоры и геронты были сильно уязвлены и арестовали их. Захваченные очень боялись, когда их ввели на площадь, лакедемоняне же громко объявили, так велели эфоры, что бывают враги еще более скверные, и с того времени все знают, что это значит, что мы квиты. Если ты и во всем другом сохранишь благоразумие, я вместе с тобой буду сохранять здравомыслие.

37. (C5 5 к) СРАВ. ПИСЬМО LYSIS К HIPPAS

Все это Адраст получил от Клиния. Мне же кажется, нам не следует все это бросать первому попавшемуся столько времени хранимое в себе ради нас самих. Это я говорю не из высокомерия (и озорства). Напротив, я думаю, что в надлежащее время они могут принести пользу молодому и сдержанному человеку, неоцененные же они принесут вред тому, который отнесся к ним презрительно, так как, по его мнению, стоит заниматься философией из-за ее диалектической ловкости, в жизнь же его чувств, в его нравственные принципы они еще не вкоренились; так же тот, кто исполнен оракулов и всяких предсказаний по внутренностям животных, всяких сновидений, пред всеми дрожит, и такой человек будет всегда мучиться более земными заботами. Тот же, кто поставит себя в отношении всего этого надлежащим образом, в душе своей более проникнется божественным. Ты мой сотоварищ на пути философии, поэтому мне нечего тебе сказать более, чем то, что я тебя приветствую. Будь здоров!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПЛАТОНА

428 (427) до н. э. — в день рождения Аполлона в Афинах у Аристона и Периктионы родился сын Аристокл, впоследствии Платон.

408 — Платон встречает Сократа и становится его учеником.

405 — Сократ встречается с софистом Горгием Леонтинским.

399 — Сократа обвиняют в нечестии и осуждают на смерть.

399—389 — Платон, тяжело перенесший смерть Сократа, уезжает в Мегару, к Евклиду. По некоторым сведениям, посещает Вавилон, Ассирию и Египет. В Кирене (Северная Африка) берет уроки математики у Феодора.

389—387 — поездка на Сицилию. Знакомство с Дионом и с тираном Дионисием Старшим. Анникерид выкупает проданного в рабство Платона.

387 — возвращение в Афины. Покупка сада с домом и основание Академии.

367 — по настойчивым просьбам друзей вновь посещает Сицилию и поселяется при дворе «просвещенного» тирана Дионисия Младшего.

362—361 — третья поездка на Сицилию.

353 — гибель Диона в Сиракузах.

347 — Платон умирает, по преданию, в день своего рождения.

ЛИТЕРАТУРА

Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). Т. 2 / Пер. с нем. М. Н. Ботвинника. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1997.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения: Исторический смысл эстетики Возрождения / Сост. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1998.

Лосев А. Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988.

Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 8 т. М.: Высшая школа; Искусство; Мысль, 1963—1994.

Лосев А. Ф. Самое само. М.: Эксмо-Пресс, 1999.

Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век...»: В 2 т. М.: Время, 2002.

Платон. Собрание сочинений: В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, И. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1990—1994 (Философское наследие).

Тахо-Годи А. А. Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007.

Köhler L. Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker // Philologus Supplementum. Bd. XX, 2. Leipzig, 1928.

Mitteis L., Wilcken U. Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde: V. 1—4. Leipzig; Berlin, 1912.

СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Тахо-Годи. А. Ф. Лосев о всестороннем изучении Платона 5

Глава первая. Истоки 10
Глава вторая. Вместе с Сократом 20
Глава третья. Один в поисках истины 53
Глава четвертая. Сицилийский тиран Дионисий Старший 59
Глава пятая. Академия 67
Глава шестая. «Просвещенная» тирания Дионисия Младшего 79
Глава седьмая. Платон — философ высокой классики 97
Глава восьмая. Что такое идеализм Платона? 108
1. Идея вещи есть смысл вещи 133
2. Идея вещи есть такая цельность всех отдельных частей и проявлений вещи, которая уже не делится на отдельные части данной вещи и представляет собою в сравнении с ними уже новое качество 133
3. Идея вещи есть та общность составляющих ее особенностей и единичностей, которая является законом для возникновения и получения этих единичных проявлений вещи 134
4. Идея вещи невещественна 135
5. Идея вещи обладает своим собственным и вполне самостоятельным существованием, она тоже есть особого рода идеальная вещь, или субстанция, которая в своем полном и совершенном виде существует только на небе или выше неба 135
Глава девятая. Диалоги Платона — драма мысли 137
Глава десятая. Самоотрицание драматизма 170
Глава одиннадцатая. Иллюзия действительности 180
Глава двенадцатая. Платон — мифотворец и утопист 193
Глава тринадцатая. Конец жизни 220
Глава четырнадцатая. Вечность философии 232

Приложение 255
Письма философов. *Пер. С. П. Кондратьева* 256

Основные даты жизни Платона 310
Литература 311

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.

Л 79 Платон: Миф и реальность / Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 312[8] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 61).

ISBN 978-5-235-03719-9

Читатели по достоинству оценили эту замечательную работу выдающегося философа XX века Алексея Федоровича Лосева и знаменитого филолога-античника Азы Алибековны Тахо-Годи: биография Платона написана удивительно просто и ярко; учения величайших философов античности — Сократа и Платона — изложены в ней сжато и доступно.

Книга снабжена письмами Сократа и сократиков. Перевод этих писем выполнен известным переводчиком начала XX века Сергеем Петровичем Кондратьевым. Письма относятся примерно к I—III векам, но тем не менее, безусловно, представляют собой не только литературную, но и историческую ценность.

УДК 141.131(092)
ББК 87.3(0)

знак информационной продукции **16+**

Лосев Алексей Федорович, Тахо-Годи Аза Алибековна
ПЛАТОН: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Редактор **Е. С. Писарева**
Художественный редактор **А. В. Никитин**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректор **П. С. Рябиков**

Сдано в набор 11.03.2014. Подписано в печать 12.05.2014. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 13,0+0,65 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1405630.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03719-9